



СОГЛАСИЕ

Антуан де Сент-Экзюпери

ЦИТАДЕЛЬ



Зоя Свиная

О МИХАИЛЕ ЧЕХОВЕ



Глядя из Лондона:

Александр Кустарев

ИСПОЛНИТЕЛИ



2' 1993



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

№ 2 (18). ФЕВРАЛЬ 1993 ГОДА

МОСКВА. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОГЛАСИЕ»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Роберт Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА. *Роман-хроника. Продолжение*

3

Ольга Мегресова

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

48

Виктор Соснора

БАШНЯ. *Продолжение*

49

Михаил Фрумкин

ВО ДНИ ОСТАНОВОК В ПУТИ... *Стихи*

89

Ирина Полянская

ПУТЬ СТРЕЛЫ. *Рассказ*

92

Петро Бильвода

ОБЕРЕГАЙ МОЙ ДОМ. *Стихи.*

Перевел с украинского Сергей Чирков

98

Новое имя: Раиса Елагина

САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ. *Рассказы*

102

Владимир Британишский
ВСЕ, ЧТО БЫЛО, БОЛИТ... *Стихи*

116

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери
ЦИТАДЕЛЬ. *Продолжение.*
Перевела с французского Марианна Кожевникова

119

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Малышев
ФАБРИКА

152

Элла Никольская
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С БОЛЬШОЙ
ГРУЗИНСКОЙ НА ИТОН-АВЕНЮ И ОБРАТНО

166

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Зоя Свиная
О МИХАИЛЕ ЧЕХОВЕ

174

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Кустарев
ИСПОЛНИТЕЛИ

185

А. П. Кузичева
«Ваш А. ЧЕХОВ»
(Мелиховская хроника. 1895—1898). Продолжение

206

À PROPOS

Лев Аннинский

213

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*
Перевела с английского Юлия Муравьева

216

Роберт Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА

Роман-хроника

2.

У Ольги Юльевны Вальдек, при ее довольно решительном характере, успели отстояться определенные жизненные принципы, так сказать, наследственные и благоприобретенные.

Она сама выбрала судьбу себе по вкусу. Еще в гимназии она усвоила афоризм римских стоиков: «Волею дукунт фата, нолею трахунт», то есть охочего судьба ведет, неохочего — тащит.

С гимназических времен положила она непременно выйти за обрусевшего немца, разумеется, интеллигентного и порядочного.

По ее наблюдениям, да и мать склонялась к тому же, именно эти представители человеческого рода обладают достоинствами обеих наций — и русской, и немецкой, — в то время как национальные недостатки в них сглажены.

Понятия же интеллигентный и порядочный Ольга никогда и не трудилась определять в конкретности, до того они были ей интуитивно ясны.

Интеллигентный?

Ну, это, разумеется, человек образованный, обычно и дипломированный, деятель труда умственного, как правило, приобретший не только гуманитарную или техническую специальность, но уже и некоторый авторитет в своей области; человек, непременно владеющий иностранными языками, много читающий и путешествующий. Человек, имеющий, кроме знаний профессиональных, еще и какое-нибудь дарование — музыкальное, поэтическое, артистическое, художническое. Однако же настоящий смысл все эти качества личности интеллигентной приобретают лишь в том случае, если зиждятся на прочном фундаменте имущественного благополучия. Мнение насчет рая с милым в шалаше Ольга всегда отвергала с презрением. С ее понятиями о порядочности никакие шалаша вязаться не могут!

Порядочность? . .

Да, это понятие Ольга Юльевна старается и Роне внушить сызмальства.

Порядочный человек — это не просто лицо обеспеченное, состоятельное, родовитое. Это, кроме того, еще и носитель из поколения в поколение того же кодекса норм и правил, в которых воспитывалась она сама. Кодекс включает нормы жизни нравственной и общественной, светской.

Нормы нравственные сводились для Ольги Юльевны к десяти евангельским заповедям, чуть-чуть модернизированным применительно к XX столетию. Она не пыталась особенно углубляться в размышления, почему заповеди оказались столь жизненными на протяжении двух тысячелетий. Причину тому она усматривала в мудрости Творца заповедей и в неизменности человеческой природы.

А вот в нормах поведения в нем его самым важным признаком человека порядочного Ольга считала светский такт и безупречные манеры. Человек мог быть эталоном всех добродетелей, кладезем премудрости и подвижником в общественном служении, но, если он вульгарно жестикулировал, ел рыбу ножом, чесался в гостиной, цыкал зубом или хрупал яблоком, — она не смогла бы увидеть в нем человека порядочного.

А вот сильно постаревший Ольгин дядя, отставной контр-адмирал, предводитель дворянства в своей губернии, Николай Александрович Юлленштедт, по слабости здоровья не приезжавший в Москву даже на похороны, дал однажды Ольге Юльевне простой, лаконичный рецепт для воспитания сына порядочным человеком.

«Ты, Оленька, — говорил он некогда молодой матери, своей любимой племяннице, — научи Рональда всего-навсего трем вещам: уметь выбрать свой курс, соблюдать дистанцию и всегда совершать лишь такие поступки, о которых не стыдно рассказать за обедом в кают-компании».

Много же лет понадобилось Вальдеку-младшему, чтобы понять: самые тяжкие страдания в его жизни проистекли как раз от несоблюдения этого дедовского завета!..

Ольга Юльевна воспитывала не только детей, но и всех прочих домочадцев. Барыня поучала бонну, кухарку, Викину кормилицу Зину, теперь живущую в горничных, и дворника. Всем им она тоже старалась привить свои принципы, соответственно положению этих людей на ступенях общественной лестницы.

Барыня вела дом по часам и почти воински четкому распорядку. Вставала рано — по примеру Екатерины Второй. Ольга боготворила великую императрицу, бессознательно подражала ее осанке и гордилась, когда знакомые находили в ней нечто схожее с портретами Екатерины.

Не склонная ни к аскезе, ни к религиозной экзальтации, барыня-лютеранка все-таки считала полезным соблюдение православных постов. Это благоприятно влияло на моральные устои домочадцев и на козьяственный бюджет.

После раздольной масленицы в доме сухо шуршали связки белых грибов, а из ледника во дворе доставали по воскресеньям примороженных судаков, белорыбицу и красную рыбу, закупленную с возов у рыбаков-обозников, что зимою развозят свой товар по среднерусским городам, отдаленным от Поволжья.

Главным правилом домоводства барыня Вальдек справедливо полагала изречение своей покойной матери Агнессы Лоренс: «Каждой вещи — свое место, каждому делу — свое время».

Источником всех пороков Ольга Юльевна, как и ее мать, считала праздность. Поэтому оба чада и все без исключения домочадцы должны были с минуты пробуждения до отхода ко сну безостановочно заниматься положенной по расписанию полезной деятельностью, чтобы ни единой минуты не утекало зря.

В выборе знакомств Ольга Юльевна была строга и разборчива. Только несколько семейств в городе она удостоивала знакомства домами. Так, в годы предвоенные она допускала легчайший, изящный флирт с владельцем фабрики, пригласившим Алексея Вальдека руководить производством. Этот средних лет купец был холост, красив, умен, блестяще образован, смел в делах и суждениях, но робок и

почтителев в ухаживании. В своих отношениях с ним она, по дядиному завету, «соблюдала дистанцию», но неожиданная его гибель в первый же месяц войны причинила ей настоящую сердечную боль. Не уклонившийся из гордости от призыва, он попал в прифронтовое интенданство и был зарезан из-за угла наймитом интендантских жуликов, опасавшихся с его стороны разоблачения.

После смерти хозяина фабрики было вскрыто его нотариальное завещание — выплачивать из фабричных доходов вплоть до полного окончания военных действий половинный оклад всем инженерам фабрики, призванным в действующую армию, независимо от их армейского жалования. Ольга регулярно получала эти деньги, приносимые ей в конверте из фабричной конторы. Она отсылала или отвозила их в Москву, в родственник стольниковский банк — так посоветовали ей муж и его сестра, Аделаида Стольникова.

На житейские расходы Ольге Юльевне вполне доставало мужниного офицерского жалования. Две трети этого жалования ежемесячно приходили почтовыми переводами в Иваново-Вознесенск из действующей армии. И всякий раз, получая перевод, Ольга Юльевна готова была расплакаться, звала Роню, обнимала его, ставила на колени и вместе с ним молила Бога о сохранении отца невредимым.

Дружили Вальдеки со своими соседями — их сады были смежными, дети играли вместе. Глава этого семейства, Микулин, тоже капитан-артиллерист, воевал где-то неподалеку от Лелика на полях галицийских.

Две богатые, меценатствующие семьи — Любомирские и Донатович, жившие в домах-дворцах, семья известного адвоката Коральджи да еще видный инженер Благов, служивший директором Большой Томненской мануфактуры близ Кинешмы и частенько навещивавшийся к Вальдекам, — вот и весь круг местных знакомств Ольги Юльевны в дни роковых военных лет.

По-деревенски широкая улица называлась Первой Борисовской. Семейство Вальдек снимало там уютный одноэтажный особняк с большим садом. Его раскидистые кроны и частые кустарники приглушали далекие шумы и резкие запахи российского Манчестера.

* * *

А мальчик замкнуто жил своей не очень простой жизнью.

В пять лет его научили читать и писать на русском и немецком. Французский же он в этом нежном возрасте начинал уже... забывать! Потому что усвоил его еще раньше, в доме своего крестного отца месье Мориса Шапелье. У этого французского химика Алексей Александрович стажировался в Москве перед защитой диплома. Пожилой холостяк-француз полюбил младшего коллегу, и они подружились. Позднее месье Шапелье перенес свое расположение и на Ольгу, а затем — на своего крестника, маленького Рональда.

Хозяйство Мориса Шапелье вела в Москве мадам Элиз, средних лет парижанка, отчаянно скучавшая в чужой и непонятной России. День-деньской мадам Элиз томилась одиночеством в квартире на Остоженке и очень радовалась, когда чета Вальдеков, уезжая в какое-нибудь отпускное турне, соглашалась оставить мальчика на ее попечение. Роня подолгу живал у нее и в трех-, и в четырехлетнем возрасте, легко перенимая у мадам весь шик ее грассирующего парижского арга.

Однако в глухом Иваново-Вознесенске мальчишки-сверстники и дети постарше, разумеется, потихоньку от взрослых, жестоко дразнили Роньку за его парижский прононс. Дети до того изводили его насмешками, что он изо всех сил старался поскорее забыть свой французский, в чем и преуспел! Родители обращались к сыну на француз-

ском, а он упрямо отвечал им по-русски. Потом появилась в доме фрейлейн Берта. Конечно, в ее присутствии никто не смел дразнить Роню. Но изъясняться друг с другом они могли только по-немецки, потому что Ольга Юльевна просила бонну русским дома не пользоваться, французского же та не знала.

Немецкий язык полюбился Роне именно как язык обиходный, домашний. Он казался уютным, как скрипучие кресла или ночные туфли. Однако, когда началась война, говорить по-немецки при незнакомых людях, на улице или в театре стало рискованно, можно было навлечь неприятности.

Ольге Юльевне хотелось, чтобы сын со временем тоже поступил в московскую «Петрипауликнабеншуле» (где, кстати, война никаких изменений в учебные программы и в состав учителей не внесла). В продолжительность нелепой, противоестественной русско-немецкой войны Ольга Юльевна верить никак не хотела и, вопреки иным косым взглядам, сохранила в своем домашнем штате фрейлейн Берту. Впрочем, на ивановских улицах бонне велено было больше помалкивать (абер с'маул хальтен!) или пользоваться набором заученных русских фраз. Роньке же не возбранялось изъясняться в городе по-русски. Именно за эту свободу думать и говорить на родном языке он очень полюбил пыльные улицы Иваново-Вознесенска.

День у Рони был сурово регламентирован.

Все утро до прогулки — в саду или по соседним улицам, на лыжах, с саночками или же с мячиком и серсо — шестилетний мальчик проводил за учебниками, тетрадками или за роялем. Музыка учила его мама, русским и арифметикой занимался с ним приглашенный репетитор Коля, студент Иваново-Вознесенского училища фабрично-заводских механиков*.

Заниматься с Колей, а потом играть с ним в войну или в индейцев было чудесно, но всякое счастье пролетает быстро.

Роник вскоре после появления в доме Коли начал замечать какую-то перемену во внешнем облике фрейлейн Берты. Ее бледное лицо стало гораздо красивее и веселее. Она явно оживлялась, когда в передней раздавался звонок и Колин голос. Ее скромный костюм сделался более нарядным. Мальчик очень радовался, что добрый, веселый и умный Коля нравится и строгой фрейлейн Берте.

Потом фрейлейн стала отлучаться вечерами из дому — чего ранее никогда не бывало. Кончились отлучки печально. Занятия с Колей вдруг прекратились, а фрейлейн несколько дней ходила с заплаканными глазами. Случалось, что во время немецкого урока с Роней она отворачивалась и прижимала к глазам платок. Мальчик ужасно жалел ее, утешал и никак не мог понять, почему нельзя рассказать маме про эти слезы. Под страшным секретом фрейлейн призналась ему, что в ее девичьей жизни однажды нечто подобное уже произошло, почему она и решила уехать из родной Курляндии, от строгой матери, очень похожей, по ее словам, на «фрау Ольга Вальдек». Мальчик не все понял, но все же попытался задобрить свою мамашу и заступиться за фрейлейн.

Мама небрежно погладила его по головке и посоветовала хорошенько учить уроки, если он желает развеселить свою бонну и доставить ей удовольствие. Уроки он учил усердно, однако фрейлейн Берта почему-то веселее не становилась!

После прогулки ему иногда позволяли поиграть, но чаще занятия, устные и письменные, тянулись до самого обеда. Арифметика, бывшая при Коле легкой и интересной, стала сущей мукой — мама взялась за

* Автор сознательно избрал слово «студент», ибо то Ивановское училище было первоклассным и выпускало инженерно мыслящих специалистов-механиков.

эти уроки сама, толком ничего не объясняла, а спрашивала очень строго. Музыкальные занятия тоже приносили немного радости.

Обед! О, за столом требовалась особенная выдержка. Если блюдо нравилось и Роня ел с охотой — следовали замечания по поводу изящных манер и набитого рта. Если же еда не нравилась, об этом нельзя было даже намекнуть вслух, притом «не делать кислого лица», «не спать над тарелкой» и всегда считаться с перспективой остаться без сладкого. Если за обедом бывали гости — здешние или приезжие — мамино внимание обычно отвлекалось и только бонна занималась Ронинными манерами. Это все-таки было полегче маминной муштры.

Проходил обед. Начиналось чтение вслух.

Сначала бонна часа два читала мальчику немецкие юношеские книги. Рассказы о морских приключениях Капитана Марриэтта или индейские повести Карла Майя и Фенимора Купера. Книги Сетон-Томпсона о животных. Все это в добротных подарочных изданиях с цветными картинками и гравированными рисунками.

Потом сам Рональд читал своей бонне немецкие тексты по толстым хрестоматиям вроде «Дер гуте камера» или «Дер югенд Хаймгартен». Там были занятные истории о великих людях, рассказы о путешествиях и войнах, где трудолюбивые, brave немецкие юноши, пламенно обожавшие фатерланд, убегали из родительских домов либо в прерии, либо на войну, выходили победителями из любых передрыг и возвращались в фатерланд богачами, осушая этим слезы стареньких немецких мамаш.

Кончалось чтение — следовали полчаса экзерсисов на рояле, потом можно было гулять, играть или читать книжки по-русски, в изданиях Девриена, Вольфа, часто в серии «Золотая библиотека».

С героями этих книг он вступал в особенные личные отношения и говорить об этом ни с кем не хотел. Это был его собственный мир, открытый только для пришельцев со страниц книжных.

Робинзону Крузо он слегка завидовал, считал его счастливецом, но отнюдь не героем, ибо искренне верил, что сам управился бы на острове не хуже Робинзона. А дойдя до гибели Пятницы, мальчик книгу отложил и больше никогда ее не открывал. Он и не играл в Робинзона и Пятницу, чтобы не думать о конце такого верного друга.

Зато барона Мюнхгаузена мальчик очень любил за оптимизм и в душе, никому в том не признаваясь, склонен был относиться к историям барона с известной долей доверия. Барон казался ему талантливым избранником фортуны, человеком удачи, умеющим невозможное делать возможным благодаря дару воображения и жизнелюбия.

Любил он и полную противоположность барону — всадника на Росинанте, идальго Кихота из Ламанчи.

Мальчик чувствовал тайную общность с ними обоими, потому что и тот и другой, находясь среди людей и вещей обыкновенных, переносили их силою воображения в мир фантастический. Точно так же и сам Роня, обитая среди людей и вещей обыкновенных, жил еще и некоей внутренней жизнью в мире фантастическом и нереальном, мире мистическом и страшном.

Барона Мюнхгаузена он ценил за его умение находить верный выход, пусть фантастический, из реальных жизненных затруднений. Да, он был склонен верить изобретательному барону! Основа всякой победы — полная уверенность в собственных силах и возможностях, в этом и заключалась тайна успехов барона-фантазера.

Идальго на Росинанте не был рожден для победы и успеха, хотя его высокий дар воображения не уступал баронскому. Идальго тоже никогда не уклонялся от опасностей, бросался им навстречу, но всегда проигрывал битву.

Мальчик втайне презирал своих сверстников, хохотавших над неудачами Дон-Кихота. Ему, Рональду, было не до смеха! Он сознавал свое духовное родство с Дон-Кихотом.

Мудрость Дон-Кихота заключалась в том, что он не мог верить в безобидность мельниц, подлых табунщиков, вероломных бурдюков. Мальчик им тоже не верил.

Как и внутренне зоркий Дон-Кихот, мальчик прекрасно знал, сколько зла и коварства таят все предметы и явления нашего обманчиво-реального мира, враждебного вольному рыцарскому духу! Маленький читатель сокращенного, или, как говорили, адаптированного, Сервантеса рано догадывался о правоте Дон-Кихота, сочувствовал стремлению сокрушить стародавний обман мельниц, бурдюков и свиной. Но, увы, мельницы, бурдюки и свиньи одолевали благородного и прозорливого идаляго. В отличие от барона Мюнхгаузена, Дон-Кихот терпел унижения, бедствовал и страдал. Даже от рук узников, которых освободил, вступив за них в бой с конвоирами.

Жестокие поражения терпел в своих битвах и мальчик Рональд!

Ведь он тоже кое-что знал о тайном коварстве мнимо безобидных предметов, будто бы самых обыкновенных и бесхитростных!

Как удивительно ловко они маскировались! Как хорошо и убедительно они умели принимать обличье простых шкафов, дверей, вешалок, семейных портретов, стульев и кресел! А зеркала... Боже мой! Большие, обманчиво спокойные, холодные — сколько тайн они скрывали!

Днем эти предметы притворялись добродушными и дружелюбными. Порой им даже удавалось перехитрить мальчика, обмануть его донкихотскую прозорливую бдительность. Тогда он на время утрачивал настороженность и готов был поддаться успокоительной дневной мистификации вещей-оборотней.

Но чем ближе подходил зимний вечер, чем явственнее протягивались лучики звезд сквозь морозный иней и черные тени веток на оконных стеклах, тем острее и отчаяннее охватывало мальчика тоскливое предчувствие надвигающегося ужаса.

Он страшился ночного мрака, томительного одиночества в большой холодной постели и своей полной незащищенности от могущественного тысячеликого Зла, черпающего силу в глухих недрах тьмы.

Приказание идти спать было приговором на муку, на медленную казнь. Разумеется, возражений в доме госпожи Вальдек никто ни от кого не слышал, они исключались заранее. Взмолиться о пощаде было бы столь же бесполезно и бессмысленно, как просить отсрочить заход солнца. Все подчинено божеству ордунг! Оно — альфа и омега бытия. И мальчик шел к постели, как на эшафот.

Этому предшествовал лучший час всего прожитого дня, один час радости после ритуального общесемейного вечернего чая. Из столовой горничная Зина, бывшая Викина кормилица, уносила отслужившую свой день крахмальную скатерть, и детям позволяли поиграть в тихие игры на всем просторе огромного обеденного стола. Он оставался теперь до следующего дня лишь под серым суконным ковром с серебряными аппликациями или под зеленоватым покрывалом с золотыми разводами.

Играли в зоологическое лото, настольные скачки («только без азарта, детки!») или в автомобильные гонки, хальму и рич-рач. Рональду иногда позволяли расставлять на столе полки его солдатиков и устраивать им смотр-парад. Открывать военные действия и стрелять из пушки на ночь не разрешалось. Но даже простой смотр войскам бывал событием, если удавалось выстроить всех солдатиков.

Основу Рониных армий составляли две коробки английских солдат в красных и синих униформах с пуговицами. В каждой коробке укла-

дывалось по два десятка таких гренадеров. Роня всех их знал в лицо, как Наполеон своих старых гвардейцев.

Хороши были и старинные русские кавалеристы — кирасиры на белых и гусары на гнедых конях. У них тоже были индивидуальные имена, характеры и привычки. Иногда кто-нибудь из них давал игре совсем не то направление, как задумывал их полководец Роня, подобно тому как литературные герои подчас путают замыслы писателей-авторов.

За конницей строились зеленые пехотинцы и опять гарцевали всадники помельче — черно-красные казаки, донцы и кубанцы. Папа подарил их перед отъездом в армию.

Было еще много каких-то вовсе уж разномастных трубачей, сигнальщиков, барабанщиков и знаменосцев, очень красивых на смотру, но самых шатких и неустойчивых, когда дело доходило до боя. Эти бои, особенно если в них участвовал репетитор Коля, начинались артиллерийской дуэлью через всю длину стола. По его торцовым сторонам противники строили замысловатые крепости из кубиков и дырчатых пластин деревянного конструктора. В укреплениях маскировались солдаты. Позади крепостей оставляли место для огневых позиций артиллерии. Так как пушек имелось всего три и запас снарядов был ограничен (три деревянных ядра и полдюжины утяжеленных цилиндров), то огонь велся по очереди — пушки переходили то к Роне, то к Коле. Когда же Коля перестал ходить на Первую Борисовскую, Роне приходилось воевать и на той, и на этой стороне, за русских и за германцев.

Сражаясь против Коли, Роня всегда бывал, конечно, русским. Перед началом сражения двоих самых красивых и массивных кавалеристов возводили в царское достоинство — они становились российским государем и германским Вильгельмом. Противники старались лучше укрыть этих коронованных особ в недрах крепостей, и случалось, что только оба царя и противостояли друг другу до конца сражения. Наконец, один из царей падал под выстрелами. Тогда царь-победитель выезжал гарцевать перед руинами крепости в полном одиночестве, даже без адъютанта.

Но били часы.

Над столом гасили большую керосиновую люстру с хрустальными подвесками и наполненным дробью полупудовым шаром. Фрейлейн Берта уводила в нагретую ванную, потом в детскую маленькую Вику, а Роне оставляли еще четверть часа на то, чтобы разложить по коробкам и скачки, и автомобильчики, и кубики, и части конструктора, и солдатиков, отнести все это в детскую и уложить коробки по местам. Это были последние минуты дня, но уже безрадостные, уже отравленные предчувствием ночных страхов.

Его клали не в детской, с Викой и бонной, а в родительской спальне, на папином месте. Он сам выпросил себе эту привилегию, но этим же обрек себя на долгие часы одиночества, пока мама разбирала в папином кабинете почту, читала свежие номера «Огонька», «Вокруг света» и «Нивы», со всеми их бесчисленными приложениями. Просматривала она и выписанные для Рони «Задушевное слово», «Светлячок» и какие-то заграничные детские журналы, приходившие, однако, с большими перебоями.

Ольга Юльевна любила эти часы вечернего одиночества в кабинете, увешанном картами фронтов. В доме он назывался «красным» и находился рядом с маминым «зеленым». Иногда мама принимала в зеленом кабинете гостей, по утрам занималась там с Роней арифметикой, но вечерние часы любила коротать «у папы».

... У Рони уже уложены по местам игрушки и книги, при умывании

он все старается подольше провозиться с кранами и зубной щеткой, оттягивая час, когда нужно залезать под холодные простыни.

Слышно, как в столовой опять, внушительно и властно, ударили часы. Половина десятого.

В спальню приходит мама, проводить Роню ко сну. Он становится в постели на колени. У самых глаз его — резное афонское распятие, приятно пахнущее кипарисом. Его привезла мама с Кавказа и подвеса на голубой ленточке к изголовью папиной кровати, где теперь спит Роня. Он, как ему велено, складывает ладони и затверженно произносит немецкие слова молитвы.

При этом у него всегда одно и то же ощущение: грешно молиться на языке врага. Молитва — не настоящая, на ненастоящем языке, ненастоящему Богу. Никакой помощи себе он от этой молитвы не ждет, хотя всем существам жаждет избавления. Пожалуй, только афонский крестик — защита, но его запрещено брать в руки, тянуться к нему, а оттуда, сверху, со спинки кровати — разве он укроет, заслонит от призраков?

Мать не умеет понять, в каком мраке живет ее первенец и, главное, как доступны и несложны средства спасения. Она целует Роню и... уносит охранительницу-лампу.

Только луна и слабое свечение зимнего неба — отблеск фабричных огней — угадываются за кружевными занавесями. Гаснет и щелка в дверях спальни — значит, потушены бронзовые светильники в коридоре и прихожей. Мама вернулась в кабинет. Теперь вся эта часть дома — прихожая, столовая, гостиная и спальня — пусты и отданы во власть силам тьмы. Роня остается с ними один на один.

Свое присутствие в комнате они обнаруживают всегда по-разному. Бывает, что тут же затевают возню — с мышинными шорохами и крысиным писком перекатываются поверх одеял, через всю ширь двух постелей, маминой и Рониной, будто гоняются друг за дружкой, позабыв о мальчике, коснеющем в страхе.

Но чаще они вступают во владение темной частью дома в глубокой настороженной тишине. Роня безошибочно ощущает их присутствие, чувствует себя под их кристальным оком. Ни шелеста, ни писка — только напряженная тишина неведомой опасности, медленно нагнетающая страх. Вот-вот эта тишина взорвется нечеловеческим криком, грохотом вселенской катастрофы, воем жертв.

Напряжение все длится и длится, мальчик с зажмуренными глазами вжимается в подушку, но взрыва и выкрика не происходит. Тишина давит все тяжелее, и уже начинает казаться Роне, что теперь и он, подобно маме, просто теряет слух, глохнет.

Примириться с этим трудно. Ведь умрет весь чудесный мир звуков — музыка, весенняя капель, колокольный звон, паровозные гудки... Но если такова цена спасения от страха — он готов, он согласен. Пусть — тишина навсегда, зато не будет в ушах змеиного шелеста подползающей тайной угрозы.

Он отрывает голову от подушки.

И тут из неохватных, глубинных пластов тишины отслаивается некий звук. Он круглый, деревянный, гулкий, неживой. И постепенно нарастает, приближается. Это — с улицы, из-за окна. Может, звук не деревянный, а костяной? Кости о гробовую доску...

Кто-то из взрослых неосторожно упомянул при мальчике о вскрытии могилы с заживо погребенным. Мальчик запомнил.

А недавно Зина, горничная, подметая прихожую, пела о злополучном ямщике, что наехал середь зимней дороги на охладельный труп, занесенный снегом. По ночам Роня теперь сам становится этим ямщиком. Вот он увидел мертвое тело, слезает с облучка, наклоняется, шевелит кнутовищем оледенелую руку, слышит испуганный храп коня...

Все ближе костяной стук о деревяшку. Все громче. Вот уж почти под окном... Кажется это или в самом деле идет по улице мертвец и стучит?...

Стук затихает, вязнет в омотах тишины, уходит на край света, но вызванные им картины остались, и теперь мальчику чудятся костлявые пальцы, призраки в метели, то большие, белые, то черные, юркие. Когда глаза мальчика зажмурены — призраки мельтешат и носятся у самого лица, но открыть глаза невозможно: должно накинуться что-то худшее, ослепляющее, хохочущее. Тем временем костяной звук приблизился снова...

Много времени спустя мальчик узнал: ночной сторож ходит с полуночи до рассвета по Первой Борисовской и бьет в колотушку, остерегая воришек. Боялись ли воришки сторожевой колотушки или, напротив, торопились учинять свои темные дела на том конце улицы, пока сторож стучал на этом, Роник так никогда и не выяснил, но для него самого эта колотушка многие месяцы была вступлением к ночному кошмару.

Роня знал уже, что советоваться с кем-нибудь насчет ночного страха совершенно бесполезно. Люди ничего не понимали, как в книгах о Дон-Кихоте.

Мальчик пробовал поговорить про это с Колей-репетитором. Тот как будто сначала что-то понял, уселся вместе с Роней в глубокое кресло и стал очень терпеливо, умно и ласково давать каждому пугающему феномену реалистическое объяснение. Дескать, шорох — от мышей, их надобно истреблять, а вовсе не бояться. Вой — это ветер в печных трубах. Трещат бревенчатые стены по ночам при сильном морозе от разности температур — что вовсе не грозит обвалом всего здания. В зеркалах же мелькает всего-навсего твоя собственная тень — чему же тут смущаться сердцем?

Ученик послушно кивал головой, даже засмеялся из вежливости и.. поспешил заговорить о другом. Что делать! Мистическую сущность своих кошмаров он выразить словами не умел, реальный же механизм страшных ночных явлений понимал умом не хуже, чем Коля. Как же объяснить всем этим наивным реалистам, что простой чехол на угловом кресле в спальне целую ночь ухмыляется, скалит черные, кривые зубы, а из больших зеркал пугающе бесшумно кидается к тебе призрак, когда ты, не выдержав одиночества, пробираешься босиком в кабинет к матери? А колотушка с улицы и тогда наводит на мысль о бродячем мертвце, когда Роня уже знает про сторожевой обход.

... Мальчик никому больше о своих страданиях не говорит, но постоянно думает о Дон-Кихоте и не доверяет мнимой безобидности реальных вещей.

3.

В июне 1915 года Роня отправился на войну.

Нет, нет, не на игрушечную какую-нибудь, а на самую настоящую, к папе в действующую армию. Даже под обстрелом побывал — оказывается, не очень жутко, интересно даже, а вместе и дико как-то...

Капитан Вальдек сообщил жене телеграммой из Варшавы об отсрочке отпуска, просил не грустить и подумать, не собратсья ли в дорогу ей самой. Он подождет в Варшаве — либо ответной весте, либо... встречи!

Из полунамеков в последних письмах Ольга сообразила, что ему предстояла служебная поездка с Юго-Западного фронта на Северо-Западный, для связи со штабом 2-й армии. Выходило, что он мог несколько задержаться в Варшаве.

Ольга положила ехать немедленно, вечерним поездом в Москву. — Возьми и меня к папе! — попросил Вальдек-младший. Безо всякой, впрочем, надежды на исполнение просьбы. А мама неожиданно-негаданно согласилась. Про себя она решила показать Роню московскому доктору: дескать, почему сынок такой бледный, чувствительный и вдобавок не любит темноты?

Целый день собирали чемоданы, и уже на следующее утро Роня ехал с мамой на извозчике мимо хорошо знакомой привычной арки Красных ворот — с Каланчевской площади они направлялись к Стольниковым, в Введенский. Ольга Юльевна заодно везла и очередную сумму денег, чтобы внести в стольниковский банк. Вклад приближался уже к первому пятизначному числу.

Подходящего доктора для Рони рекомендовала братниной жене-госпожа Стольникова, Ронина тетка Аделаида. Она сама и повезла Роника к столичной знаменитости.

Доктор — острая бородка, белый халат, золотое пенсне, прохладные руки — чуть-чуть повозился с мальчиком, потрепал по щеке, сумел немного рассмешить, а потом пошептался с теткой. Советы он дал золотые: гимнастика, моцион, холодные обтирания и пилюльки.

На обратном пути, выезжая с Рождественки на Кузнецкий мост, старик-извозчик остановил своего гнедого: толпа народа так запрудила улицу, что проезда не стало. По улице рассыпаны были листы плотной бумаги, афиши, разорванные журналы, книжки, знакомые обложки нотных тетрадей. По ним равнодушно ходили люди, втапывая бумажные листки в сор и грязь. Под стенами высокого серого здания книги, ноты и бумаги валялись на мостовой большими кучами, как снежные сугробы.

Извозчик стал разворачивать пролетку — Кузнецким было не проехать. Вдруг что-то обрушилось с грохотом, и сквозь шум прозвучал будто короткий струнный стон.

— Эх, какую музыку сломали! — не то с восхищением, не то сожалея сказал возница. — Гляди-кось, барыня, никак в доме Захарьина погулянка-то идет? И верно, похоже, старого Циммермана, Юлия Гендрика с сыновьями, громят... Ну, скажи на милость! Знаю барина этого, не раз возить доводилось, не обижал он нашего брата. Дело-то у него бойко шло. А теперь — на-поди, полный карачун ему выходит. Одно слово — полный карачун!

Роня выглянул из пролетки.

В воздухе снова мелькали, кружились белые листки — их швыряли горстями из окон серого дома купца Захарьина. Один листок подхватило ветром и понесло прямо под ноги гнедому. Возница натянул вожжи, давая седокам время сполна насладиться картиной погрома. Листок тихо опустился рядом, в лужицу. Роня узнал нотную обложку с портретом Чайковского...

Опять вылетела на улицу большая пачка нотных тетрадей, а еще выше, из выбитого окна на втором или третьем этаже, высунулся... рояль. Толпа внизу заревела. Еще с минуту рояль, подталкиваемый громилами, полз по оконнице, потом свесился над улицей и полетел вниз. Углом рояль задел при падении за выступ карниза, и тогда у него отмахнуло в сторону крышку. На лету она свесилась, как подбитое птичье крыло. Ахнув всей тяжестью о мостовую, рояль простонал предсмертно.

— За что это все? — спрашивал Роня в ужасе.

— Как за что? Известное дело: немец! — сказал кучер.

— Да едемте же отсюда поскорее! — взмолилась тетя Аделаида. Она была прекрасной пианисткой и хорошо знала не только издания обеих московских фирм, Юлия Циммермана и Петра Юргенсона, но и самих владельцев. Их музыкальные магазины были один — на Кузнец-

ком, другой — на Неглинке, в доме четырнадцать, куда и глянуть жутко — может, и там тот же разгром?

А ведь эти «немцы» впервые напечатали Баха для русской публики, стали главными издателями Чайковского, Рубинштейна, Балакирева, Рахманинова. Под ногами погромщиков погибали сейчас творения Глазунова и Бородина, Шопена и Шуберта...

Тетя Аделаида молчала до самого Введенского переулочка на Покровке. А мальчику Роне с того дня годами еще снились громы. Он видел, как мамин черный, отливающий лаком «Мюльбах» дюжие верзилы громоздят на подоконник, выталкивают из окна и как рояль, откинув подбитое крыло, со стоном ахает на булыжник. Известное дело: немец!..

* * *

Павел Васильевич Стольников к тому времени уже исхлопотал сыну Саше назначение в гренадерскую артиллерийскую бригаду к дяде Лелику. Двадцатилетнего Сашу Стольникова решили отправить как бы провожатым с тетей Олей и Роником. Заранее предполагалось, что дядя Лелик возьмет Сашу себе в адъютанты.

По льготной цене заказали купе первого класса — офицерский чин давал право оплачивать первый класс по стоимости второго, — в курьерском прямом сообщении, через Минск — Брест-Литовск. А пока шли эти приготовления к отъезду, Роня навоевался всласть с Максом Стольниковым, своим двоюродным братом, младшим из наследников Павла Васильевича. Оловянные солдатки доставались Максиму от старших братьев целыми полками и эскадронами, в игре участвовали тяжелые металлические пушки, корабли и даже бронепоезд, ходивший по рельсам. Старшие нашли, что оба мальчика проявляют стратегическую одаренность, особенно Макс.

Кузен Макс Стольников был годом старше Рони, учил латынь, читал на четырех языках, щелкал как орешки самые трудные задачи, хорошо играл на рояле, увлекался мелодекламацией, — словом, его всегда ставили Роне в пример, а это, как известно, не очень помогает дружбе. Тем не менее ладить с гениальным Максом все-таки можно было — в нем чувствовалось незлое сердце, благородное отвращение к насилию и несправедливости. Мальчик он был очень красивый, с золотыми кудрями до плеч — эта прическа выделяла Макса среди стриженных сверстников, делала похожим на сказочных принцев, что снятся девочкам.

Одно обстоятельство как бы отдаляло Макса от Рональда. Ивановский кузен сперва об этом не задумывался, а с течением времени стал ощущать острее и больнее.

Роня был лютеранином, Макс — православным. Крестил его настоятель Введенской церкви — Стольниковы принадлежали к его приходу. Нарядный, красиво убранный храм построен был в XVII веке на скрещении двух слободских переулочков, впоследствии Барашевского и Введенского. Некогда жили здесь великокняжеские барашки, мастера шатрового дела, люди достаточные и понимавшие красоту. Старый, строгий батюшка, настоятель Введенского храма, полюбил крестника Максимилиана, сделался его духовным отцом. Стал частым гостем в доме Стольниковых и приохотил Макса к церковной службе. «Кому церковь не мать, — говорил священник, — тому и Бог — не отец». Три старших стольниковских сына — Володя, Жорж и Саша — были к религии равнодушны, а Макса в церковь тянуло. Тетя Аделаида, лютеранка по вероисповеданию, отпускала его в православный храм с радостью. Макс подпевал на клиресе, читал за аналоем акафисты, вос-

хищая старших прихожан чистотою и гладью чтения, а во время литургии батюшка брал Макса прислуживать в алтаре. Обо всем этом Роня понаслышке знал, но это мало его интересовало, пока он сам не побывал у Введения.

Перед отъездом мамы, Рони и Саши в Варшаву Стольниковы взяли в церковь, к обедне, и кузена Роню. Он не впервые был в русском храме, где ему всегда нравилось больше, чем в скучновато-пресной кирхе, но именно в этот раз он всей душой испытал в церкви чувство восторга, очищения и возвышения. Поразили живые огни свечей и лампад, голоса певчих, красота росписей и иконостаса, торжественное величие и задушевность обряда. Но больше всего его тронуло, что в этом дивном храмовом действе участвует равным среди равных не кто иной, как его родной кузен Макс, посвященный в церковные тайны, ему, Роне, совершенно недоступные. Он в первый раз увидел двоюродного брата в стихаре и нарукавниках, поразился, каким ясным голосом Макс читает и поет по-церковнославянски. Значит, Макс здесь — по-истине у себя дома, а он, Роня, хотя ему здесь так нравится, все же вроде как в гостях. В этом чувстве не было низкой зависти к духовной устроенности брата, но печаль о неустройстве собственном, может, не до конца осознанная, с этого дня у Рони появилась.

И еще одно открытие сделал тогда приезжий стольниковский кузен под сводами Введенской церкви. . .

Тетя подвела мальчика к темноватой иконе, висевшей невысоко в левом церковном приделе. Икону почти сплошь укрывала позолоченная риза — свободными оставались только лики и руки, да еще приоткрывалась надпись:

ПРЕСВЯТАЯ БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ.

Перед иконой горел с десяток свечей в двух канделябрах. В их колеблющихся отсветах Роня близко увидел смуглый женский лик, слегка склоненный к лику младенца. Икона висела так, что Роня, хоть и с робостью, смог заглянуть в глаза Богоматери.

Взор ее был исполнен тихой, вещей скорби, столь глубокой, будто в этом взоре воплотились думы и мысли всех матерей человеческих. Из-под полуопущенных век на мальчика глядели неземные очи, исполненные доброты, терпения и печали. В этом взоре, струящемся в сердце, была тихая мольба и предостережение, призыв к добру, надежда на милосердие, но и предчувствие неутолимого страдания.

Видя, как поступают другие, мальчик тихонько приложился к руке Богоматери на иконе и на мгновение прижался лбом к прохладной ризе.

После обедни подошла пора ехать на Александровский вокзал Московско-Брестской железной дороги, у Тверской заставы, за Триумфальными воротами. Павлу Васильевичу ехать было нельзя, дела торопили, он простился с Сашей в церкви и уступил отъезжающим свой автомобиль. Завел он эту машину незадолго до войны, но сохранил и коляску — надежнее, да и получил уже уведомление, что автомобили подлежат временному изъятию у владельцев для нужд действующей армии.

Купе оказалось отличным. Роня радовался и поездке, и скорой встрече с папой. Прапорщик Саша Стольников поминутно острил, смешил Ольгу Юльевну и Макса, и лишь тетя Аделаида, как всегда сдержанная, собранная, строгая, одинаково ровная в обращении со всеми, нынче не улыбалась сыновнему остроумию.

Проводник вагона приоткрыл из коридора дверь купе, когда все в нем находившиеся «присели на дорожку». Почтительно кашлянув, проводник сказал: «Третий звонок, господа! Не опоздали бы выйти!» Открыв дверь купе пошире, он пошел в тамбур. Тетя перекрестила Сашу, простилась и вышла из вагона вместе с Максом, когда вокзальный

колокол отзвучал троекратно и под сводами вокзала, вслед за кондукторской трелью, коротко взревел локомотив-сормовец.

За окном совсем близко мелькнуло худощавое, тонкое тетино лицо в ту минуту, когда вокзал стал медленно отодвигаться назад. Роня уловил ее взгляд, искавший Сашу, и отчетливо вспомнил, нет, даже прямо увидел за окном скорбные очи Владимирской. . .

. . . Папа ждал их на платформе Варшавско-Тереспольского вокзала. Встречавших курьерский было в тот день много, и все очень волновались чрезвычайному обстоятельству: курьерский Москва—Варшава опаздывал на целых 20 минут!

На привокзальной площади застоялись папины лошади — светло-серый в крупных яблоках Чингиз и темный рослый Шатер. В парке артиллерийской гренадерской бригады насчитывалось поболее полутора тысяч лошадей, и ради соблюдения неких священных и незыблемых воинских начал всем этим бригадным лошадям приказано было избирать клички только на четыре буквы: Ц, Ч, Ш и Щ. Папа рассказывал, как в начале кампании весь бригадный штаб битых трое суток искал пригодные слова на шипящие. Под конец командир уже посулил за каждую новую сотню оригинальных кличек, отвечающих правилу, увольнение во внеочередной отпуск на двое суток. . .

Кучер-татарин весело козырнул, отстегнул кожаный фартук, приглашая седоков, пристроил в задке коляски один чемодан и «взял в ноги» второй. Фамилия кучера оказалась Шарифудинов — Роня отметил про себя, что и она начинается на шипящую.

Обгоняя другие экипажи, лихо выехали на Александровский мост через Вислу. У Рони в глазах замелькали перекрестья мостовых ферм, мешавших любоваться заречной панорамой города. Он был прекрасен!

Река с яхтами, катерами и буксирами, а сразу за ней — старинный замок и нарядные дворцы, отороченные темной парковой зеленью. . .

Дальние холмы с крепостными фортами, готика костелов, размах просторных площадей, красота фасадов, соразмерность, созвучность уличных строений, их изысканный колорит — вместе это все и создавало аристократическое, необычайно благородное лицо Варшавы. Ни те ни столь привычной Роне российской провинции, да и вообще совсем мало заметны русские черты — вот, пожалуй, этот железный мост, плохо гармонирующий с архитектурой города, и еще кое-какие чужеродные приметы современной инженерной моды. . . Да, город интересен именно своей национальной, чисто польской «наружностью», кажется иностранным — для человека русского это имеет особое очарование. Примерно так мама успела высказаться еще по дороге в гостиницу.

Непривычным было для Рони и языковое многообразие. В правобережном предместье, или Праге, Роня слышал много еврейской скороговорки, но понимал в ней только отдельные немецкие слова. Потом, уже за Вислой, — пошел со всех сторон знакомый польский говор, с опорой на звук «пш». Польский язык Роне нравился, он привык к нему у ивановских друзей, Донатовичей и Любомирских. . . Но здесь говорили так быстро, что он не смог улавливать смысла речей.

По обеим сторонам улицы мелькали французские вывески, польские надписи, рекламы незнакомых европейских фирм, витрины с иностранными товарами. Лишь военные — а их было очень много в Варшаве 1915 года, — громко переговаривались по-русски.

Коляска с кучером-солдатом неторопливо катилась по великолепной улице Краковское предместье. Мимо Саксонского сада, дворца Потоцких и старинного, высокочтимого костела Святого Креста доехали до почтамта. Отсюда дали Стольниковым телеграмму о благополучном приезде. Потом улица Краковское предместье влилась в столь

же красивую улицу Новый Свят. Папа показал сыну Университет, Дворец губернатора, церковь кармелиток — Роня еле успевал вертеть головой. Город ему страшно понравился как раз своей несхожестью со всем привычным в городах среднерусских. Наконец, на большой, нелюдной и величаво спокойной площади Роня увидел сидящего на постаменте Коперника со сферой в руках, и тут же, рядом, оказалась гостиница, где их ждал двойной номер и хороший обед.

И блюда показались непривычными, тем более что все они очень сложно назывались, и даже хлеб был какой-то нерусский, нарезанный чересчур уж тоненько.

Несколько дней мама с Роней бродили по чужому городу, сидели в его кофейнях, замирали в музейных залах, любовались памятниками, слушали музыку, купили Роне белую пушку, а маме заказали новое платье из зеленоватого бархата, отделанного вышивкой и бисером. Ездили потом на примерки раз пять, Роне уже надоели болтливые польские мастерицы... Вечерами вместе с папой гуляли в нарядной толпе по любимым главным улицам от замка до самого Бельведера.

Однажды в июньский полдень мама и Роня возвращались из Вольского предместья. Побывали они там на обширном евангелическом кладбище у Сеймовой долины. Кладбище оказалось похожим на московское, что в Лефортове. Мама нашла и здесь знакомые фамилии на могильных памятниках. Чуждая мистике, Ольга Юльевна все же очень любила прогулки по городским кладбищам и повторяла про себя слова римского мудреца: глядя на могилы — сужу о живых. Папа встретил их с коляской у входа, и они поехали с кладбища домой какими-то новыми для них улицами. Вдруг прохожие стали беспокойно жестикулировать, указывать вверх. Кучер Шарафутдинов повел хлыстом назад и тоже показал на небо.

И тут Роня впервые увидел аэроплан. Он был немецкий, походил на птицу, трещал наподобие мотоциклета и пролетел прямо над головами сидящих в коляске, уйдя за крыши Банка и Арсенала.

— «Таубе»! — хмуро сказал папа. — Сегодня утром они бросали бомбы на казармы у петербургской заставы... Кажется, пора тебе домой, Оленька!

Жильцы гостиницы были возбуждены. Оказывается, еще один «Таубе», а может быть, тот же самый, сбросил над городом противопехотные стрелы. Они просвистали в воздухе, изрешетили несколько крыш, но человеческих жертв на этот раз не вызвали. Говорили, что одно попадание было и в гостиницу, однако снарядик не нашли.

Мама открыла верхний ящик комода — переодеть Роню к обеду. В стопке детского белья обнаружился беспорядок — она словно была проткнута очень грубым шилом. Пригляделись — в красном дереве комода зияла аккуратная дырка, будто комод просверлили. Глянули на потолок — пробоина!

Стали рыться в ящике и достали запутавшуюся в белье узкую, вершка четыре длиною, стальную чушку с заостренным носом и ребристым хвостом для стабилизации стрелы в полете. На ребре хвоста было выгравировано: ГОТТ МИТ УНС. Выпускали такие стрелы с аэроплана, видно, пачками, в расчете поразить солдатский строй или толпу горожан.

Мама подержала стрелу на ладони, взвешивая.

Сколько же выдумки, денег, людского и машинного труда вложено в эту вещь! Рылись глубоко под землей горняки, лился из печей металл, вращались заводские станки, ночами не спали инженеры, чтобы хотя бы каждая пятидесятая или сотая из пачки стрел настигла не белье в комод, а ее Лелика, Роню, любого варшавского горожанина или российского солдата.

Вот так и побывал Роня на настоящей войне и даже под обстрелом!

Вроде бы и не очень страшно, и интересно, а дико все же как-то, когда во все это играют тысячи серьезных людей. Каждый в отдельности хорош, а вместе — безумные какие-то...

На следующий день после прилета аэропланов «Таубе» мама и сын простились — с папой, кузеном Сашей и прекрасной Варшавой.

• • •

Зимой 1915/16 годов, накануне брусиловского наступления, Роня уже догадывался о нем, но догадку свою хранил в глубокой тайне ото всех.

Папа получил кратковременную командировку в Москву и обещание отпуска осенью. В ближних армейских тылах фронта шли усиленные учения, войсковые маневры, штабные игры. Дело у папы было по горло. Вырвался он в Иваново-Вознесенск всего на двое суток и притом совершенно неожиданно.

Роня еще по звонку, необычно раннему, предутреннему, угадал, что на крыльце — папа. Звякая шпорами, он вошел, сопровождаемый денщиком Никитой. Развязал запорошенный снегом башлык, обнял в прихожей маму, вылетевшую прямо из постели в розовом капоте, и Роню в ночной рубашке, и Вику в длиннополой сорочке. Папа зажимал уши от визга, смеха, криков, возни. Весь дом впал в какое-то иступление от внезапного счастья, а мама была в состоянии полубоморочном.

Сонная прислуга тоже вскочила было с постелей, но папа всех отослал досыпать и велел Никите, быстроты ради, разогреть горячими угольями из печей вчерашний вечерний самовар, сварить яиц всмятку или, на вкус Ольги Юльевны, «в мешочек» для предварительного завтрака, а потом отправляться на весь день в город, куда глаза глядят. Глядели же они у Никиты преимущественно на молодых иваново-вознесенских ткачих...

Роне позволили встать к ночному завтраку, а потом идти в детскую, чтобы вместе с Викой и фрейлейн Бертой разбирать привезенные гостинцы.

Расторопный Никита очень быстро сервировал чай, хлеб, масло и яйца, крутые до синевы. Папа тихонечко упрекнул его: что ж ты, мол, не мог угодить барыне? Она же «в мешочек» просила!

Никита только руками развел:

— Так точно, выше высокоблагородие! В мешочке она велела. Пошукал я впотьмах мешочка, не нашел! Попался под руку чулочек Ронечкин, так я в нем и сварил. Как же она сразу узнала, выше высокоблагородие?

За ночным столом Роня спросил, когда мама чем-то отвлеклась:

— Почему у тебя, папа, ухо пластырем заклеено?

— А ты умеешь хранить тайны? Сумеешь маме не проговориться?

— От мамы у меня тайн не было.

— Правильно, но это дело чисто мужское. О нем не должны знать ни мама, ни даже Вика-малютка! А тебе знать не мешает, чтобы сам не повторил такой глупости... Так вот: ухо у меня прострелено. Только... дело тут вовсе не в войне, а в твоём кузене Саше. Купил себе Саша Стольников — он по-прежнему у меня в адъютантах — американский морской кольт, револьвер такой автоматический. Пуля — с твой палец, бьет — за версту. И три предохранителя — на все случаи жизни...

Мы были в отступлении. Ночевали в палатке. Подал нам Никита ужин на бочке, покрытой широкой доской. А Саша все своим кольтом любит, разбирает его на том конце доски. Я говорю: «Убери эту дрань со стола, поранишься сдуру!» Он ужасно обиделся: «Что вы, дядя Лелик, смотрите, какой надежный! Жму на предохранитель —

автоматический механизм заперт, жму другой — гашетка заперта, никакой силой не надавишь, вот так...» И тут — бух! Ухо правое мне аккуратно и просадило!

Только уговор, Ронюшка! Я тебе доверился, так смотри, страху лишнего на мать не нагони. А то она Сашу до смерти не простит. Сам же помни — и незаряженное ружье стреляет, и на все эти предохранители не больно надейся. Никогда на человека оружие зря не наводи...

Рассказ этот Роня от матери утаил, как велено было отцом. Смолчал и перед Бертой, и перед Викой, и перед Зиной-горничной, с которой он считал себя в крепкой дружбе, — но только с тех пор и узнал, до чего же трудная штука мужская тайна! Несешь ее один — спина гнется от нестерпимой тяжести!

Вот каким был у русского мальчика Рони Вальдека его родительский дом!

Глава четвертая

ЛАДЬЯ НАД БЕЗДНОЙ

*Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать.
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.*

Лермонтов, 1830

1.

Немало было таких пророчеств в русской литературе, только слушать их в России не умели! Тихие тяжкие шаги входящей в дом беды так чутко уловил Блок еще в 1912 году, но предчувствие поэта было объявлено рифмованной бедламской бессмыслицей...

Теперь их начали различать многие, однако же и над самой пропастью иные лишь глотали слезы и молились тихо, иные натачивали булат, иные же по-прежнему... пили свой кофе со сливками. Среди них — семьи Вальдек и Стольниковых, пока еще мало тронутые градоносной тучей.

Ольга Юльевна блюла ритуал и декорум уже обреченного жизненного уклада. Только привычный турецкий кофе был заменен колониальным французским, сливки стали пожиже, а горничные погрубее.

Изредка и они уже роняли в сторону такие словечки, как «буржуазия», «вот ужо вам», «митинг» и даже «комитет». При детях прислуге было запрещено рассуждать о прошлогодних августовских забастовках в Иваново-Вознесенске.

В те дни никого из семьи Вальдек не было в городе, они все

уехали к осени в село Решму на Волге, сразу по возвращении Рони и мамы из Польши.

А с Волги семья приехала в Иваново-Вознесенск уже после того, как владимирский генерал-губернатор утихомирил бунтарей-ивановцев. Однако мальчишки с Первой Борисовской улицы еще шептались насчет давешних фабричных беспорядков и стрельбы по забастовщикам. Роня и верить не хотел, будто русские казаки и полиция по приказу русского губернатора могли палить в русских же фабричных, а тем более застрелить кого-то насмерть и кое-кого поранить.

Как ни странно, Ронина недоверчивость подняла его во мнении рассказчиков. Они сбавили число убитых с двухсот до двух человек, а раненых с тыщи до полутора десятков, но на этих цифрах стояли твердо и даже выразили готовность показать Роне жилье обоих убитых и те семьи, где имелись раненые. Предлагалось также показать казармы, откуда полицейские забрали в тюрьму «поболе двадцати рабочих душ», но Роня и без консультантов отлично знал эти казармы-общегития.

Вообще с некоторых пор Роня стал входить в доверие у «уличных» ребят, в особенности когда фрейлейн уже не контролировала каждый шаг своего подопечного. Первой в жизни положительной характеристикой Роня, сам того не ведая, был обязан дворницкому сыну. Тот подтвердил ребятам, что «евонный Ронькин папа хоша и ахфицер, но не шура» и что сам Ронька вроде бы «не гадина».

После такой рекомендации улица пригласила Роню поиграть в «казаки-разбойники», зачислив новичка в мало популярное сословие казаков. В этом своем казацком качестве Роня был изрядно помят и побит, не просто из здоровой классово-ненависти, а скорее для проверки его моральных качеств. И хотя синяки на лбу и порванный костюмчик потребовали домашнего следствия и допрос с пристрастием вела мама, Роня никого не назвал и ни на кого не пожаловался. Нельзя сказать, что ложь давалась ему легко. Правдивость всегда была воздухом его бытия, давать матери уклончивые ответы было страшно трудно, потому что тянуло на всегдашнюю откровенность, однако же именно тут, умалчивая о виновниках злоключений, он сознавал, что есть в жизни некая особая правда совести, ступенью выше простой житейской истины фактов, и ради этой высшей правды совести можно иногда поступиться тьмою низких истин. . .

Когда ребята выяснили, что Роня смолчал о понесенных обидах, доверие к нему повысилось и на него возложили первое общественное поручение: попросили укрыть в доме хотя бы на первое время всеобщую любимицу Первой Борисовской — развеселую дворняжку Бульку. Собачонка навлекла на себя немилость грозного участкового пристава, повелевшего немедленно истребить Бульку. Роня устроил ее под балконом, собачонка так к нему привязалась, что признала хозяином. Ольга Юльевна только что прочтала Роне рассказ «Муму», находилась под его обаянием и милостиво согласилась с Булькиным присутствием. Ребята признали за Роней владетельные права на Бульку и посвятили его в некоторые тайны своей упорной войны с приставом.

Оказывается, тот участвовал в прошлогоднем августовском деле, а про самое дело Роня вызнал больше, чем слышали о нем взрослые в доме Вальдек: пока вся семья проводила осень на Волге, в Иваново-Вознесенске забастовали рабочие прядильных, ткацких, ситценабивных фабрик — Куваевской, Грязновской, Гарелинской, Покровской. Когда в город приехал сам владимирский генерал-губернатор, полиция по его приказу арестовала подстрекателей стачки — Рыбина, Краснова и иных.

Народ же иваново-вознесенский, услышав об арестах, повалил к городской тюрьме выручать задержанных. Вот тут-то поднятые по

тревоге казаки и солдаты встретили толпу около Приказного моста и открыли огонь из винтовок. Участковый пристав тоже усердствовал при расправе — давал сигналы полицейским свистком, палил в толпу из револьвера. Потом ребята видели, как он забирал главарей забастовки. . .

Разумеется, друзей и знакомых Ольги Юльевны все эти события не коснулись. Напротив, в роскошном особняке польского семейства Любомирских зимой 1916 года стало даже больше гостей, чем прежде. Несколько закрытых концертов дали здесь такие московские знаменитости, как Нежданова, лирический тенор Смирнов и драматический Собинов, иваново-вознесенский уроженец пианист Николай Орлов, недавно воротившийся в Россию из парижских гастролей. Во вступительных речах к этим концертам прозвучали не очень смелые, но вполне прозрачные намеки о неизбежности демократических перемен в России и грядущей независимости Польши.

Гостили в ту зиму у Любомирских два известных поэта — Волошин и Бальмонт. Роня запомнил разговоры старших об этих приездах. Насколько смог усвоить Роня, Максимилиан Волошин читал ивановским господам длинную и едва ли понятную лекцию об антропософии и теософии. Поэт заклинал избранных и посвященных вступить в общества антропософов и теософов для мистического общения с потусторонним, астральным, миром во имя спасения мира здешнего, посягустороннего, вместе со всем человечеством, от зловещих демонов войны и революции. После лекции читали стихи, однако даже столь избранная ивановская публика оказалась к ним недостаточно подготовленной. Сама же Ольга Юльевна их плохо расслышала, потому что сочла неудобным пересесть ближе. Тут хотели от стихов прежде всего музыкальности, нежности, изящной смелости, красочной экзотики, только, конечно, не пугающей! Хотели ритмической новизны, тоже не слишком кричащей. Дамы оценивали поэтов примерно так же, как свои наряды: чтобы было модно, свежо, интересно, но отнюдь не грубо и не слишком экстравагантно для порядочного общества. Пуще же всего дамы опасались вульгарности.

Столичный поэтический лев не разочаровал прелестных слушательниц.

Весь вечер был он в ударе, читал щедро, разгорался все пламеннее, соглашался вспоминать совсем старое, раннее, при этом шутил мягко и чуть грустно, почти не ершился и страшно всем понравился.

На Ольгу Юльевну Вальдек он обратил внимание сразу. Он спустился в вестибюль за позабытым в пальто портсигаром и стоял под лестницей, пока она в задумчивости медленно сходила по мраморным ступеням. Поэт с театральной восторженностью припал на колено, как в рыцарские времена, и воскликнул, что преклоняется перед божеством нордической красоты.

— Поэт счастлив видеть перед собою золотоволосую Скандинавию и намерен быть ее рыцарем, по меньшей мере за ужином!

Их действительно усадили вместе, и целый вечер был он внимателен и покладист. Развлекал даму воспоминаниями о знакомых литераторах, кругосветных плаваниях и необыкновенных встречах, был куртуазен, долго прогуливался с Ольгой Юльевной по анфиладе комнат, словом, был ручным и милым львом.

Вскоре Ольга Юльевна получила из Москвы стихи с лирическим посвящением, а еще через месяц поэт повторил визит в Иваново-Вознесенск и снова провел уютный вечер у Любомирских в обществе Ольги Юльевны.

После этой встречи она добавила к небольшой связке писем в тайном ящичке кабинетного секретера еще одно письмо со стихами за подписью — «К. Б.»: «В зеленых глазах твоих, Скандинавия» . . .

Такие стихи могли возникнуть только под влиянием свежего внешнего чувства, пусть преходящего, может, даже мимолетного, но и в мимолетности своей несомненно искреннего.

...Весну и лето 1916 года, во время брусилковского наступления на фронте, семья Вальдек, без ее главы, но вместе с тетей Эммой Моргентау, фрейлейн Бертой и горничной Зиной, проводила в Железноводске. Для Роника и Вики это лето стало последней в их жизни полоской не омраченного мировыми катастрофами детства.

Прекрасно было само двухтысячечерстное путешествие на Кавказ в двух соседних мягких купе. Путешествие волшебным превращало самые обыкновенные дела, вроде еды на маленьком столике или даже укладывания спать на вагонных ложах, в сплошную цепь радостей и удовольствий.

Детей радовало все: дорожные пылинки в солнечном луче, новые и новые дорожные картины в обрамлении вагонного окна, счастливое предвкушение юга и постепенное угадывание его примет: белые мазанки под соломой вместо бревенчатых изб, морской гравий на полустанках и другой ветер, теплый, запахом напоминающий чай, постоянный на южных травах и цветах.

Конечно, и в пути у Рони были свои тревоги. Он, например, возненавидел большие вокзалы с ресторанами, куда взрослые отправлялись обедать и нередко брали с собой и детей.

Из ресторанный окна Роня с опаской глядел на знакомый состав с родным домом-вагоном темно-синего цвета, впереди которого шел желтый, а позади — еще один синий, только без угловых позолоченных решеток над тамбурами. Роня страшно волновался — как бы поезд не ушел без обедающих пассажиров, жадных до борщей и котлет. Любой звонок, свисток или гудок во время обеда вызывал судорожную спазму в горле. Лучшие блюда казались несъедобными, слезы отчаяния готовы были брызнуть, а насмешки взрослых, оскорбляя, нисколько не убокаивали.

В Железноводске сперва жили в гостинице «Европейская», потом переехали в частный пансион, где было дешевле и тише.

Ронин день был и здесь строго регламентирован, но свободы давали все же побольше, чем в Иваново-Вознесенске.

Утром шли пить минеральную воду Малинового источника, затем — брать ванны. Роню сажали сперва на три, потом, в следующую неделю — на пять минут в теплую, пахнущую серой, железисто-щелочную воду, от которой на стенках ванн со временем оставался желтый осадок, уже ничем не смываемый. Самым интересным в скучной процедуре купания были песочные часы, по которым отмеряли время сидения в ванне.

После купания ехали на фэзтоне с двумя лошадьми мимо горы Змейки в сторону горы Верблюд. У ее каменных подножий жили колонией итальянцы. Иногда тут навещали знакомых колонистов, но чаще останавливались на окраине Железноводска, у небольшой молочной фермы, где на глазах у посетителей работали сепараторы и маслобойки. Мама вспоминала далекое прошлое, молочные фермы поместья «Лорка» и становилась грустной. На открытой террасе, под полотняным тентом, пили кумыс, кефир или парное козье молоко — его считали самым целебным напитком для детей. Роня и Вика его не особенно жаловали, но вслух этого не выражали: невежливо по отношению к хозяевам!

Потом возвращались в парк, где Роню оставляли играть с Викой и бонной на детской площадке. Вместо игр Роня с мамой иногда катались верхом вокруг горы Железной по красивой дороге, почему-то называвшейся «горизонтальной», в обществе знакомых офицеров. Смирных верховых лошадей брали с почасовой оплатой у нагловаго-

ласковых коноводов, говоривших между собою по-татарски. Ездили и к подножию Бештау, видели гору Машук, были в немецкой колонии «Каррас», возвращались домой затемно, к неудовольствию владельцев лошадей.

Для верховой езды Ольга Юльевна меняла курортный наряд на черную амазонку, сшитую еще до войны ради веселых пикников и эскапад в загородном имении того иваново-вознесенского фабриканта, что впоследствии погиб в армии от руки злоумышленника. Супруги Вальдек бывали частыми гостями в этом имении. Ронины воспоминания о тех пикниках стали уже смутными, и яснее всего сохранился в памяти именно образ матери, скачущей в черной амазонке на белой лошади вдоль лесных опушек, часто далеко впереди всей кавалькады. Помнил Роня и веселую предотъездную суету, укладывание провизии в большую коляску, нетерпение оседланных лошадей. В коляску садились пожилые дамы, а часто с ними и папа вместе с Роней. Видеть в верховой езде просто удовольствие папа решительно не умел, хотя лучше других участников пикника владел конем, как оно и приличествовало офицеру-артиллеристу.

Сшитая для Ольги Юльевны еще в предвоенный год амазонка теперь оказалась тесновата, да и задор был уже не прежний. . . С помощью сестры и горничной Ольга Юльевна кое-как амазонку свою переделала, но прежнего удовольствия от верховой езды уже не получала и скоро, к огорчению знакомых офицеров, от дальнейших поездок в горы отказалась. Роню стали было отпускать вместе с другой семьей, где тоже учили сына сидеть на лошади, и оба мальчика старались перещеголять друг друга в лихости. Роня жарко мечтал достичь папиного искусства, но до этого было далековато. Стремена для него укорачивали, и в седле он держался уверенно, а вот при посадке всегда испытывал затруднения. Ему хотелось садиться по-кавалерийски красиво, но стремя было так высоко, что попасть в него носком сапожка можно было только «с подсадки», то есть попросту с чьей-нибудь услужливо подставленной ладони, и это портило Роне удовольствие.

Вечерами детей облачали в новые костюмы и вели в Пушкинскую галерею Железноводского парка. Хороший симфонический оркестр играл с открытой эстрады легкую классику, иногда исполнял пожелания публики, всегда одной и той же, до самого конца сезона.

Однажды в июле месяце, после наступательного успеха брусилловских войск против австрийцев, оркестр начал вечерний концерт исполнением гимна. Роня сидел почти у самой рампы и с первых же тактов вдруг ощутил, что какая-то внутренняя пружина буквально подбросила его с места. Раньше он и не слышал, что во время гимна надо стоять — сама музыка заставила его вскочить. За спиной он услышал шорохи и легкий шум, а оглянувшись, удивился, как лениво, неохотно поднимается со своих мест курортная публика. Многие стали садиться раньше, чем гимн отзвучал.

Слов гимна Роня не знал, Ольга Юльевна и сама помнила их твердо. Но он понимал, что гимн — это как бы торжественная молитва Богу за царскую семью и членов царствующего дома. Роня обожал всю царскую семью и особенно, конечно, цесаревича. Он знал лица всех великих княжон по фотографиям в «Ниве». В мамином зеленом кабинете тоже висела небольшая фотография царской семьи, Роня ее часто рассматривал и находил, что высокая прическа императрицы Александры Федоровны похожа на мамину. На этой фотографии царь и царица сняты были сидя, и Роня сперва удивлялся, что восседают они не на золотых тронах, а на простых стульях. Царь Николай Второй полуобнимал цесаревича, стоявшего рядом, а великие княжны в белых платьях группировались около императрицы. Позади царского семейства стояли три

гвардейских офицера в парадных мундирах, и Роня знал, что в профиль снят Михаил Николаевич Чечет, адъютант императрицы, а средний из трех офицеров — мамин знакомый, полковник Стрелецкий, приславший этот снимок в подарок маме.

Ольга Юльевна никогда больше не встречала своего дорожного спутника, но довольно живо переписывалась с ним. Письма его были кратки, сдержанны и почтительны, но попадали в ту же, перехваченную лентой пачку, что лежала в тайном ящике ее секретера.

Впрочем, у самого Рони тоже имелась некая реликвия, прямо связанная с царским домом, — серебряный образок Богоматери на тонкой цепочке. В самом начале войны великая княжна Ольга собственноручно повесила этот образок на шею одному раненому папиному артиллеристу-солдату. Было это в прифронтовом лазарете. Через год, уже под Варшавой, солдат этот погиб, и вместе с его документами, крестами и медалями папе принесли образок.

Однажды, как раз в дни Рониной жизни в Варшаве, за столом зашла речь об этом образке. Среди папиных собеседников был священник одного из артиллерийских полков. Этот отец благочинный давно знал Алексея Вальдека, относился к нему с уважением.

— Отошлите семье солдата, — посоветовал он папе, рассматривая образок.

— Нет у него близких, — ответил папа. — Награды сданы в казну. А что же делать с образком этим?

— Вот что надо сделать, — сказал отец благочинный, подзывая Роню. Он перекрестил его, надел на шею образок и велел хранить как реликвию.

— Это — царский дар, мальчик. Для русского — святыня! Вот и береги, коли ты любишь православного нашего государя.

Цепочка скоро оборвалась, и, чтобы Роня не потерял образок, мама сочла за благо спрятать его в шкатулку. Тем не менее Роня твердо считал его своим и гордился царским даром так, словно великая княжна наградила за ратные подвиги не чужого солдата, а самого Роню.

* * *

В конце августа, уже незадолго до прощания с югом, семья Вальдек прогуливалась недалеко от вокзала. Было слышно, как пришел поезд со станции Бештау. С ним приезжали пассажиры из Минеральных Вод. Приезжих было мало — сезон кончался. Роня издали заметил, как усаживается в фазтон среднего роста военный. Фазтон покатил навстречу. Сидевший офицер в полевой форме держал шашку между колен, положив руки на эфес, и вдруг Роня понял, что офицер этот — папа...

Приехал он в двухнедельный отпуск, совсем неожиданно, ему до последнего часа не верилось, что Брусилев разрешит отъезд, телеграмма с дороги лежала у портье гостиницы «Европейской» — папа даже не знал, что семья оттуда переехала.

Был он в новых штаб-офицерских погонах, носил два новых ордена и «клюкву» — аннинский темляк на шашке, — старался бодриться и быть веселым, но как только задумывался — отвердевала в лице преждевременная усталость. Резче обозначились морщины, загар казался каким-то сероватым, и даже прижатые фуражкой волосы будто тоже посерели, не то от забот, не то от походной пыли. Он рассказал, что Саша Стольников получил легкое ранение осколком снаряда и отпущен в Москву к родителям на те же две недели.

Тетя Эмма Моргенту собралась уезжать с Кавказа раньше сестры. Накануне ее отъезда папа и мама долго сидели с ней после ужина,

под звездами, и Роня улавливал их голоса с террасы. Тетка спорила с папой о брусиловском наступлении.

— Кому оно было нужно? — негодовала тетка Эмма. — Во имя чего эти новые жертвы, сотни тысяч убитых в наступлении и еще десятки тысяч вдов и калек? Что завоевали? Позор и ненависть людскую, больше ничего! Как вы, интеллигентные армейские офицеры из запаса, можете без осуждения и отвращения рассуждать об этой бессмысленной кровавой бойне? Вся думающая Россия проклинает, презирает вашего Брусилова, эту игру в живых солдатиков. Вы доиграетесь, когда солдатики выйдут из вашего повиновения... Отвечай мне, пожалуйста, чего вы добились для России ценою этой новой крови?

— А чего, по-твоему, Эмма, должна добиться Россия всей этой войной? Что же ей нужнее всего?

— И ты серьезным тоном можешь об этом спрашивать? Можешь сомневаться в ответе? Просто не узнаю тебя, нашего чистого, милого Лелика, ученика Зелинского, естественника, интеллигентного человека! И Ольгу, родную сестричку, не узнаю, мы с нею то и дело спорим, потому что и она как-то сжилась с твоей офицерской судьбой, хоть и дрожит за тебя день и ночь.

Голос тетки стал тише и печальнее. Папа и мама молчали, как показалось Роне, несколько подавленные ее натиском.

— Дрожать-то она дрожит за тебя, Лелик, — продолжала тетка, — а ведь смирилась! Со всем этим военным безумием она уж почти согласна!... Что нужно России? Да разумеется — прекратить кровопролитие! Нужен прежде всего мир — а уже потом и еще кое-что другое, долгожданное...

— Дамская логика, Эммочка! Не так это все просто. Войну не мы начинали, не нам с нее и дезертировать. Как раз «думающая Россия», как ты изволила выразиться, должна это ясно понимать. Только вот кого ты этими словами обозначила, я что-то в толк не возьму. Во время нашего прорыва и наступления мы, в действующей армии, отнюдь не ощущали общественного осуждения. Наоборот, и газеты, и думские партии, уж не говоря о военном ведомстве, министерствах и всевозможных там комитетах, нас и поддерживали, и ободряли, и благословляли, а вовсе не проклинали. Против военных действий только крайние: эсеры, эсдеки, большевики, меньшевики, — уж как там они себя именуют... Но ведь это — горсточка, кучка... Не к ним ли пристал и твой Густав?

— Ну, уж ты тоже скажешь: большевики, эсдеки... Я о них и знать ничего не знаю, а Густав тем более никакого отношения к ним не имеет, как всякий благонамеренный, порядочный человек. Я говорю о настроениях в обществе, среди интеллигенции, я о всем народе говорю, о матерях российских, о крестьянах, о людях фабричных. Ты же сам, Лелик, был к ним по должности своей гораздо ближе, чем Густав, но война эта и тебя как-то переменяла. Ты-то чего ждешь от нее для России, кроме все новых и новых бедствий? Неужели ты в самом деле против прекращения бойни, выхода России из войны?

— Эх, как просто: взяли и вышли! Обессмыслить все наши жертвы, всю кровь пролитуую? Да это было бы настоящей катастрофой, притом на пороге нашей победы!

Тетя Эмма тихонько ахнула от неожиданности.

— Лелик! Я не ослышалась? ТЫ... веришь в какую-то ПОБЕДУ? Тебе нужно видеть врага на коленях? А если немцы побьют наших лапотников и вместо твоей победы получится страшное поражение, — не думаешь ли ты, что это обойдется нам подороже, чем немедленный честный выход из такой бессмысленной войны? Как и всякий разумно мыслящий человек, я ни в какую нашу победу верить не могу и не отдала бы за нее ни одной человеческой жизни.

— Ты, Эммочка, упрямо закрываешь глаза на действительность. Судишь предвзято, неверно. Кто же спорит, что мир — штука желанная, но ведь ради того и воюем. Исход войны не так уже далек и не столь мрачен, как ты рисуешь. Ошибок, глупостей, даже преступлений у нас — тьма, начало кампании пошло вкривь и вкось, с Мазурских болот начиная, но теперь картина улучшилась. Ведь военная инициатива перешла к нам и союзникам нашим. Французы, которых мы спасли самсоновским наступлением на Восточную Пруссию, давно оправились и стоят против немцев упорно. Австро-Венгрия, считай, разбита вдрызг, Германия — на краю истощения, а в войну вот-вот вступят на нашей стороне новые силы. Румыния хотя бы, мы ждем, когда ее войска начнут действовать вместе с нами. Турки отступают. На юге войска наши продвигаются хорошо, берут турецкие крепости. Болгары по горло сыты войной против нас, устали и разочарованы. А там, глядишь, и американцам надоест их нейтралитет — они страшно злы на Вильгельма за бессовестную морскую войну... У нас оружия прибавилось, боеприпасов теперь не в пример больше, чем в начале войны. Подвозят, хоть и со скрипом! А не выстоим до конца — победа наша уплывет в чужие руки.

— Тебе, Лелик, позарез нужны проливы и крепость Эрзерум? Ты станешь от этого счастливее, да? И к нашей Соне вернется ее Санечка? Ты же знаешь, что Санечка Тростников пропал без вести?

— Слышал, что он в плен немецкий угодил. Очень жаль и его, и Сою. Окончим войну — может, выручим и его из плена.

2.

Через несколько дней срочной телеграммой за подписью командующего фронтом Рониного папу отозвали из отпуска. В Иваново семья возвратилась с Кавказа опять без отца.

Перед самым Рождеством во всех знакомых Рональду домах Иваново-Вознесенска вдруг стали повторять даже при детях странную фамилию — Распутин.

В самом ее звучании Рональду почудилось что-то нечистое. А главное, первый раз жуткое слово «убили» взрослые произносили с оттенком злорадства, хотя подробности могли устроить хоть кого: Распутин травили цианистым калием, в него всадили несколько револьверных пуль, а под конец оглушенного, но все еще недобитого, спустили в прорубь под невский лед («страшным мужиком» назвал его потом поэт Гумилев).

Вскоре после убийства этого «страшного мужика» Роня нечаянно слышал мамин разговор с соседкой, женой артиллериста Мигунова. Мама вполголоса прочла госпоже Мигуновой новое письмо полковника Стрелецкого и показала приложенный к письму снимок заплаканной императрицы с цесаревичем и великими княжнами у свежей могилы. Позже мама объяснила Роне, что убитый был обманщиком и колдуном, сумевшим втереться во дворец и очаровать не только царицу, но и самого монарха. Распутин, мол, бесстыдно пользовался доверием царя, своекорыстно вмешивался в дела государственные и церковные, и вот за все это он наконец умерщвлен верными государю царедворцами. Но почему же тогда императрица так плакала над его могилой?

Тем временем в богатых иваново-вознесенских домах весело встретили наступление нового, 1917 года.

Любомирские устроили детский бал-маскарад. Роня танцевал в костюме принца сперва с Ясенькой и Адочкой Донатович, а потом изменил им обеим с рослой и живой дочкой адвоката Коральджи. Звали эту девочку Раиса, она была постарше остальных участниц бала

и очень храбро изображала в живых картинах царицу Клеопатру со змеей.

В феврале Ронина мама отвезла в стольниковский банк очередной денежный взнос. Как потом оказалось, взнос этот стал последним. За несколько лет госпожа Вальдек смогла накопить в родственном банке более десяти тысяч рублей, в сущности, за счет хозяйственной экономии и отказа от многих доступных ей удовольствий, таких, как хороший собственный выезд, заграничные турне, парижские туалеты или дорогие безделушки. Впрочем, по настойчивому совету дальновидной Евгении Никифоровны Благовой, жены томненского директора и доброй приятельницы семьи Вальдек, Ольга Юльевна все же вложила часть сбережений в ценности «движимые», не обещающие, правда, процентов, зато гарантированные от полного обесценивания. Мужу она купила золотые часы «Лонжин» на дорогой цепочке с брелоком-компасом, а себе — несколько браслетов, брошей, колец и красивый кулон, шедший к любому платью.

Драгоценности эти Ольга Юльевна присоединила к родительским свадебным подаркам, сложила в инкрустированную шкатулку и вечерами изредка принималась перебирать эти сокровища, не столько ради любования их красотой, сколько ради укрепления иллюзии стабильности, обеспеченности. Увы, она достаточно трезво понимала, как зыбки эти иллюзии, как недолго смогли бы продержаться ее и детей эти жалкие поделки... Иное дело — пани Любомирская или сама госпожа Благова, происходящая из московского купечества. Этим дамам достанет запасов до конца дней!

С последних чисел февраля московская и петроградская почта стала так запаздывать, что жители Иваново-Вознесенска судили о событиях в стране и на фронтах больше по слухам, чем по газетам. На всех фабриках и даже на ивановских улицах появились кумачовые полотнища с белыми буквами. Чуть не ежечасно возникали митинги и собрания. Перед толпами ивановцев выступали неведомые прежде ораторы из пришлых солдат и местных «заводил». Куда-то пропали со своих постов полицейские. Ускакали казацы разъезды. Исчез даже стационарный жандарм, некогда столь же привычный публике, как железнодорожный колокол. Стали появляться среди бела дня безо всякого конвоя пленные австрийцы и немцы в жеваных иностранных шинелях и чужих солдатских шапках, какие Роня до тех пор видел только в «Ниве».

Эти пленные заговаривали с Роней, просили вынести попить или покурить, шутили с фрейлейн Бертой и задавали ей вопросы, от которых фрейлейн густо краснела, а Роня деланно хохотал, хотя не очень-то понимал их суть.

Слова «ди руссие революцион» Роня впервые услышал именно от одного из этих военнопленных. Это был молодой, унылый и болезненный человек в очках. Он долго стоял на улице перед группой играющих детей и, увидев у Рони игрушечное духовое ружье немецкой выделки — один из недавних папиных подарков «с войны», — подошел к детям, робко попросил ружьецо, осмотрел пристально и сказал:

— Хаб'с глайх гедахт! Зи мал хер — с'ист Нюрнберг, майне фатерштадт! — При этом он тыкал пальцем в клеймо, оттиснутое на металле. — Ду канст эс ецт вегшмайссен. Дер криг ист балд цу энде. Ди руссие революцион наат. Дер царисмус ист капут!

Ронина бонна, фрейлейн Берта, молча отобрала ружьецо у пленного, взяла Роню за руку и, уже уводя мальчика от опасного собеседника, бросила через плечо:

— Абер шватцен зи дох дем кинде кайнен унфуг!

Было это днем, третьего или четвертого марта 1917 года, и именно в тот вечер, когда семейство Вальдек после ужина и чая сидело под

большой люстрой с хрустальными подвесками, Ольге Юльевне подали телеграмму. Была она от некоего московского семейства, отличавшегося радикализмом взглядов и полной осведомленностью о политических новостях. Станным образом буквы этой телеграммы отпечатались наоборот и прочесть удивительную телеграмму можно было только в зеркале.

На всю жизнь запомнил Роня это чтение: мама вышла в прихожую, горничная Зина наклонила свечу и, всматриваясь в зеркало, Ольга Юльевна прочла вслух жутковатые слова манифеста об отречении государя-императора в пользу брата и об отказе великого князя Михаила вступить на оставленный Николаем Вторым престол...

«Ди руссише революцион» вторглась в жизнь Рониной семьи...

* * *

Мальчика Рональда роковая телеграмма потрясла больше всех.

Одна из его любимых книг называлась: «Откуда пошла и как стала быть Русская Земля». Теперь ему представилось, что Русская Земля перестает быть...

В тот вечер детей поздно отослали спать, но и в постели он не мог сомкнуть глаз от тревоги и отчаяния. Какая же империя без императора? Какое царство без царя? По книге выходило, что не было такого в России за всю ее тысячелетнюю историю, отлитую в бронзе новгородского памятника. А если когда и наступала пора междуцарствия, то наполнялась она смутами и скорбью.

Что же теперь станет с Царским Селом? А гимн? Как его отныне понимать? Или российский гимн сменят, как скатерть либо простыню?

Кто же теперь поедет в царском поезде, кто будет жить в Зимнем дворце, а главное — что же будет с царской семьей? Может, им все-таки оставят какой-нибудь дворец — вроде гатчинского или останкинского? Если так, то Роня непременно к ним придет утешать цесаревича и царевен, поиграть с ними в саду. Но мама убеждена, что ничего плохого с ними не случится. В народе их любили. Просто они уедут в другую страну, где нет революции и где какой-нибудь тамошний добрый король, сочувствуя низложенному собрату, подарит ему тихий замок над морем.

Но кто же будет властвовать над Россией, держать в повиновении чернь, чтобы страна не погибла? Кто станет командовать русскими войсками против злого усатого кайзера в остроконечном шлеме? Кто станет казнить и миловать?

Мама говорит, будто случилось все оттого, что весь народ устал от войны и больше не хочет сражаться за победу нашего царя над германским. Если давешний военнопленный немец правильно предсказывал близкое окончание войны, то папа должен скоро вернуться домой. Но, с другой стороны, все-таки очень уж хочется, чтобы Россия победила...

Пошли какие-то странные дни ожидания и тревоги, мартовские дни 1917 года.

В один из этих тусклых дней в квартиру Вальдеков тихо прошел домохозяин, старик Ознобин. Мама, будто заранее зная, в чем дело, провела его в папин кабинет и открыла ему здесь некую тайну, о которой сам Роня до той поры молчал даже перед мальчишками: так велел папа.

Дело в том, что в позапрошлый приезд папа, кроме подарков, привез с войны и оставил в кабинете еще одну интересную и жутковатую вещь — пятизарядный кавалерийский короткоствольный карабин и целую коробку патронов к нему. Тяжелая коробка, сделанная из оцинкованной жести, содержала, верно, не меньше полусотни обойм с винто-

вочными патронами и стояла на шкафу, между пачками старых газет. А в узком простенке за шкафом, слегка прикрытый от пыли каким-то чехлом, прятался карабин. Никита-денщик перед отъездом хорошенько протер, смазал его, и папа сказал Ронику шутливо:

— Пока о нем забудь, а может, когда-нибудь он нам с тобой пригодится.

Роня изредка приходил в кабинет убедиться, что ружье и патроны на месте. Он к тому времени прочитал толстую книгу о приключениях молодого бура Питера Марица из Трансвааля, смелого охотника, великолепного наездника и хладнокровного стрелка. Лучшими друзьями Питера Марица были ружье и конь. Арабский конь по кличке Скакун был неутомим, благороден и предан хозяину, а английская винтовка системы Мартини-Генри в руках молодого бура не знала промаха. Роня мечтал завести себе такого же Скакуна, а вместо Мартини-Генри обойтись папиным карабином...

И вот эту-то тайну мама открыла домохозяйину!

Она пошептала со стариком и... разрешила ему взять карабин в руки, приоткрыть затвор, достать со шкафа патроны. Домохозяин повозился с тяжелой коробкой, что-то отогнул, вытащил две снаряженные обоймы, сунул их в карман и удалился, повесив карабин на плечо. Видимо, в оружии он кое-что смыслил.

А вечером в парадном позвонили, и в прихожей появился не кто иной, как прежний Ронин репетитор Коля. На рукаве — красная повязка с черными буквами К. О. Б. Надпись была непонятна и таинственна. На плече у Коли — все тот же знакомый папин карабин.

Студент мимоходом поздоровался с Роней, слегка кивнул фрейлейн, отчего та мгновенно зарделась, и в ту же минуту появился домохозяин Ознобин. Он долго объяснял студенту расположение комнат в доме и построек во дворе, немного погулял на улице вместе с Колей, пожал ему руку и отправился к себе. Коля же не вернулся в комнаты, а принялся ходить взад и вперед под окнами дома, то в саду, то во дворе, то по улице. Роня сперва порывался присоединиться к Коле, но его скоро уложили спать. Поутру Роня узнал, что Коля дежурил почти до рассвета, потом его сменил дворник. Коля же, как выяснилось, провел остаток ночи в хозяйском флигельке, после чего отправился на лекции в свое училище.

Так вот и пошло с тех пор, вечер за вечером. Коля приходил, ужинал вместе с семейством Бальдек, немножко занимался с Роней, потом допоздна ходил под окнами с карабином, а спать удалялся к Ознобиным, лишь только на сторожевой домашний пост заступал дворник.

Оказалось, такие же дежурства установлены во многих знакомых домах.

В городе было довольно тихо, однако на некоторых улицах, близ фабричных ворот, особенно же около дома фабриканта Полушина, все чаще стали вспыхивать митинги. Какой-нибудь никому не ведомый солдат-фронтвик в шинели и папахе взбирался на бочку или ящик, мигом сбегался всяческий люд — фабричный, мужицкий, бабий — и звучали не очень грамотные, но сильные и за душу берущие слова о свободе, революции, хлебе, войне, работе. Роня с мамой не раз слушали таких митинговых ораторов у Торговых рядов или прямо на базаре. Казалось, будто где-то прорвало вековую плотину народного молчания и людям не терпится вдосталь наговориться, наораться, сполна использовать вдруг обретенный громкий голос и невесть откуда взявшееся умение говорить красно и резко.

Покамест не слышно было в Иваново-Вознесенске о поджогах, грабежах и смертоубийствах, но среди людей состоятельных тревога росла.

Ведь на митингах чаще и громче звучали злые голоса: долой! отобрать! поделить!

Ораторов противоположного, примиренческого направления слушали хмуро. Жандармов и полицейских чинов, замешанных в прежних усмирениях и губернаторских карательных акциях, давно разоружили и заперли в той самой тюрьме, где совсем недавно они держали рабочих бунтарей. Для поддержания же порядка Городская управа еще только создавала милицию. Брала туда не скомпрометированных рядовых полицейских, а со стороны — бывших солдат и крестьян из окрестных селений, кого почему-либо не призвали в армию.

Кроме прежней городской управы, состоящей из людей почтенных и имущих, появился в городе еще один орган власти — Совет рабочих и крестьянских депутатов. Заняли под этот Совет каменный дом фабриканта Полушина. Сперва о нем слышно было мало, хотя говорили, будто еще с пятого года собирался в Иваново-Вознесенске такой же рабочий совет. Депутаты его занимались поначалу все больше делами фабричными, но потом стали вмешиваться и в дела городские — по части торговой, насчет жилья, хлеба и света.

Это вмешательство сулило мало хорошего хозяевам города, и они поспешили принять собственные меры предосторожности. Деятели Городской управы создали этот самый К. О. Б. — Комитет общественной безопасности. Вошли в Комитет некоторые гласные Городской думы, кое-кто из фабричных служащих, отставных офицеров, домовладельцев, торговцев. Комитет привлек к участию многих студентов училища, старших гимназистов, фабричных мастеров и очень старался заручиться поддержкой воинских частей, размещенных под городом. Стоял в Иваново-Вознесенске 199-й запасный полк, были еще конвойные части, охранявшие лагерь военнопленных, и мелкие учебные команды.

Внушительную силу городского порядка представляла собою пожарная команда. Город-то был весь деревянный, переполненный фабриками и складами хлопка, красителей, масел, а иные улочки на окраинах представляли собою бесформенные кучки слипшихся лагуч, Бог весть из чего сколоченных. Огненная угроза в таком городе была чрезвычайной, совсем как в Древней Руси. Поэтому ивановские пожарные дело знали крепко и требовать свое от горожан любого звания умели, однако, по слухам, и они сочувствовали «максималистам» — то есть революционерам-большевикам.

Что ж, как говорится, береженого и Бог бережет! Посему владельцы хороших домов и иного недвижимого имущества решили без шума подготовиться к любым неожиданностям «снизу». Они прислушались ко всем начинаниям Комитета общественной безопасности, поддерживали его, вооружили исподволь доброхотных ночных дежурных и подалше прятали на черный, видать, уж недалекий, денек укладистые шкатулочки с ценностями движимыми. Власти-то прежней нет! Народу вышла «слабода». А как ее понимать, эту «слабоду», что дозволено, а что нет — еще никому не было ясно в начале тревожного лета 1917 года!

Кажется, именно в этот год Роня стал получать новый журнал. Носил он, как запомнилось Роне, бесхитростное название «Для детей», печатался на плоховатой бумаге, без цветных картинок, но был страшно интересный, куда лучше пресного «Светлячка»! С первого номера нового журнала Роня увлекся очень интересной зоологической сказкой про нехорошего и злого — сперва! — зато потом вполне благонамеренного и подобрешего Крокодила и доблестного Ваню Васильчикова. Сочинил сказку господин К. И. Чуковский — мама сказала, что знала его раньше — как переводчика и критика . . .

Сама же Ольга Юльевна (по совету подруги-одноклассницы из сто-

личной дворянской семьи, весьма радикальной, где чиновный боярин-папа сочувствовал эсерам, боярыня-мама — меньшевикам, а боярышня-дочь — анархистам) выписала в тот год, кроме «Московских Ведомостей», «Русского Слова», петербургской «Речи», еще и вольнодумную петроградскую газету «Новая Жизнь» вкупе с журналом «Летопись».

В этих изданиях Ольгу Юльевну привлекли (помимо авторитетной рекомендации гимназической подруги) весьма звучные имена авторов-сотрудников и редакторов, прежде всего имя Максима Горького, чьи ранние рассказы любил Ольгин Лелик. Именно мужу она и хотела доставить удовольствие этой подпиской.

Однако, когда журнал и газета стали приходить, Ольга Юльевна всегда раскрывала их с чувством тоскливого беспокойства. Не то чтобы суждения авторов казались уж вовсе крайними. Нет, они даже нередко совпадали с мнением Ольги Юльевны. Но пугали предчувствия новых, еще более стихийных и жестоких революционных потрясений, угрожающих самым основам цивилизации.

«Я не впервые видел панику толпы, — читала Ольга Юльевна горьковскую статью о петроградских расстрелах 3 июля, — ... но — никогда не испытывал я такого удручающего, убийственного впечатления.

Вот это и есть тот самый «свободный» русский народ, который за час перед тем, как испугаться самого себя, «отрекался от старого мира» и «отрясал его прах с ног своих». Эти солдаты революционной армии разбежались от своих же пуль, побросав винтовки и прижимаясь к тротуару.

Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства...

... Я уверен, что, если бы та часть интеллигенции, которая, боясь ответственности, избегая опасностей, попряталась где-то и бездельничает, услаждаясь критикой происходящего, если б эта интеллигенция с первых же дней свободы попыталась ввести в хаос возбужденных инстинктов иные начала, попробовала возбудить чувства иного порядка, мы все не пережили бы множества тех гадостей, которые переживаем. Если революция не способна тотчас же развить в стране напряженное культурное строительство, — тогда, с моей точки зрения, революция бесплодна...»

Начитавшись до головных болей, Ольга Юльевна терялась в хаосе этих пророчеств, упреков, требований и критических оценок близкого будущего. Иногда она делилась прочитанным с госпожой Мигуновой. Этой соседке, матери Рониного друга Глеба, Ольга Юльевна иногда читала вслух статьи из «Летописи» и «Новой Жизни». И вот, летом 1917 года, при маминном чтении горьковского очерка об июльских событиях, Роня уловил приятно звучащую фамилию ЛЕНИН рядом с уродливым словом БОЛЬШЕВИКИ. Писатель Горький отзывался о Ленине и большевиках далеко не одобрительно.

— Кто такие большевики? — спросил Роня у матери. Слово-то казалось не совсем незнакомым. Ивановские мальчишки употребляли его в своих разговорах. — Чего хотят они, эти самые большевики?

— Это сложно объяснить тебе, — сказала мама. — Есть несколько революционных партий. Например, социал-демократы. Они разделились на фракции большевиков и меньшевиков. А хотят они все только одного: прийти к власти.

— Значит, большевики хотят больше, а меньшевики — меньше? — допытывался Роня.

— Ну, приблизительно так, — соглашалась мама. — Однако меньшевики уже участвуют в нынешнем правительстве, а большевики — против. Они хотят, чтобы был еще один переворот. Тогда они тоже пришли бы к власти, но едва ли это когда-нибудь случится, а тем более что-либо поправит...

Из других газет мама узнала о большевиках и Ленине совсем загадочные вещи. После начала Колиных дежурств по ночам у квартиры Вальдеков интерес к политике появился и у скромной фрейлейн Берты. Поэтому мама теперь читала и ей вслух многие газетные сообщения. Роня иногда помогал маме переводить их на немецкий, практики ради. Да и вести были волнующе-интересны, прямо как приключенческий роман...

Оказывается, большевик Ленин до весны 1917 года жил далеко за линией фронта, в Швейцарии. Попал он туда из Австро-Венгрии, где был врасплох захвачен началом войны. Австрийская полиция в августе 1914 года интернировала Ленина как представителя враждебной державы, однако австрийские социал-демократы заверили императора Франца-Иосифа, что один Ленин обладает большей разрушительной силой, направленной против России, чем сто германских армий. Поэтому император согласился не лишать Ленина свободы действий и велел выслать его в нейтральную Швейцарию.

После же революции в России Ленин весьма странным образом приехал в Питер.

Оказывается, помогли ему наши злейшие враги — германцы. Сначала они нащупывали почву, подсылая к Ленину доверенных лиц. Потом один из приближенных к Ленину людей, швейцарский социал-демократ тайно ездил в Германию и вел переговоры с генералом Людендорфом и офицерами германского Генерального штаба. Была достигнута договоренность, как провезти Ленина и его спутников-большевиков через всю Европу в Петроград. Ленина и других большевиков спрятали в запечатанном и опломбированном вагоне и в таком виде провезли по германским землям, наподобие опасного, заразного груза. Минувя рубежи фронта, запломбированный вагон с Лениным прибыл в нейтральную Швецию, где и был распечатан. Далее Ленин со спутниками, не задерживаясь в Стокгольме, уже в обыкновенных поездах проехали по Финляндии прямо в Петроград.

— А затем же немцы помогли им приехать в Россию? — спрашивал Роня.

— Чтобы уговорить русских солдат прекратить войну с Германией и повернуть винтовки против собственного командования, — объяснила мама.

Немного позднее в газете «Русское Слово» было написано, что Ленин — опаснейший германский шпион, а большевики — просто-напросто агенты, желающие поражения России. Роня уже было проникся к ним полным презрением, однако уличные ребята толковали насчет большевиков совсем по-другому.

Ни про Ленина, ни про запломбированный вагон они вообще ничего не знали, отнеслись к этим вестям недоверчиво, о большевиках же заявили, что это — рядовые рабочие, ни в каких Швейцариях отроду не бывавшие, что они умеют крепко стоять за свое кровное рабочее дело, а очень многие были на фронтах и даже получили кресты и медали. Вот тут и разберись в политике!

...Домовладелец Ознобин не стал возлагать неоправданных надежд на Думский комитет и его актив, а решил, пока не поздно, поскорее избавиться от обременительной собственности. Смелчак-покупатель нашелся довольно быстро, прельщенный садом и добротностью всего строения. Ольге Юльевне пришлось подыскивать новую квартиру. Затевав судебное дело ей не хотелось, и она выбрала второй этаж, комнат в двенадцать, углового каменного дома Головиных близ храма Ильи Пророка. Образованный новый владелец ознобинского особняка, не ожидавший такой покладистости от офицерской семьи, обязался за свой счет и весьма бережно перевезти всю обстановку семьи Вальдек.

Вечером дети укладывались спать уже в новом жилище. Оно

понравилось всем домочадцам. Внизу находилась чистенькая булочная, а со двора, из пекарни, вкусно пахло свежим хлебом. Окна жилых комнат во двор не выходили — глухой брандмауэр отделял квартиру от дворовых сцен, звуков и запахов. Глаз отдыхал на свежей зелени чужих садов, а в отдалении возносилась к небу колокольня Ильинского храма. Госпожа Вальдек уже успела заручиться согласием соседних домовладельцев Прокофьевых, чтобы дети могли играть в их чистеньком, хорошо прибранном и ухоженном саду со многими клумбами, гигантскими шагами, качелями и гамаком.

Когда в новом доме все было налажено, перевезены запасы из погреба в погреб и опробованы все квартирные службы — кухня, водопровод, сарай и баня — она была в хозяйском дворе через улицу и топилась по-деревенски, — Ольга Юльевна оставила в новом жилье Марью и Зину, а сама отправилась с детьми отдыхать на Волгу, в монастырскую слободу Решму, что в 23 верстах ниже Кинешмы. Помощницу для нехитрого дачного хозяйства сыскать на месте было в те годы нетрудно.

3.

Плес и Решма с некоторых пор стали входить в моду как лучшие по красоте уголки на Верхней Волге.

Вообще-то говоря, русские люди спокон веку склонны были считать родную природу скромной и бедной. Красивой почитали Францию, Италию, Швейцарию либо, уж куда ни шло, хвалили Кавказ или Крым. Только в прошлом столетии отечественные пейзажисты, особенно Левитан и Шишкин, открывали всем сокровенную красоту наших северных лесных далей, сумерек в лугах, полевых дорог, безлюдных равнин и волжских берегов с часовнями среди еловой хвои. С той поры и приохотился российский интеллигент из губернских и столичных городов увозить летом свое семейство на Волгу, куда-нибудь в Юрьевец, Пучеж, Плес или в Решму.

Из Иваново-Вознесенска ездили в Решму поездом до Кинешмы, а там — вниз по Волге пароходом. Пока от кинешемского вокзальчика тряслись на извозчике к пристани, дети в пролетке стояли и вытягивали шею — кто раньше увидит Волгу! И всегда ее ширь оказывалась еще могучей, великолепней, чем ожидалось.

Пароход прощался с Кинешмой ритуальной серией свистков. Сперва — три толстых, для пассажиров, потом — два тоненьких, для отдачи чалок. Ритуал соблюдался строжайше, и радостное ожидание этих звучных басистых раскатов над Волгой никогда не обманывало. По заключительному тоненькому свисточку падал в воду кормовой канат, и вахтенный помощник, если не сам капитан, волшебной своей властью выводил пароход на фарватер. После тихо сказанных слов в переговорную трубку: «Вперед, до полного!» — он вставлял в раструб деревянную затычку и удалялся с мостика в штурманскую рубку. После этого можно было и Роне уходить с палубы, чтобы показать Вике машину, паровую лебедку, брашпиль, якоря, кнехты, а заодно растолковать надписи «старший механик», «боцман» или «гард-манже». Роня уверенно разъяснял сестричке, что в этом заповедном «гард-манже» буфетчик должен перед каждым обедом выстроить все блюда на парад, принимать который является из рубки сам капитан. Потому-то за столиками в салоне и приходится всегда так долго ждать.

Пока дети, обегав весь пароход, добивались до кормы и оглядывались на милую Кинешму, она уже еле виднелась из-за кормовой спасательной шлюпки. Сиял только крест соборной Троицкой колокольни, смутно угадывались торговые ряды, а пароход отвечал свистками встречным буксирам, на мостике полоскался белый флажок-отмашка,

и оставались справа красные корпуса томненской фабрики, будто дети проплывали на пароходе мимо привычного своего Иваново-Вознесенска. Мама напоминала, что здесь, в Томне, директор не кто иной, как Александр Матвеевич Благов, хороший папин знакомый, избежавший призыва в армию (в этом мамином замечании дети ощущали некий оттенок тайного упрека инженеру Благову).

За томненской фабрикой начинались перелески, деревни, старые придорожные ракиты, а с волжской воды постепенно исчезали фиолетовые нефтяные разводы. Роня встречал знакомые речные плесы будто под неслышную музыку, идущую прямо из сердечных глубин. Сизые заволжские дали никаким иным словом выразить было нельзя, кроме как русские.

Шел пароход, и плыли назад облака, белые храмы и темные ели, западал в душу каждый овражек с пересохшим ручьем, стадом на водоопе среди илистого побережья, деревенским мостиком, дорогой по косогору, ветлой у колодца. Взбивали колесные плиты два рядка убегающих волн, и ластились они за пароходом к отмытым добела песчаным отмелям. Мальчишки-купальщики покачивались на вспененных валиках-волнах. Избушки бакенщиков до того казались малыми, будто их добрый леший ставил для детских игр, только шести полосатые и сигнальная снасть выдавали, что не сказочные это избушки, а служебные, для безопасности пароходов.

Было нечто горделивое в посадке гребцов на рыбацких лодках, да и в самой форме суденышек. Гребцы часто сидели рядом и действовали каждый своим веслом без видимого усилия и почти не двигая корпусом. Нередко гребцами бывали муж и жена, весло же рулевое, кормовое, доверялось рукам мальчишеским, а то и девичьим. Волгари!

Не успеешь полюбоваться Волгой, всему всласть нарадоваться, а уж чалится самолетский «Князь Иоанн Калита» либо кавказ-меркурьевская «Императрица Мария» — впрочем, летом 17-го уже переименованная, — к своему решемскому дебаркадеру.

Береговой откос над глинистым обрывом, весь в лопухах, кипрее и мать-мачехе, тяготеющей к сырости и тени, поверху завершен выбеленной кирпичной стеною Решемского Макарьевского женского монастыря. Настоятельницей его была женщина умная и строгая. Знали обыватели, что она — старшая сестра знаменитой, уже входящей в мировую славу артистки Большого Театра в Москве, балерины Екатерины Васильевны Гельцер. Пережив глубокую сердечную драму, отклонив увещания младшей сестры-артистки, старшая затворилась в монастырской обители и сумела так образцово поставить сложное и обширное хозяйство, что слава Решемского Макарьевского монастыря вскоре пошла по всей Волге. А ее, матушку, рачительным домоводством удивить было не просто! Она-то умных хозяев знавала!

Снизу, с парохода, белые башенки-часовни резко отчеркивали монастырскую ограду от строений посадских, свободских. Хороши были шатры решемских колоколен — ярославская кладка, стремящаяся к особенной стройности, резные оконца-слухи среди свежей побелки, смелый взлет креста к облакам, реяние голубиных крыл над перекладинами крестов, крутой взлет могучих монастырских елей, иссиня-лиловых, до черноты!

Решемские стены, шатры и ели православная Русь помнит с пятнадцатого столетия, только в те времена здешний монастырь был мужским, вплоть до конца прошлого века.

На ранних зорях к осветленным покраскою соборным главам стекались прядки тумана от сохнувшей росы, и тогда монастырские купола теряли неподвижность. В мареве утренней росной дымки лукавки куполов колыхались и дрожали в небе, как пламя зажженных Богу свечей.

Десятилетний Роня обрел здесь первого друга, только не однолет-

ка, не сверстника. Мальчика сразу потянуло к соборному священнику отцу Ивану, с первой улыбки и приветливого взгляда. Был отец Иван очень красив — с тонкими, но очень сильными пальцами, шелковым отливом каштановых волос, музыкальным голосом, похожим на папин, но повыше. Происходил он из строгой дворянской семьи, окончил Духовную академию, но отказался от легкой столичной карьеры. Сам напросился ехать служить в заволжское село. О нем по соседству прослышала решемская игуменья и уговорила перейти в женский монастырь. Было это еще до войны.

Дурные вести с полей сражений доходили с опозданием до жителей Решмы. Задерживались и папины письма, поступавшие из Галиции. Писал он все короче и туманнее, понятно было лишь, что он командует теперь бригадой гренадеров-артиллеристов и находится на передовых. Отец Иван научил Роню молиться за папу и его солдат русскими молитвами. Мальчик верил в их спасительную силу, в отличие от молитв немецких, лютеранских, которые, по здравому размышлению, могли помогать только Вильгельму. Решемский священник часто брал мальчика в алтарь монастырского собора, где Роня с замиранием сердца следил за священнодействием у престола, приготовлениями к таинству причащения и сам причащался первым.

Отец Иван именовал мальчика не Рональдом, а Романом и советовал Ольге Юльевне не идти против желаний сына и торжественно свершить над ним обряд православного крещения по всем правилам. Ольга Юльевна же отнекивалась, говорила, что такой выбор требует рассуждения более зрелого, но, впрочем, добавляла, будто обряд православного крещения, только без всякой торжественности, уже был над Роней совершен в дни его младенчества, когда его, полугодовалого, впервые привезли в Решму и предшественник отца Ивана, прежний соборный батюшка-благочинный, по собственному разумению «переокрестил» лютеранского младенца. Выходило, будто именно тогда и наречен был мальчик благоносным именем Роман во славу преподобного сладкопевца, о чем даже совершена была и запись в церковных книгах. В присутствии Рони родители намекали на это странное обстоятельство, прямыми вопросами избегали, и Роня чувствовал, что неопределенность эта связана с родительскими тревогами о будущем. Мол, при надвинувшихся событиях мыслимо ли предусмотреть, куда еще занесут ветры судьбы утлую семейную ладью, и разумно ли поощрять детские Ронины склонности, если они могут пойти вразрез с вековыми традициями рода Вальдеков и семейства Лоренс?

Отцу Ивану эта неопределенность не нравилась. Склонности же Ронины едва ли можно было считать совсем уж детскими.

В Решме у него появилось смутное чувство духовного освобождения. Будто ослабевала над ним власть внутренне чужой ему традиции, унаследованной от поколений балтийских и германо-скандинавских предков. Традиции эти отзывались в Рониной душе тревожными вагнеровскими фанфарами, неясными картинами готических башен и дальним звоном норманнских мечей. И, верно, именно оттуда, из этого средневекового сумрака, переключаясь с вещим предчувствием всемирно-кровавого завтра, тянулись к мальчику по ночам пугающие призраки, страшные сплетения тьмы прошлой и будущей.

Но здесь, в волжском селе, мальчик, на свое счастье, очутился в тогда еще нетронутом деревенском царстве русского православного духа, слитого с русской природой. Волжские деревни — самые независимые на Руси, самые вольные. Волжанам как-то ничего не навязывали: ни убеждений, ни верований, ни привычек. В волжанах все было органично, от природы. Люди не притворялись добрыми — они ими были.

Вместе с чувством слияния, единения с этим народом, с духом и

верой родины мальчик ощутил и полное избавление от ночного гнета, от своих неотвязных кошмаров, снов и галлюцинаций. Помог этому, конечно, и отец Иван.

Решемский пастырь серьезно отнесся к Рониным признаниям на исповеди. Понял он главное: у мальчика нет духовной опоры, чтобы одолеть свои наследственные и провидческие мучения. И, как символ раскрепощения духа из-под власти тьмы, он подарил мальчику афонскую реликвию.

Это был восьмиконечный крестик из кипариса, окованный узкой серебряной лентой. В нижнюю перекладину у прободенных ступней Спасителя вделана была частица мощей преподобного Афанасия. С минуты, когда отец Иван благословил духовного сына этой реликвией, Роня поверил в свое раскрепощение от страхов. Он даже полюбил тишину и величие ночи.

* * *

В середине сентября 1917 года Ольга Юльевна вернулась в свою новую ивановскую квартиру. Марья и Зина не слишком потрудились к приезду хозяйки. Кресла и рояль в гостиной стояли в чехлах, даже с постелей не убрали промыленных за лето пологов, а на обеденном столе лежало непривычное покрывало с аппликациями, не парадная скатерть, а безобразная зеленая клеенка, как у иных волжских мужиков побогаче. Мама рассердилась было, потом махнула рукой. . . Жизнь семьи так и не вошла в старое русло. Не хватало в новом доме прежней безмятежности, какой-то легкости, налаженности быта, всеобщего благожелательства и само собой разумеющейся исполнительности. Не только прислуга, но даже Роня с Викой за это лето разучились жить по расписанию и приспособились хитроумно уклоняться от обязанностей. Жизнь будто скосбочилась, как повозка на плохой дороге. И не только у семейства Вальдеков!

Сошел с ума знакомый присяжный поверенный и гласный Городской думы, живший по той же Садовой улице. До болезни он занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание и не раз говорил Рониной маме, что только оно и даст наконец измученной стране желанный порядок, когда к власти придут умеренные, законно избранные правители. Однако, по слухам, ему стали грозить расправой, если он попытается мешать «списку № 5», по которому должны были баллотироваться в собрание большевики. Однажды, возвращаясь из гимназии, Роня видел, как этого человека увозили на извозчике какие-то подуштатские граждане. Длинные рукава смиренной рубахи были схвачены узлом за спину больного. Страшнее всего было бледное лицо с выражением безмерного презрения.

Со двора уже не пахло печеным хлебом — хозяин запер свою пекарню на замок. Два старика-пекаря пошли жаловаться на него в совет, но там объяснили, что открывать пекарню пока незачем — муки дают по шесть фунтов на едока, женщины варят из нее похлебку, где уж тут хлеба печь.

— Сколько крупчатки припасено у нас в погребе? — как-то осведомилась Ольга Юльевна у кухарки Марьи.

— Да мешков шесть, — хмурилась та. — За зиму вся подберется.

Новые какие-то пошли словечки о еде — крупчатка, постное масло, отруби (говорили, что их велено подмешивать к муке при выпечке хлеба), конина. Сероватым становилось домашнее бытие. . .

А в гимназии, где уроки казались Роне томительно нудными, некоторые мальчики из офицерских семей глухо шушукались о корниловском мятеже в Петрограде. Роня стыдился, что в его домашнем бабьем царстве потолковать про это было не с кем, и лишь краем уха слышал он от одноклассников, зачем генерал Корнилов вел войска с фронта.

к столице. Судя по словам этих гимназистов, в одних семьях мятежного генерала осуждали как покусителя на народную свободу, другие же считали действия Корнилова последней соломинкой для утопающей России.

Как-то во время урока русского, когда ученики писали изложение рассказа Толстого «Акула», учитель куда-то вышел из класса. Скоро двери распахнулись резко, и на пороге появились старшекласники, человек до десяти.

— Кла-а-сс! Встать! — скомандовал старший из них. — Кто за сицилистическую революцию — давай за нами! Выходи в коридор!

Из-за парт несмело поднялись и двинулись было к двери пятеро учеников. Среди них — бедный, слабый здоровьем еврейский мальчик Илюша Моисеев, Ронин приятель. Великовозрастные верзилы восторженно приветствовали этого добровольца:

— Тебя-то нам и не хватало! Давай, давай с нами, сицилист!

Один из пришельцев подошел к Рониной парте и вдруг ухватил «за грудки» Мишу Волкова, соседа Рони Вальдека.

— Чего не идешь? Ты же — за сицилизм, а?

Миша, купеческий сынок, с социализмом имевший маловато общего, слегка побледнел и начал было слабо отнекиваться от «сицилизма», ибо в поведении верзилы была явная угроза, но тут вернулся учитель, резко погнав пришельцев из класса, а ученикам велел вернуться к занятиям. Оказывается, вся эта операция придумана несколькими великовозрастными сынками ивановских мясоторговцев. Они выводили школьных «сицилистов» из классов в укромное местечко, где и выколачивали революционный дух из добровольцев, дондеже восплачут и покаются.

Вскоре Роню пригласил директор гимназии и объявил третьекласснику, что ему по желанию отца предстоит перевод в Ярославский кадетский корпус.

— Вы — сын заслуженного офицера Действующей армии Революционной России, — сказал директор. — Желая вам успешно кончить корпус!

Через день в квартире Вальдеков появился веселый поручик Чижик, брат решемского священника отца Ивана. Так было договорено в письмах между папой, мамой и начальством Ярославского корпуса, впрочем, официально уже переименованного в Военную гимназию. Называли его по-прежнему корпусом.

Все, что потом происходило в течение шести недель в стенах Ярославского корпуса, осталось в Рониной памяти как смутная полоса теней, бегущих словно в тумане, или как неотфокусированный фильм на экране. Было чувство потерянности и полного одиночества в толпе чужих, странно одинаковых мальчиков. Не удалось попытки сблизиться ни с одним соседом по спальне, классному помещению или строю. Ответы на уроках вызвали смех учителя и класса. Видимо, ответы его звучали слишком «по-штатски». Подверглась осмеянию небольшая шашка, отлично сработанная папиными солдатами в подарок командирскому сыну и не допущенная здесь даже в раздевалку. Шашку куда-то унесли, а потом просто украли. . .

Наконец, по истечении шести трудных недель в корпусе вновь появился поручик Чижик, однако уже в штатском. Мальчика повезли назад, поездом из Ярославля в Иваново-Вознесенск. В Петрограде совершилось давно ожидавшееся падение российского Временного правительства Александра Керенского. В налаженном ходу учебной жизни начались перебои. Воспитатель класса весьма холодным и недобрым взглядом смерил Роню, когда тот простодушно заявил, что ивановские уличные ребята ждали свержения нынешнего правительства и прихода к власти большевиков не позднее 20 октября.

Воспитатель переспросил, какую дату большевистского переворота предсказывали ивановцы, и Роня со всей ответственностью повторил, что событие это опоздало на пять суток, но, мол, дивиться этому обстоятельству вряд ли следует, ибо паровоз истории ходит по приблизительному расписанию. . .

Избавлению от корпусной жизни Рональд радовался. Он вернулся к ивановским пенатам в те самые дни, когда почта перестала доставлять Ольге Юльевне привычные ей московские и петроградские газеты, а из Москвы пришла телеграфная весть о победе большевиков, силой оружия захвативших власть и в древней столице. Оказалось, что в этой московской большевистской победе участвовали и ивановцы, ездившие в Москву воевать за новую власть.

Ездившие вскоре вернулись, и город Иваново-Вознесенск буквально наполнился слухами и рассказами очевидцев о свежих московских событиях. В отличие от бескровного петроградского переворота 25 октября в Москве разгорелись серьезные уличные стычки, в которых погибло более тысячи человек за неделю боев, был заметно поврежден древний Кремль и некоторые другие исторические здания. Сброшены со своих пьедесталов прежние царские памятники. Первым рухнул вместе с тронном массивный Александр Третий у Храма Христа Спасителя. . . Порядок постепенно восстанавливается, жертвы боев похоронены в нескольких братских могилах под кремлевской стеной близ Сенатской и Никольской башен на Красной площади, власть называется советской, вместо министров теперь народные комиссары, и всё станет вскорости именно так, как о том мечтали лучшие умы человечества. . .

Впрочем, на этот счет мнения довольно резко расходились и у живых очевидцев московских событий, и на газетно-журнальных страницах, доступных семьям обывателей. Так, газета «Новая Жизнь» еще сравнительно регулярно поступала из Петрограда. Вечерами Ольга Юльевна вслух читала статьи Горького под названием «Несвоевременные мысли».

Вот что он писал тогда о революционных событиях сразу после большевистского переворота:

«... Я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его Нечаевско-Бакунинский анархизм».

«Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт. . .

... Может быть, он надеется на чудо.

Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция».

«... Рабочие должны понять, — продолжал Максим Горький, — что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата.

Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на головы пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат. . .

Чем отличается отношение Ленина к свободе слова от такого же отношения Столыпиных, Плеве и прочих полулюдей?

Не так же ли Ленинская власть хватает и тащит в тюрьму всех несогласномыслящих, как это делала власть Романовых?».

«Ленин — «вождь» и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он счи-

тает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. . .

Жизнь, во всей ее сложности, неведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с нею, но он — по книжкам — узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче — разъярить ее инстинкты». . .

Так откликнулся крупнейший демократический писатель России, которого впоследствии назовут зачинателем пролетарской литературы и отцом социалистического реализма, на большевистский переворот в самые первые недели новой власти народных комиссаров. . . Все цитаты взяты здесь из тогдашних номеров горьковской «Новой Жизни». . .

В обывательских же семьях об этой большевистской революции и узнали-то не сразу. В отличие от революции Февральской, прогремевшей на всю страну как весенняя гроза, революция Октябрьская скорее вкралась, чем ворвалась в рабочее Иваново. Она поначалу даже не воспринималась как исторически значительное событие. Оно было в ряду тех сейсмических толчков, какие неизбежно ожидаются вслед первоначальному вулканическому взрыву — российскому Февралю, потрясшему планету! . .

. . . В конце года у семьи Вальдек не хватало дров, чтобы согреть все двенадцать комнат и кухню. Обе детские и два кабинета пришлось замкнуть — их перестали отапливать. Холодно стало и в гостиной, имевшей общую печь со столовой. Кухарка Марья и горничная Зина простились с хозяйками и уехали по своим деревням. Какие-то женщины из рабочих семейств приходили помогать Ольге Юльевне со стиркой и мытьем полов.

А перед Рождеством в запущенную квартиру вдруг ввалилось до взвода солдат-артиллеристов. Это Ревком расформированной Гренадерской Сибирской артиллерийской бригады выделил эскорт для сопровождения своего командира «до хаты», как выразился бывший денщик, а ныне вестовой Никита, внося в прихожую папину походную кровать в брезентовом чехле, обе папины шашки и собственную, Никитину, винтовку.

— Надолго? — только и могла выговорить Ольга Юльевна, рыдая у папы на шее.

— Мабудь, и насовсим! — поспешил утешить ее Никита, делая глазами знаки остальным солдатам, дабы те не мешали жене выплакаться и не слишком гремели отсыревшими сапожищами. . .

Глава пятая

«УЖ БОЛЬНО БАРЫНЯ ХОРОША»

*Какие прекрасные лица!
И как безнадежно бледны.
Наследник, Императрица,
Четыре великих княжны.*

Георгий Иванов

1.

Поезд-максим из десятка разномастных пассажирских вагонов и стольких же товарных теплушек, оборудованных печками-буржуйками, медленно подвигался к Москве. В апреле 1919 года железнодорожное путешествие в Москву из Иваново-Вознесенска занимало неделю.

Стороннему наблюдателю первых лет русской революции могло бы

почудиться, будто вся Россия, презрев неимоверные дорожные тяготы, снялась с насиженных мест и пустилась в кочевье на колесах, полозьях и даже пешком, совсем как в давнем столетии великого переселения народов.

От своих родителей мальчик Роня Вальдек слышал не раз, что еще с семнадцатого года начался великий прилив к Москве и губернским городам России еврейских переселенцев из бывшей черты оседлости, в особенности из Белоруссии, Польши, Литвы. Толковали родители об этом между собою скорее одобрительно, но иные взрослые, из тех, кто в дни войны ворчали насчет немецкого засилия, ныне опасливо качали головами по поводу засилия еврейского. А Ронин сосед по парте, купеческий сынок Миша Волков, тот и вовсе затосковал, уверяя, что евреи всенепременно доведут матушку Россию до полной беды. Будто, мол, повинувшись тайной команде, накатывают они широкими приливными волнами на прежде недоступные столичные берега, получают ордера на вселение в буржуазные квартиры или поначалу снимают клетушки по окраинам, быстро заполняют приемные залы и аудитории средних, а то и высших учебных заведений, вспомогательных курсов и краткосрочных политшкол, где их принимают особенно охотно.

Вместе с еврейскими искателями революционного счастья устремилось к большевистской Москве и великое множество товарищей командированных, военных и гражданских, одиноких и семейных. А попутно потекли в столицу дельцы-спекулянты в чаянии поживы. В Москву они тайком доставляют запретные яства и пития для черного рынка, назад же увозят иностранные банкноты (их стали называть «валютой»), золото и бриллианты. Самые смелые из дельцов тоже оседают в красной столице, пристраиваются к каким-нибудь комиссариатам или комитетам, чтобы вскоре перейти к различным тайным махинациям и предприятиям, в расчете на политические перемены.

Ленинский лозунг «Кто не работает, тот не ест» превратил всех взрослых горожан в работающих по найму, за вычетом одной человеческой категории — домохозяйек. Возникло новое слово и жд и вен цы. Однако дамы-иждивенки награждались соответственно их малым гражданским заслугам столь мизерным пайком (тоже неологизм революционной поры), что и они норовили скорее записаться в разряд совслужащих, чьи пайки были все же чуть ощутимее иждивенческих. Их норму называли и з д ы х а т е л ь н о й.

Шли из столиц и потоки «отлива».

Тихо утекала российская интеллигенция, вослед тем, кто еще до волны красного террора поспешил под трехцветное знамя корниловцев, калединцев, красновцев, деникинцев, либо уже двигался по Сибири за чехословацкими легионерами и колчаковцами, или же пробирался на холодный Мурман в надежде эвакуироваться в Европу на британских и французских военных кораблях. Это, стало быть, утекали из России голубая кровь, инженерная мысль и гуманистические идеалы, так обогатившие Европу, не слишком-то щедро принимавшую своих новых пасынков — л'эмигрансион рюс!

Но самый мощный поток отлива из столиц был вызван не прямыми политическими мотивами, а самой элементарной борьбой за существование. Голод в больших городах сделался как бы непременным условием новой жизни. И когда отцам и матерям становилось уже непосильно видеть угасание детских глаз и впалые рты родителей, смельчаки-горожане любых сословий вытаскивали из сундука нафталина все, что могло представить меновую ценность, и пускались в отчаянное мешочное путешествие по «провизионке», то есть особому билету, с правом провезти сколько-то фунтов провизии. Многие из этих путников заболели в дороге и оставляли сирот своих на голодную

погибель, как щенят в покинутой норе. Иные же мешочники, судьбой посчастливей, ухитрялись разжиться мучкой или зерном. С билетом-провизионкой прорывались сквозь кордоны и успевали спасти от голодного конца свои семьи. . .

Таковыми вот пассажирами был переполнен и тот поезд-максим, что тащился в Москву из Иваново-Вознесенска апрельскими днями 1919 года.

В одном из средних купе пассажирского вагона размещалось (по двое на одной лавке) семейство командированного в Москву военспеца Алексея Вальдека и еще одно семейство, тоже командированного, но штатского спеца, инженера Благова. Ехали в том же купе еще два пожилых красных командира, попутчики Вальдекам и Благовым до самой Москвы.

Поезд уже достиг станции Александров и стоял здесь в ожидании паровоза вторые сутки. До Москвы оставалось уже немного, одно паровозное плечо, стало быть, не более суток пути, если без непредвиденных происшествий. Спали на лавках по очереди, еду потихоньку готовили на керосинке, продукты везли из Иваново-Вознесенска, кое-что выменивали на остановках. Проводником вагона был седой, усатый железнодорожник, более всего заботившийся о сохранности свечных огарков в обоих фонарях перед тамбурами. За легкую продовольственную мзду он не замечал ни керосинки, ни обильной ручной клади, ни относительно малоуплотненного купе (в соседних ехало не по десяти, а по двенадцати человек).

В Александрове Роня с папой и пожилым командиром-попутчиком прогуливались по каменному перрону. Поглядывали на свой, без паровоза вовсе жалкий состав, похожий на обезглавленную гусеницу. Командир, тоже из старых офицеров, по образованию историк, многозначительно толковал о слободе Александровой времен опричнины и земщины. Роня уже успел про себя отметить, что немало досужих умов в России стали вновь обращаться к поре Ивановой, а также Петровой. Папа прочитал сыну вслух «Князя Серебряного» и «Медного Всадника». Балладу «Василий Шибанов» Роня давно помнил наизусть.

— Вы, как я чувствую, тоже ощущаете странную близость этих картин нашим дням,— говорил папин собеседник.— И вот нынче она перед нами, столь страшная некогда слобода Александровская! Разгуливали здесь и Малюта, и Басманов, и их подручные. . . Видите монастырские стены и купола? Там, на этом месте, некогда стояли царские терема, и опричный двор был, и подвалы с дыбами. . . Самое для меня удивительное — до чего же всегда много под рукою любого тирана таких вот заплечных дел мастеров! В какую угодно эпоху! Иногда палачи — наемные, вроде загадочного Бомелия-отравителя, но по большей части все-таки это свои, доброхотные! Как же мало у нас во все времена Адашевых, Сильвестров или тем паче таких, как митрополит Филипп!

— Зато в момент расправ тот же народ неизменно рукоплещет властелину и не прочь закидать камением праведника и смельчака,— заметил папа.

— Ну, это уж скорее чернь городская рукоплещет. Мерзкая, жадная до зрелищ площадная толпа. Едва ли такая толпа сопоставима с правителю, «народ». Чернь и народ — вещи разные. Чернь рукоплещет правителю, народ его судит. Однако же вот уж и паровоз наш подают, стало быть — прощай пока, слобода Александровская. . . Подадимся поближе к слободе. . . Лубянской, не к ночи будь помянута!

Про себя Роня знал, что завтра — Вербное воскресенье, нынче — Лазарева суббота, день последнего чуда, свершенного в земной жизни Иисусом Христом. В первые дни Великого поста в одном из Иваново-Вознесенских театральных залов устроен был открытый кинопросмотр

заграничного фильма «Жизнь Иисуса» по книге Ренана. Роне особенно запомнилось воскрешение Лазаря во избавление любящих сестер Марии и Марфы от непоправимого, казалось бы, горя. Христос одолел смерть Лазареву, а всего неделей спустя скончался сам в смертной муке. Некоторым ивановским приятелям Рони это казалось настолько противоречивым, что не укладывалось ни в какие рамки разумного.

Роня же скорее сердцем ощущал, нежели умом постигал правду. Заключалась она в том, что Христовы муки были добровольны.

Именно Голгофа стала наивысшим примером жертвенности, а смысл жизни человека на Земле, видимо, в том и состоит, чтобы самому не утрачиться страдания, когда совесть подскажет: так нужно людям! Наградой же за труд и скорбь будет ни с чем не сравнимая радость чистой совести, исполненного долга и приобщения к воскресшему Христу. Примерно так Роня усвоил поучения решемского отца Ивана. Почему-то и эти мысли в нынешнюю пору казались удивительно нужными и важными.

Тряский путь от Александрова сквозь ничем не озаряемую мглу длился долгие часы. На каком-то перегоне пассажиры узнали, что топлива в тендере больше нет.

Оказалось, что недалеко от места вынужденной (или предусмотренной) стоянки эшелона находится лесосека со штабелями сосновых дров. Пассажиров попросили выйти из вагонов и построиться в длинную цепь, от лесосеки до паровоза. По этой цепи весьма быстро пошли дрова. Труднее всего было подавать их на тендер, где тоже работали пассажиры под присмотром машиниста и помощника. Через час или полтора гора дров над тендером выросла до нужной высоты, паровоз задышал ровнее и сильнее, люди разошлись по вагонам, вытряхнули снег из валенок и ботинок, разместились по своим полкам и... тронулись дальше.

Кое-как уснув, Роня еще несколько раз просыпался от чужого мажорочного дыма, наползавшего в купе со стороны, или от перебранок кондуктора с толпами чужих, желавших тоже втиснуться в вагон.

Впрочем, для ночных тревог и тяжелых сновидений были у Рони и свои причины, поважнее прежних, уже забытых...

Дома, в Иваново-Вознесенске, в этот раз не было обычной предотъездной радости. Не дорожные трудности страшили Рониных родителей, — как известно, Господь милостив и к плавающим, и к путешествующим. Но отъезжало семейство Вальдек в предвидении опасностей почти апокалиптических, связанных с переменой местожительства всех тех людей, кто мог быть причислен к бесправным париям страны коммунизма, к так называемым бывшим...

Роня осторожно ворочался на своей верхней полке, чтобы не потревожить безмятежно спавшую Вику. В полусне и наяву мальчик опять переживал день отъезда...

... Уже все было уложено. Против ожидания, ручной клади оказалось все-таки много, хотя бывший папин денщик Никита уехал вперед с частью вещей, а с собою брали в вагон лишь самое необходимое. Все остальное имущество, даже мамину инкрустированную шкапулку с «движимыми ценностями», пока оставляли в Иваново-Вознесенске, только не на прежней большой головинской квартире, а в двух комнатах соседнего, прокофьевского дома. С семьей Прокофьевых Вальдеки успели подружиться и оставляли имущество на их попечении. Роня трудно расставался с 14-летней прокофьевской девочкой Нюрой — они друг к другу привыкли и о многом думали одинаково.

Ольге Юльевне пришлось заранее упросить знакомого ивановского татарина о подводе для вещей. Татарин этот две зимы кряду поставлял Ольге Юльевне отборную конину, и госпожа Вальдек ухитрялась изобретать столь изысканные блюда, что ни тонкие гурманы Любо-

мирские, ни капризные девочки Донатович даже и не заподозрили ни разу, из чего приготовлены чудесные вальдековские зразы, фрикадельки, котлетки и начинка слоеных пирожков.

Татарин подал к прокофьевскому крыльцу большие ломовые сани и поехал с вещами на вокзал, а вся семья Вальдек, простившись с друзьями, медленно направилась к поезду-максиму пешком. В последний раз они все вместе прошли знакомыми окраинными улицами Иваново-Вознесенска.

Вот тут-то, на этом трехверстном пути, родители кое-что приоткрыли Роне и Вике.

Папа начал так:

— Детки! Вы у нас еще маленькие, одному — одиннадцать, другой — семь всего. Мы с мамочкой хотели подольше скрыть от вас многое, что вас очень огорчит и опечалит. Но больше скрывать нельзя: в Москве вы все равно узнаете обо всем этом. . .

Мама перебивала папину речь предостерегающими словами:

— Лелик, тише! Уж если мне слышно, значит, другим — тем более! Бога ради, не так громко, осторожнее, Господи, Господи! . .

Оказалось. . .

В Москве Вальдеки не найдут и половины знакомых, близких и друзей. Одни тайно расстреляны просто так, из «классовой предосторожности». Например, многих папиных сослуживцев-офицеров вызывали повестками в здание Манежа — никто после такого вызова не вернулся к семье, хотя жены провожали некоторых до входа и дежурный встречал вызванного с почтительной приветливостью: «Входите, товарищ дорогой, это — совсем ненадолго. . . Но вам, мадам (или гражданка), все-таки лучше не ждать на холоду. . . Супруг ваш (или жених, или папенька ваш, или товарищ такой-то) быстро вернется. . .»

Вывозили их из Манежа в крытых грузовиках, говорили, что больше в сторону Лефортова, а может, и сразу по соседству, на Лубянку. Еще шептали, что в Андрониковом монастыре, внутри ограды, приспособили длинное монастырское строение под стрелковый тир, где днем обучают призывников, а ночью. . . стреляют людей. Примерно то же говорили и про Ново-Спасский монастырь у Москвы-реки, где потом долгое время, по слухам, была одна из загадочных «неофициальных» московских тюрем.

Шли расстрелы и по судебным делам о каких-то контрреволюционных заговорах, большей частью будто бы офицерских. Приговоры оглашались в газетах вместе со списками расстрелянных. Множество знакомых арестовано агентами ЧК, задержано при уличных проверках, просто уведено из дому без объяснения причин. Печатались в газетах длинные списки расстрелянных заложников. Каждый такой список повергал маму чуть не в обморок — казалось, газетные строчки пропитаны кровью одноклассников, коллег, родственников, соседей по квартирам, товарищей по службе, по университету, по армейской бригаде. . . Красный террор, начатый властями Республики в 1918 году, и теперь, весной 1919-го, продолжает выкашивать российскую «гнилую» интеллигенцию старательнее, чем мужики выкашивают свои делянки на пойменных лугах.

Жертвами красного террора стали и все члены царской семьи. Ольга Юльевна поминутно глотала слезы, пока папа, слегка охрипнув от волнения, рассказывал детям о случившемся в Екатеринбурге. . .

В этом далеком уральском городе, отныне навеки отмеченном печатью Каиновой, как вскользь, во время папиного рассказа, вставила мама, совершилось злодеяние в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. . . Есть догадки и слухи, что сделано это с телефонного разрешения товарища Свердлова (не потому ли потом и город переименовали, назвав этим

именем?). Воровски, тайком, без суда были расстреляны царь и царица — отрехшийся от престола Николай Второй и супруга его, бывшая императрица Александра Федоровна, больная и пожилая женщина. С ними вместе убили выстрелами в упор всех детей — тринадцатилетнего цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, в возрасте от 22 до 16 лет. Приняли смерть и старые слуги, сохранившие и в несчастье верность последним Романовым.

После этого стало ясно, что нравственные устои в народе сокрушены. Если все это МОГЛО случиться, и именно так, как оно произошло, значит, отныне в России дозволено ВСЁ, моральных препон ни для чего не существует и удержу никаким преступлениям больше нет! Впрочем, вся эта трагедия пока еще держится в тайне, русскому народу не сообщено ни слова, слухи носят самые противоречивые, многие надеются, что вести о гибели царской семьи окажутся ложными. Но в семействе Вальдек этих сомнений уже не было!

Еще в августе 1918-го Ольга Юльевна узнала некоторые подробности убийства от человека, который принимал участие и в расстреле, и в заметании следов. Он очень скупно передал подробности на словах, но показал страницу из французской газеты, где все это было напечатано под жирными заголовками и с прибавлением крупных фотографий. Помещен был в газете снимок уединенного городского дома с роковым подвалом, и портреты всех членов царской семьи, снятые незадолго перед революцией, а может быть, даже и после нее. Описывались последние минуты перед убийством: царь прижал к себе цесаревича, великие княжны встретили выстрелы, обнимая царицу-мать. Напечатана была и фотография подвальной стены со следами пуль и бурными пятнами на штукатурке. Ольга Юльевна успела разглядеть на этом снимке, что веер пуль в одном месте особенно част на высоте лица — кто-то из мучеников, одна из княжон или цесаревич, долго не падал под выстрелами убийц. . . Сами же убийцы явно были присланы заранее: они откуда-то появились в городе и незадолго до роковой июльской ночи сменили охрану арестованных Романовых. . . Держались они с холодной вежливостью, сразу напугавшей узников.

Передал рассказчик также о том впечатлении, какое на заседании Совнаркома, где в тот миг шел доклад наркомздрава Семашко, вызвало оглашенное Свердловым сообщение. В воцарившемся тяжелом молчании раздался холодный голос Ленина: «Может быть, вернемся к прерванной работе, товарищи?» . . .

Коснулся красный террор и семьи Стольниковых.

Погиб Саша, милый кузен.

Из артиллерийской бригады он, по настоянию папы, ехал в Москву в солдатской шинели, но под ее грубым сукном прятал свой офицерский мундир с новыми погонами поручика, которыми страшно гордился.

В этом мундире с погонами он разгуливал по квартире и даже по двору. В сентябре 18-го в квартиру, видимо по доносу, явились из ЧК, человек шесть, с грузовиком. Обнаружив офицера в погонах, потребовали документы, начали проверять, учинили поверхностный обыск. Спрашивали оружие, ценности, ордена. Интересовались, не прячутся ли в квартире иностранцы. Документы бригадного ревкома, составленные не без участия Алексея Вальдека, как будто должны были успокоить подозрительность чекистов. Кстати, Саша Стольников уж не мечтал больше о кавалерии (тем более, о кавалерии красной!), а решил вернуться к наукам естественным, в университет. . .

— Ну-ка, спори ему погоны! — грубо приказал старший одному из своих спутников.

Этого Саша стерпеть не мог!

— Не ты мне их нашивал, не тебе и спарывать! — заявил он с мальчишеской лихостью, пользуясь тем несчастливом для себя обстоятельством, что Стольниковых-старших дома в ту минуту не оказалось и урезонить неосторожного юнца было некому. . .

— А ну, выходи во двор!

Его вывели на задний двор, глухой, окруженный кирпичным забором с трех сторон. Домочадцы и соседи слышали в этом дворе два выстрела, почти одновременных, потом третий, глуше. . . Кто-то из соседей видел из окна, как группа усаживалась в кузове грузовика и как туда было заброшено Сашино тело, по-видимому, уже бездыханное. Под кирпичной стеной, на асфальте двора, оказалась свежая кровь.

Однако старших Стольниковых с того вечера стали шантажировать некие работники ЧК, предъявлявшие какие-то чекистские мандаты, вероятно, фальшивые. Даже в газетах появлялись предостережения Дзержинского против такого рода благодетелей. Эти благодетели требовали от Стольниковых денег и продуктов, чтобы облегчить участь арестованного сына, якобы живехонького («мы стреляли в воздух для острастки и вразумления прочих»). Вот так, с полгода еще, тетя Аделаида «посылала сыну» через этих мошенников и деньги, и продукты, пока визиты посредников-чекистов внезапно не прекратились сами собой. На официальный же запрос пришел ответ весьма лаконичный:

«Расстрелян на месте преступления при сопротивлении органам ЧК».

Много подобного услышали еще в тот день Роня и Вика Вальдек. Однако у малолетних членов семейства папины рассказы и мамины дополнения особого удивления вызвать уже не могли. Дети были ко всему подготовлены! Они и сами насмотрелись и наслышались немало!

Ведь лето 1918 года они провели в той же Решме, откуда 22 июля папу пригласили в город Ярославль давать показания о запасах военного снаряжения, сданных 12-й армией, при папином участии, в начале года на ярославские и рыбинские склады.

Папины показания уже мало интересовали, опросили его довольно быстро и отпустили восвояси, потому что занимал он немало-важный выборный пост в Иваново-Вознесенске, организовал профсоюз текстильщиков, исполнял личное задание М. В. Фрунзе — старался кое-где восстановить производство на запущенных и расхищенных ивановских фабриках. Совесть не позволяла ему отойти в сторону от дел, участвовать в молчаливом «саботаже интеллигенции», то есть в злопыхательском умывании рук и ничегонеделании, под видом совслужбы за паек. . .

В Ярославль он ездил не один — брал с собой Роню, потому что вызов папы в Ярославль совпал с вызовом мамы в Кинешму ответчицей в суд по обвинению в подстрекательстве толпы к. . . сопротивлению органам власти! Вальдеки успели вызвать из Иваново-Вознесенска в Кинешму адвоката Коральджи. Он встретил Ольгу Юльевну перед зданием Кинешемского нарсуда и за час до судебного заседания прочитал обвинительное заключение. Нашел он его довольно серьезным, сулящим маловато хорошего!

По обвинительному заключению выходило, что она возбуждала толпу на волжской пристани, призывала утопить в Волге охранителей революционного порядка и при этом даже сама вступила в единоборство с часовым на посту.

Адвокат Коральджи удачно выступил в защиту подсудимой. Под его умелым руководством Ольга Юльевна смогла убедить судей в несправедливости обвинения. Она пояснила им, что долго ждала очереди на пароход с двумя детьми, из коих один заболел животом. Ей удалось пройти на пристань, где начальство дало разрешение сесть на

ближайший пароход. Однако, когда пароход причалил, солдат у трапа в последний миг грубо оттеснил ее, решив, что эдакая барыня может и погодить. В расстройстве и волнении Ольга Юльевна закричала:

— И чего это народ смотрит на них! Издеваются над матерями как хотят! Неужели некому спихнуть этого дурака с трапа?

Вот тут-то ее сразу пропустили на пароход, однако на палубе два полувоенных должностных лица подошли к ней, проверили документы, старательно записали решемский и ивановский адреса, осведомились, кто ее муж и где он находится, а напоследок с недобрыми ухмылками обещали «еще напомнить ей о сегодняшнем происшествии»...

Вот недельки через две и напомнили! Как раз в то время, когда и папу вызвали давать объяснения в Ярославль.

Адвокат Коральджи построил на том, что подсудимая никак не могла предположить в «нагрубившем ей вооруженном мужчине» — часового! Ибо она, мол, знает понаслышке требования устава караульной службы! Данный же товарищ сквернословил на всю пристань, курил сигарку, непотребно лапал женский пол, а отставленную в сторонку винтовку схватил только для того, чтобы толкнуть прикладом обвиняемую, каковая в сущности является пострадавшей. К счастью Ольги Юльевны, две свидетельницы обвинения простодушно показали, что подсудимая говорит сущую правду. Судьи вынесли гражданке Вальдековой общественное порицание и отпустили с миром.

А тем временем папа с мальчиком Роней ходили по разрушенному, еще горящему Ярославлю. Насмотрелись такого, чего не на всякой войне увидишь.

Однажды под босыми ногами Рони из приречного песка близ берегового устоя железнодорожного моста через Волгу вдруг выдавилась кровавая жижа... Проступив между пальцами, она, слегка еще пузырясь, быстро засохла и смыть ее со ступней в волжской струе оказалось не так-то легко... Это они с папой ступили на присыпанные песком недавние окопы, ставшие могилами расстрелянных лишь вчера участников восстания. Свидетели потом говорили им, что расстреляли здесь многие сотни юнцов, зеленых мальчишек — гимназистов, студентов, юнкеров и кадетиков, в возрасте от 14 до 18 лет. Закопали до 800 тел. Вся эта молодежь поддалась социалистической демагогии Бориса Савинкова, идейного вождя «Союза защиты Родины и Свободы». Руководители этого Союза, в том числе Савинков и полковник Перхуров, военный глава мятежа, бежали в глубь страны, когда восстания в Ярославле и Рыбинске провалились. А их геройская армия из нескольких сотен распропагандированных мальчишек осталась брошенной на произвол судьбы. Кровь этих мальчишек теперь и пузырилась под Рониными ногами, а были многие из них почти ровесниками ему, возможно, даже однокашниками — ведь Роня и сам недель шесть ходил в кадетах...

Получилось так, что папа с Роней из Ярославля и мама с адвокатом из Кинешмы прибыли в Решму одним пароходом.

Коральджи погостил у Вальдеков дня два и посоветовал впредь «не забывать о тех классовых чувствах, кои неизбежно вызывает один вид Ольги Юльевны у представителей органов пролетарской диктатуры»...

Однако Ольга Юльевна так и не вняла адвокатскому предостережению!

Подошел однажды к Решме буксирный пароход, превращенный в подобие канонерки. Группы красноармейцев рассыпались по слободе. Одна группа явилась в домик, снятый Ольгой Юльевной, и учинила обыск, якобы по какому-то ордеру или особому полномочию. Искали, как обычно, спрятанное оружие. Во время осмотра красноармейцы незаметно прихватили в чулане головку сыра и круг колбасы, ценности

по тем временам немалые и доставленные из Иваново-Вознесенска. Сберегались они к маминому дню рождения.

Обнаружив кражу, Ольга Юльевна, вопреки папиному запрету, собрала со всего села рониных приятелей-мальчишек и велела им орать хором с берегового откоса:

— Красная армия, верни колбасу! Отдай сыр! Отдай сыр!

Пока мальчишки упоенно скандировали на разные лады эти колкости, стали выходить из слободских домиков взрослые крестьяне. Одни смеялись, другие, посмелее, стали даже поддерживать мальчишеский хор. И тогда с парохода дали поверх крыш короткую пулеметную очередь — может, решили, что дело запахло бунтом? Зевак и крикунов будто ветром сдуло с откоса, а какой-то красный командир, в ярости потрясая наганом, кинулся с парохода вверх по ступенькам крутой лестницы. Папа схватил было за руку не в меру разошедшуюся супругу, но тою, как это случалось не впервой, овладел бес покорства.

Высокая, статная, хорошо одетая, она неторопливо двинулась своей плавной походкой навстречу взбешенному командиру и в самом презрительном тоне стала бросать ему оскорбительные слова:

— Ну что, торопишься с мальчишками воевать, а? Или меня застрелить решил? Ах ты сопля несчастный! Ну, беги, беги да скорее стреляй, убей мать двоих детей, которых обокрал! Стреляй, сопляк, чтобы все видели! Пусть народ на тебя полюбуется!

... Истощенно вскрикнули бабы, глядевшие из окон. По-щенячьи завизжала маленькая Вика, когда бегущий, уже достигнув кромки откоса, навел свой наган на Ольгу Юльевну. Роня закрыл лицо руками, а услышав выстрел, завопил и чуть не забился в судорогах.

Он услышал после выстрела резкий мамин смех и еще какие-то ее слова, насмешливые и злые. Однако и в ней самой, видимо, напряжение уже спадало... А еще слышался оглушительно громкий, быстро удаляющийся собачий визг: оказалось, стрелок в последний миг дернул наган в сторону и, чтобы сорвать злость все же на чем-то живом, послал пулю пробегавшей мимо хозяйской собаке Вольнику.

Еще двое военных с парохода взбежали по стремянке, вслед за своим командиром. Передний кивнул в сторону Ольги Юльевны, взошедшей на крылечко, и спросил командира с иронией:

— Чего же не застрелил, а?

А тот, пряча наган в кобуру, ответил как бы в оправдание:

— Да, понимаешь, рука будто сама дрогнула. Уж больно барыня хороша!

Злосчастному Вольнику, сыгравшему плачевную роль громоотвода, перебило пулей бедро и задело крестец. На другой день папе пришлось из охотничьего ружья сердобольно прекратить его мучения. А мама потом не без гордости рассказывала об этом случае у Любомирских и Донатовичей. Старой госпоже Любомирской, плохо говорившей по-русски, пришлось объяснять выражение «сопляк». Инженер Здислав Донатович услужливо перевел ей слово как «smorkatsch»... Пани только головой покачала.

Обе эти дружеские польские семьи тоже покинули Иваново-Вознесенск незадолго перед отъездом Вальдеков. Но уехали они не в Москву, а в Варшаву, где, возможно, впоследствии пересказывали эти революционные волжские анекдоты в часы польского застолья...

... Ронины дремотные мысли прервал папа. Поезд-максим остановился на станции Сергиев Посад. Мальчик отрезвел от сна и стал одеваться.

Паровоз все-таки опять отцепили. Папа позвал сына на перрон. Ронино место на верхней полке тотчас же заняла Ольга Юльевна, до того дремавшая внизу, на папином плече.

Отец с сыном совсем недалеко отошли от станции с ее шумами, и сразу же обоим стал внятн праздничный колокольный перезвон. Да ведь Вербное же! После холодного, но уже какого-то зеленоватого утреннего дождика небо прояснело. Главы Троице-Сергиевой лавры явились богомольцам в озарении первого настоящего весеннего солнца. Роне показалось естественным, что и папа, лютеранин, снял фуражку, перекрестился по-русски и так, с обнаженной головой, ничего не говоря, глядел неотрывно на сумрачную, уже несколько запущенную лавру и слушал ее медные голоса. Толпы народу с обеих сторон обтекали стоящих, стремились к монастырским воротам мимо приземистых посадских домиков и знаменитых Блинных рядов.

Отойти подальше от поезда было сегодня рискованно, отец с сыном так и простояли на одном месте в молчаливом преклонении. Проходящая старушка, глянув в лица обоим, вдруг вернулась, подошла к ним и подарила каждому по пучку вербы-красотала с розовой корой и пушистыми сережками-шариками. Пучки эти доехали до Москвы и потом даже корни пустили в стакане на подоконнике.

В Москву прибыли вечером. Простились с семьей Благových — им тоже было недалеко, московская их квартира находилась в Сыромятниках, близ Курского. Папа долго искал подводу для вещей и пролетку для семьи. В советской столице извозчиков осталось мало!

Ехали шажком, опять мимо знакомых Красных ворот с золоченым ангелом, по-прежнему, как в добрые времена, трубящим в свою фанфару; потом — сумрачной, притихшей Покровкой, где на самом углу Земляного вала в двух освещенных витринах выставлены были рисованные плакаты со стихами про белых генералов. Прочие магазинные окна-витрины по всей Покровке оставались темными, а во многих и стекол не имелось вовсе — их кое-как заменили деревянными щитами или просто забили окна досками.

К бывшей Артемьевской булочной, откуда, бывало, доставляли по утру в стольниковскую квартиру горячие калачи, уже устанавливалась очередь за завтрашним хлебным пайком. Толпился народ на папертях обеих церквей в Барашевском переулке — Воскресенской и Введенской. В них кончалась вечерняя праздничная служба.

(Продолжение следует)

Ольга Мегресо́ва

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛЕГКИЕ РАЗДУМЬЯ

«Пухом ли, перьями выстлать покой,
первогнездо Белокрылого Гуся?
В память о том, что ab ovo. Ворвусь я,
вздыблю перины — и белой рекой
вспенится пух Белокрылого Гуся...

Тонким ли саваном запеленать
труп побежденной, распятой богини?
Дети с отцами в конфликте и ныне:
надо же как-нибудь напоминать
им о богине и царственном сыне...

Может, нагнать кочевые стада,
наибелейшие руна на свете?
Мол, перед Пастырем паства в ответе:
в росные ль травы из зала Суда
или на вертел идти на том свете...

А не раздуть ли в чертоге пожар?
С блеском и треском под копотью крыши!
Больно уж тихо: ничто не колышет
этот висящий на ниточке шар...» —
так размышляют на крыше и выше.

РЫБАК

Чьей выделки сети так дивно тонки,
так призрачно хрупко плетенье,
что в омуте дальнем Небесной Реки
не рыбы — улов, а их тени?

Кто, тину взрыхляя да ил бередя,
влечет между двух побережий
туман-волокушу, иль бредень дождя,
иль снежную чудо-мережу?

Кто ткет паутину полдневных лучей,
что с ветви незримой свисает?
Кто вяжет тот невод бездонных ночей,
где нитей скрещенья мерцают?

Кому нужен этот убогий улов —
больные, голодные души?
Молчит и кидает уду Рыболов —
хватайся, кто страждет о суше.

Виктор Соснора

БАШНЯ

2 дек, 2

Империя! ночью раб-римс отдыхает от своей многонациональности. В истории Римской империи жива в виде мифологемы одна женщина — Клеопатра, но она — не продукт Рима, а египтянская эстонка.

Здесь едят воду, дуют в воду — чайки. Ем брюкву — римское национальное блюдо. Сырая брюква — досуг истинного римса. Рисую три розы: белую, черную и красную. И желтую. Разве ж не нормально, если человек, живущий один, — бесчеловечен?

У скалы дым, коптят смолу для ада. Под окном машина — каток, утрамбовывающий дорогу. Желтый каток, на нем кожаное кресло, как в кабинете у Гете. Помрет каток — будет много железолома. Идут к катку рабы в синих шелках, о три уха.

Пруд ширится. У скалы 5 башен, варят бульон из гудрона вверх. Костер запылал, ворона встряхнула крыльями, как кудрями, и улетает.

Над печью железо-пылающей некто с кронштейном; черный рабочий. На всю скалу одна лампочка, без абажура, логичная. Самолет летит, светя хвостом, еще и самолеты летают, я вижу их в живых.

Суп из форели, все суп из форели — зимой, в декабре.

Может быть, светящийся круг, который я видел ТАМ, — это модель моего земного круга, а поэтому мне жить еще восемь лет.

Империя всегда была на границе святости, но сейчас наши войска перешли эту границу. Да что тут нового?

А моя хижина — хуже?

4 дек, 2

Два воробушка на железных перилах, не едят горох.

Бывает ли женщина левша?

В странах, которые оккупируют, все становятся полиглотами поневоле.

Голуби вспорхнули, они никому не нужны уж. Баба в крапинку везет белую коляску с бэби. Бабу-бай!

В пруду лежит доска, скудна. Везде ледок, легок, а пруд не мерзнет — северянин, не сковать. Мужик-римс привез на грузовом такси фиолетовую блузку. Подушечка он, сладстена; мужик-огонь.

Персы едят каждое утро по груше.

— Сон с ней? — Сон с оно. Женщины — непьющие бродяги.

9 дек, 2

Серое солнце.

Утро серое, стекло залито морозом, потому и мутно. О, как весел был бы огонь дня — хоть серо, да светло!

В Сиракузах в такие дни рубили головы, чтоб у мертвых не осталось в памяти сожалений о солнце. В такой день казнен был Теодор Сиракузский.

За что?

Он покупал стул за 8,5 драхм. — Заверните! — сказал он им. — Мы стулья не заворачиваем. — А что ж вы заворачиваете, — троны? Заверните стул. — Во что? У нас газет нет, уж не в ковер ли? — Заверните в ковер. — Ковер стоит 850 драхм. — Я не спрашиваю, сколько стоит ковер, заворачивайте, емы!

Эх ты, римс молодой. Так-то трагически он погиб.

Почему?

Теодор Сиракузский занимался проблемой: кто был раньше явлен: эллины или бабочки? Узор на крыльях бабочек — что это? Надписи выше, указующие буквы греческого алфавита, или ж благодаря выдумке алфавита узор перенесен на крылья бабочек — Некиим? В таких размышлениях долго не живут.

Это уж в новое время запретили охоту на римсов, и они расплодились в невероятном множестве по всей земле. Где их нету?

В окне стекла кривы, побереюсь.

11 дек, 2

Куда симпатичней сказать о корове — быкица.

Масло здесь для пикантности мажут сверху маргарином.

Желтогрудо-бархатная птичка ко мне; любопытствуя, стучит в окно.

Кто это? .. Смылась.

На кухне ржавая селедка и картофель вареный, в мундире, черный хлеб, луковица. Охотничий завтрак. А на сладкое кубики тыквы в сиропе. Ржавая селедка, кстати — дар Вашингтона, а тыква из Испании.

Писанья мои — арфография!

Как-никак, а взаимосвязь глаз и носа не менее важна в определенье красоты молодой женщины. Например, глаз и нос у слона взаимодействуют.

Жить можно.

Книга Амос; глава 2, стих 6:

... Продают правого за серебро и бедного за пару сандалий.

стих 7:

... Путь кротких извращают: даже отец и сын ходят к одной женщине ...

стих 16:

... И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день ...

Дорийская мазь — вот что потеряно современниками.

— Чего ты стонешь, как чемодан?

— Я купил для ванной винегрет, винтовку и вазелин. А что к чему?

Много тьмы — плохой признак.

Самый любимый напиток у древних эллинов и евреев — алкоголизм.

Некоторые люди похожи на хохочущего кота.

Ветер во тьме.

— Если тебе не нравится жизнь, бросайся в пропасть.

Она:

— Еще светло.

Я:

— Что ж с того?

Она:

— Боязно.

Я — король Лир.

Циан — вот национальное эстонское блюдо.

Часы ходят не в ту сторону — справа налево.

Бледноглаз! — характеристика.

24 дек, 2

Болен я, боги, то томит нервы, хоть я и не ем ничего плохого.

На кухне: маленькая елочка, в малиновых лампочках, игрушки, цветные фанты и медвежата из папье-маше, лакированные серебром, золотыми кругами, у елочки свечи и вышитая по-римски подушка. На та-

релке лимонад в бутылке и малосольный огурец. Плыви, мой челн, по воле вин; лодка идет, как Людовик Шестнадцатый, — без головы!

Школьницы идут вниз, из юбок ноги идут.

На цистерне зажегся неон:

— РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ — С!

25 дек, 2

... И идут в снеги слуги.

25 дек, 2, день, ночь и год

Ц-рабыни группы Центр носят в мочке золотую гайку, на цепочке.

Под окном сцена: два матросика, пьяные, мерзли всю ночь лежа.

Их подняли рабы, обчистили чешую ножами и поставили на две ноги. Те — дерутся уж! Идут на рабов стеной с поднятыми в безумье глазами! Один раб, с пленкой на щеке, упал на спину и завизжал, бия воздух ногами. Эпилепсия, болезнь божеств.

Глазки у него круглые, нос овальный, ротик овальный и сочный. Пруд покрыт холодным потом, ванная без женщин — как холодная лохань, ты, толстолицая Ц, я разговариваю с тобой из чистой человечности, а все это — текущая тоска.

Синий отсвет дня, ценою солнца полученная жизнь. Она горит ярким огнем, новогодним. Но почему?

Почему сверкает молния в щель от ключа?

У подъезда трое, как три карты игральные, стоят — головы вниз-вверх.

Царь Моав, II век до н. э., чтоб сохранить независимость своего малюсенького государства, сжег на верху крепостной стены своего первенца, новорожденного, — на глазах у врага. Он вымаливал у Бога победу. Царь — Враг-царь, потрясенный, снял осаду и ушел...

Ночь опять, везде лампочки и руины.

Днем был звонок, я выглянул — парень. П-раб в лохматой шапке, перс, вероятно. Кто он? Уж не с кинжалом ли? Позвонил и убежал во мрак. В коже на плечах он был. Убийца с разбитым яйцом в левой руке, и кровь яйца желта.

Двор весь вспахан гусеницами, будто со свистом прошелся Л. Н. Толстой.

Сколько орденов и медалей лежит в земле!

В 1881 г., за год до смерти, Ч. Дарвин встретился с герцогом Джоном Аргайлом. Тот был научный писатель и 20 лет спорил с ученым о роли высшего замысла в эволюции. Заговорили об изумительных взаимных приспособлениях организмов, их описал Дарвин в ранних книгах об опылении орхидей насекомыми и о дождевых червях.

— Не кажется ль Вам, что взаимная приспособленность организмов ясно свидетельствует о наличии у природы некоторого замысла? — спросил Аргайл.

Ответ его потряс.

— Да, это и самого меня одолевает. — И, тоскливо покачав головой, Дарвин добавил:

— Кажется, пора уходить.

Было много женщин, в гостях, всех и не перечислишь. И громадна была грусть.

Рыбак сидел у реки и смотрел в море.

Черный список МСОП включает 63 вида зверей и 94 вида птиц, по вине человека исчезнувших с Земли за последние 400 лет. Среди них странствующий голубь, стаи которого в Северной Америке еще век назад были как тучи.

Во все небо. Ангелы.

Осуши слезы болот.

Срывов не бывает в начале пути, срывается к концу. Так падают бездыханно у ступеней дома, к которому шли столько лет, с таким трудом.

Без труда и без пруда — кто это? — РЫБКА.

Коллективизм ведет к одичанию.

Ценность жизни:

жизнелюбие — пошлость,

жизнерадостность — низость,

жизнестойкость — у убийц.

Анаксимандр:

— Всякое рождение — преступление.

Была дружба между Богом и римсом. Чашечки весов стояли друг против друга. Потом римс положил на свою чашечку гордость и упал, то есть родился, стал Я, а был ВСЁ. Вину за отпадение может искупить только смерть.

Над цистерной зажегся неон:

— ГОД АГОНИИ И ГНЕВА.

Сплю на льняных простынях, как Плантагенет!

А куда же девается прожитая жизнь?

Глиняные таблички Египта:

— ОПРОКИНУЛАСЬ ЖИЗНЬ, ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ, СМЕРТЬ
СТОИТ ПОДОБНО ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ!

Отредактируется и это.

17 янв, 3

Пруд замерз, и зари над ним нет.

Скептик лед скоблит.

Над цистерной зажегся неон:

«ИСТОРИЯ НИСХОДИТ ВНИЗ: ОТ СВЯТОЙ БЕЛОЙ КАСТЫ
БРАХМАНОВ К КРОВИ ВОИНОВ (КШАТРИЕВ), К ЗОЛОТУ КА-
ПИТАЛИСТОВ (ВАЙШЯ), К ЧЕРНОМУ НЕВЕЖЕСТВУ СЛУГ
(ШУДР). — Вивекананда».

Живем в век слуг.

Дог в черном, в белых чулках, идет и ушел налево. Уши острые. А у женщины ночью уши были круглые. Дог все ходит под окном, а тень — как от быка, рога острые.

Дождь зарябил в лужах; сколько лежит их, голых, вверх пузом, дождь в пузо их бьет. Холодную надежду брось.

Просвистела пуля. Взглянул на балкон — стрелка нет. Стекла целы, дыр в них нет, а пуля есть. Валяется, сплющенная, в кухне на полу, горяча.

18 янв, 3

Пруд размок; я разбит.

Напишу руководство гурманам: как зажарить цыпленка, чтоб от него ничего не осталось. Фруктовая диета.

Стало чисто, пруд замерз концентрическими кругами; ледок кинжала. Скала светло-красная, и день такой же. Черный хлеб с изюмом ем, рыбу сладкую.

13 февр, 3

Деревья заштрихованы темно-синим. Сумрак, тает, вязко. На столе куриная ножка (напишу — ложка!). В 50 лет это уже не человек, а летчик — вверх. Это стоит новеллы.

Д-рабыня бегаёт по шоссе — вечерами. Почему? Потому, чтоб не видели, как трико обтягивает полные бедра. Стесняется; ей 50; самое время стесняться мужчин, — бедрами, видите ль. Кроме того, у нее

грим, а на белые ночи — чадра. Делает из белой темную ночь, под чадрой. Тут уж хочешь — не хочешь, а будешь смотреть. Дама-дэнди.

Хожу, как пророк, с венцом на устах.

В окно не смотрю, опасно. Кто-нибудь большой влепит в лоб.

Кто-нибудь большой, как маленький, черный и ручной. Что видно в окно? Венок фиалок, цепь центурионов, идущих по холмам в Египет? Видны стекла, пустырь, сухие розы со звоном.

19 февр, 3

Мутно, вместо мытья вытянул карту — туз бубен! На картинке: щит круглый, восемь заклепок на нем, знак бубен и лучи от пятиконечной звезды на весь мир. За щитом арбалет, у него приклад винтовки. На щите орел как перед взлетом, крылья врозь, на лапе три пальца, вцепляется, трехпалый, в щит, кричит: — Давай улетим! Ноги, как у толстой бабы, без перьев, правый глаз стрекозий, граненый; у крыл же перья, по-моему, есть; клюв у орла, как у утки, круглый. А щит перекрещивает меч, похожий на кортик, или ж хлебный нож, но у нас все — меч. Вокруг орла — голубоватая мазня, небо.

Я дал показательный анализ туза.

20 февр, 3

Войди в дом — светает, плюнь в пол — темнеет, в душе моей — тихий год с концом.

Снег вкусный, с кислинкой.

Чем отличается белый кирпич от белого мрамора? Бедностью.

Жаль зимних дней!

На скале появилось 10 антенн. Внизу — 4 красных предмета, 4 девушки в заячьих шубах на них, сидят в стальных креслах. Это стенобитные орудия. Будет рушиться скала и падать с краев рабы. На столбах круглоухие громкоговорители, у скалы черный человек ходит буквой М, начальник, прораб. Времянки на колесах, веселые и цветные, — как лодки. У прораба ноги идут, как гуси, а руки — как маятники. Скоро, скоро штурм!

Скоро заселят скалу.

Баба с острогой у пруда, нет, это жердь. Бьет жердью, ее муж лег на лед и дышит, во льду сделается кружок, глазок и прорубь. От жаркого дыхания.

Дом-скала слишком уж башенный, как у пингвинов или у коз.

Мария Стюарт, поэтесса: получив корону Франции и Шотландии и цветы, захотелось ей поделиться радостью с Марией Тюдор (впоследствии — Кровавой). Мария Тюдор, обойденная, плакала о короне. Вдруг входит лорд Букингем и приглашает принцессу к королеве; обе они в возрасте 20 лет. Правда, скидка на возраст не спасает от виселицы.

Мария Стюарт принимает Марию Тюдор по-сестрински, дает стул и говорит:

— Я пригласила Вас, сестра, полюбоваться розами, их прислали мне от корон: испанской, французской, германской и от папы Римского Пия Первого.

Мария Тюдор смотрит на розы. Затем Мария Стюарт широким жестом приглашает ее в розарий, нюхать — алые, черные, белые, шелковые, бархатные, желтые, синие, голубые, оранжевые, радужные. Та нюхает. И Мари-Поэтесса отпускает Кровавую Мэри (будущие клички) восвояси. Это был акт милости и мира.

Так казалось.

Вскоре победила партия Тюдор. Марию Стюарт же заточили в Тауэр в ожидании помилования от коронованной девушки, нюхавшей ее розы. Та откликнулась. К уже не королеве приходит лорд Букингем

и приглашает ее к сестре. Мария Стюарт спешит, тот же сценарий: розы от всех.

Мэри Кровавая приглашает понюхать. Та, спеша, нюхает. Спеша, ей нашептано о сестре многое.

Поэтическая натура склоняется к пышноцветущей розе, букет раздвигают, и мы видим топор. Во всем блеске и хладе. Топор для рубки голов королей Англии.

— Понюхайте это! — якобы говорит Мария Тюдор с сатанинской усмешкой.

На эшафоте Мария Стюарт долго рассказывала эту историю, глядя в народ из-под топора, а мы слышали от лорда Букингема.

Будильник бьет, как током.

По ТВ:

Актер с челкой (волосы свои) читает стихотворения, одно за другим. На фоне джон и чаек по мирному времени идут танки. Летит самолет, пушки шипят. А еще один, угрюмый, читает вслух газету о сентябре в Иудеи. И еще четверо мужчин в твердых костюмах и с брюшком читают наизусть. Стихотворения. Дела им не найдут, мужского.

Жена вышла, живот тощий, как у псыны, а рот раскрыт. Это она поет. Волосы не свои, песня о пьянстве. Рукава подстрижены, глаза вперед, ресниц нет, кипучая.

Под окном двое в ушанках пробираются по сугробам, один как птенчик.

Северное сияние от меня.

Фарфор-снег.

Такие огромные стекла, холод, ничем не остановить. Я смотрю, как в ночной войне топчутся. Это ж скалу посещают будущие жители скал, скалолазы. Вон их сколько. Скоро застеклят скалу и скажут — это дом.

У нас отовсюду дует.

Рабы группы Р, солдаты в белых халатах и гвардия носят по ночам красные кресты, зажженные, крича:

— Иог твою мать!

— Иод твою маты!

Это они пеан поют, чтобы подбодрить.

24 февр, 3

Чай не мешай, ложкой, ногой, ничем, от этого он горчит. Лежу, ем изюм, снег идет елочкой. Воробьи, как албанцы, прыгают по скале. Едят горох.

Океан простокваши, дети кладут кусок сахару в рот и прыгают в простоквашу; сахар тает, дети тонут. Слякоть, все наелись. Туманно.

Туман меркнет. Куриный плов взрывается на сковороде, как у Го-голя.

Дети снежных баб настроили во дворе, живые противны. Но головы у снежных белые, как ягодицы у женщин.

Лед в пруду желтый, пивной, голландский дождь всю ночь шел из шланга.

На скале висят светлые трусики — детские, и взрослые трусы — как трубы.

Три воробья тройкой взлетели с балкона. Улицы еще целы. Всем бы хотелось произойти от НЛО, объелись обезьяниной. Ну, произойдут. А НЛО от кого произошли, ведь от обезьян тоже?

Рабы ходят, смотрят скалу, цокают — высока, на веревках хорошие вещи. Те вещи, которые долго носят, называются долгоносиками. С-рабыня сидит, как рысь в бассейне, сверкая глазами. Я учусь их ласкать, у многих хороший нюх. Мы долго сидим в ванне, царапаясь, только б ночь не опускалась с такой неотвратимостью.

Февраль кончается, а жизни нет.

Жизнь велика, как беда, для силы нужен вес.

Как шары, идут овцы по жизни, а луз им нет. Гибель в том веселье. А я? Смотрел, сводил глаза с лица.

25 февр, 3

Писать при зажженной лампе, если ж не зажжена — то и не писать совсем. Утром лампы вовсю.

Снег — синий, генеральский, с эполетами, с мишурой на фоне окон златых.

Женский таз имеет форму сердца, если смотреть сзади.

Рабы танцуют на льду, как у Брейгеля, девоподобны, в черных сапогах, круглогруды. Ножки жердеватые, как они по льду едут... поехали! — четыре ноги крутятся, у всех попарно. Жаль, нет граммофона с трубой и венским вальсом.

Дог в черной тройке, с белым галстуком на груди, зовут Барбосс, — с двумя С.

— А Вас? — живо поинтересовался хирург Г. Рурих.

— Вас ист дас? — сказал я.

— Вы издеваетесь, скрывая имя, — мягко заметил Г. Рурих. — Вы многовато знаете, чтоб не помнить такой пустяк. Почему вы ночью говорили по-немецки?

— С кем? — спросил я.

— Один на один. Если Вы добиваетесь наивысшего, скажите, мы дадим рупор народа, и имя выбьем на скале, и прольем кровь. Что еще?

— Вода и огонь, Г. Р., вода и огоны!

26 февр, 3

Пишу иглой.

Можно вышивать на бумаге узоры букв, жизнь строится у человека так, как устроен человек. Не все что черное, то вьется, не все вороны.

У женщины слезы — как у мальчишки, детские, золотые. М-рабыня в нежно-зеленом. Уж не умер ли я во цвете вишни?

В печи огонь красен.

— Иди, налей воду в ванну, я приду и солью.

— В чем дело?

Воды нет на двух, в морду б дробью!

Угнал я М. Ушла по шоссе — как нежно-зеленая лошадь в белы снеги, и телега за ней несется.

Женщины прыгают после ванны в окно, ноги вверх летят, из комнат пар, локомотивный. Летят женщины, и вижу — спины у них балыковые.

Отпет Новый Год, снимаю рыбок, петухов, лебедей.

27 февр, 3

Шли солдаты весь день.

А теперь лежат в обтекаемых касках, сидит на них орел. Побойще. На ледовое поле вышла женщина-факед. Солдат выходит с поля и идет к ней, опираясь на тонкий меч.

Когда ж растает лед — летом?

Идя в ванну, я прибавил шагу.

Я мажу руки крокодиловой слюной, перед сном покрыл лицо мазью — смесь вареного ячменя и оливкового масла. На рассвете смою парным молоком.

На дне ванны — рабыня-В, лежит в воде, упивается прелестью быстротекущей, чистит ногти щеточкой, пластинками из слоновой кости полирует язык, чтоб он был бархатист, — это мне, не себе. Веселый, я отправился на носилках. В операционную. Привезли назад. Она встала со дна, говорит:

— Дарю тебе свой рот, я твоя.

За окном фокусники, заклинатели змей, дрессировщики поросят; поющая речь греков, арабов, египтян, иудеев, мавров, гортанная речь парфян, аланов, кападокийцев, сарматов, германских варваров. Время фералий — февраль: Фералии, рог мертвых, трубы из руды, это их праздник. Выплавленная из руды труба-медь — зов, возврат мертвых. На всех могилах Кладбища Северное горят смоляные факелы. День молчания.

Дума мертвого выходит на свободу и приходит к тебе, кто ее погубил.

Мой кабинет похож на бокал со стеклом. На глаза попался меч, лицо светлело. По лугу шли несколько в фуфайках, с голыми руками, несут соус для льда. Возвратившимся с войны несут жареного павлина, а им слышен грохот железных колесниц и вой цистерны.

На цистерне, как на лафете, везут фалл из фигового дерева, идут позади.

Во дворе юноши-рабы группы Ю срезают первую нежную бороду и сжигают на углях.

Хирург Г. Рурих весь день ходил из угла, и по лбу его катился потоп. К вечеру он вскричал:

— В ванне рабыня-А, огромная, как в детстве!

Я запел. Я пою ведь вообще-то.

Хирург Г. Р. вынул соловьев, поджег им крылышки и бросил их, поющих пред смертью — мне! Это он наградил меня, за пение!

На кухне маринованная фасоль — не кефаль. На всякий случай я не расстанусь с кинжалом и за едой, он — противоядие.

Ем, бросаю в фиал жемчужину. Жемчуг придает перламутровый блеск глазам. У двери ванной кричат женщины:

— Ты кто?

Звеня кинжалом, в ответ:

— Верный друг.

Ношу на груди кинжал. Воодушевление.

Рабыню, лежащую на дне, спрашивает рабыня А, другая:

— Как быть с телом при воскрешении? Каким ему быть?

Но ту, одну, не воскресить, ее лист обращен на север, где обитель.

По ТВ: спортсменка, одна грудь черная, другая белая. У меня в ванне таких нет.

И еще одна — обе груди белые. Какая гадость. Бегают, лгунья. Еще девочки, еще и груди нет, противно. Гимнастки — это извращенки, на буме и на коне, монстры, недочеловеки.

О ком говорят «изредка налетал?» — ветерок? Чингиз-хан? У маленьких ломиков тяжелая голова.

30 февр, 3

Деревья похожи на рыбок — хвостиками.

В феврале деревья без листьев — как рыбки без чешуи; они головой ушли в землю, машут хвостиками, до весны!

Кто ходит? Люди в меховых чалмах, рабыни от А до И.

Кто смотрит в спину всем живущим, как шприц — от И до Я: ветры тревог. Вот ветер летит в глаз, как в десятку, прямой!

Во дворе, в земле выкопан гроб, а крышки нет, нитками будут сшивать. В такой мерзлый ящик земли положить бы штук пятьсот трупов плашмя; и положат. И зашьют сверху белой ниткой, как все у нас.

Золотые тужурки уже носят вместо кожаных.

Слово Дом с латинского: гроб. Внизу цементные кубы, это строители культуры делают. Придет весна, придет, и деревья, вмерзшие

в землю головой, выйдут наружу, всплывя. Еще нет весны, а настроение есть: туч нет.

— О Гирландайо, Гирландайо! — поет человек в черном, антипатетон. Он стоит на скале с мастерком, в зубах бич от лебедки, лицо пышет здоровьем дуба, и поет он: — О Гирландайо, вербный Орлик Ин совсем один!

Как он ярок! — этот счастливый, работающий стремглав, о, как он мажет кирпич цементным раствором, как я красную икру на хлебец, и мы оба хрустим! Глядя на этого братца на скале, я чувствую в нем текущую кровь, это артист труда, ему б золотую звезду на шею и лучшую из рабынь Ц — умноженную на тысячу! — с ножками, как поцелуй. Жаль, монахов нет.

Слишком много народности внутри скалы, монах своей декоративной фигурой внес бы элемент ретро в этот быт, и стояли бы наверху — рабочий, монах и ню в трусиках и рукавицах, и, сваривая электродом швы: — О Гирландайо!

Кто всю жизнь не ищет друга? Для одних это женщина, другим — пес, у третьих библиотека, а мне мил здоровяк со скалы, у него же и на носу написан апоплексический удар. Як Здоров — его зовут. Як Здоров, князь из потомков мурзы Багрима, каменотес. Запомним его. Потому что уж близок конец книги, а не знаем, как меня зовут. Он знает мою жизнь, сталевар-высотник.

И Орлик Ин — друг.

2 март, 3

Внизу: трактор вырвал тевтонские кирпичи (из земли!) для стен, — весом 7,5 тонн, белые, замороженные. Их замешивали 900 лет назад на яйцах, сырых. Будет голод — будет запас, возьму одну глыбу на балкон, да побоятся, небось, балкон рухнет. Пусть рухнет, пришью новый.

От людей следы на снегу, как от зайцев. Как истинный художник Возрождения, я пописал пером, взял дрель и просверлил в стенке дырку.

Скала в солнце! Соснул полчаса, встал — окна бьет снег.

Пуп мой похож на Даму Пик.

Понедельник на исходе; вот-вот и нет его. По ТВ в мире: прыгают в бассейн, валят друг друга с ног, как дуб дуба. Или вот: лег с лыжами нараспашку в снег и стреляет не в дичь, а в бревно, в распил. Финляндия играет на приз газеты «Женьминьжибао» — в карты. Лондон бежит в майках.

«Что есть физиономия топора?»

«Спирт за неделю». Новый диктор с идеальным овалом мыргает глазами.

Вот понедельника и нет. А был он семеркой пик по исчислению.

4 март, 3

Черный дог с крыльями на голове говорит с утра, мне, в окно: — Гав!

У цветка Щучий Хвост ну и прическа, как у Фенимора Купера. Мокрые люди идут зимой по колее трамвайной. Пасмурно. На балконе булькают голуби, я им горох даю с руки в рот. Падают капли свыше — не монеты. На балконе надо мной воробьи звенят, как клавиши. Что с ними?

Мне нужна пища — лососина с тротилом. Мы идем по Африке под конвоем собак мирного времени.

Экскаватор с ковшом ходит взад-вперед под окном, как виночерпий.

Помылся в пламени вод.

Балконы похожи на выдвижные ящики, в них — груз греха, вкусный компот.

5 март, 3

Био-Мать!

По ТВ: показывают эскимонцев. Эка невидаль! Еще: молодые женщины прыгают головой вниз с самолета. Как самоучки! Римский солдат стреляет, поводя бровями. Над Кремлем ручьи ракет. Несут покойника на блюде, на нем галстук гладкий, а из задницы огонь бьет. Покойник — старик, солдат с саблей, ус подрублен.

У скалы золотят окна.

Поджарил хлеба. Говорят, сейчас весь мир ест хлеб со сковороды. Грузовик, как НЛО, проехал с бревнами, с громом.

ТВ не умолкает: танкисты в шлемах с гаечными ключами, старшина-быкоморд свистит сбор на трубе, а за ним навтыжку солдаты с пуговицами на животе. Меж ними — девка-солдат, группы Б, видимо. Поющие песни, он, хор, застучал зубами, — дармоеды. Матросик лет 50, сытый, запекает ртом. Им хлопают дети на стульях, как головастики.

В доме вечер.

7 март, 3

Резкое солнце справа, а уж 20.10. Морозец.

— Кто лучший знаток женского тела?

— Препаратор трупов!

И еще:

— Я хочу задать тебе один вопрос.

— Какой?

— Полевой.

— Это цветок!

Чемоданы здесь те же, 840 года, с приезда Ольги к Игорю. Какие красивые таблетки делают, в обмотках.

Все дикторы ТВ голодают и ждут славы, чтоб сесть под софитом и читать с бумажки текст про удои и коэффициенты. Заманчиво. У цвета должна быть полная ясность, как и у звука. Малейшая муть — и все уничтожается.

Подъехали солдаты, грузовик, рыцари в рукавицах, стоят на двух подножках, топоры торчат, а в кузове плещется бензин. Дом мой рубить и жечь будут? Или не будут? Вопросы, вопросы...

8 март, 3

До меня доходит, что в женщине ничего, кроме женщины, нет. То, что я их обожествляю, — моя выдумка.

Клыкастая девица в пионерском галстуке поет, поет.

В честь женщин жмут штангу. Атлет с усиком пышным нервничает, схватил штангу, как столп огненный, поперек, и, опаленный, уронил. Как Нерон! Еще попытка. Не возьмет он ее, эта штанга не шутка. Подошел и сел, как на задницу, раздвинув ноги. Голову отбрасывает назад, как ненужную. Ну! Ах, нервничает, не взял.

Струнная музыка за стеной играет, это круглая лира, ди браччо. Дог в черном, Барбосс, бежит по шоссе с болтающейся, как топор, головой между ног.

Я, как собака, начинаю ненавидеть безотчетно.

Пруд оттаивает.

Луки волнуются, водяная пурга. Поставил в воду ветвь, и она зазеленела. У стекла играют крыльями вороны. Вода в пруду желтая,

как в Янцицзян. В скале живет уже множество народа, но окон нет, лазают всюду на веревках, так и должны жить в скале скалолазы. Сверху спускают в пруд джонки, люльки для езды по улицам. Что за народ живет, не знаю, в саму скалу не входят, оттуда не выходят, ограничиваются веревкой и альпенштоком. Рабы-римсы, это-то ясно, народные рабы. Но кто? Иногда в пруд летит труп, но цвет не разобрать, на балконы тоже не выходят. В апреле выну из шкафа арбалет. Была цыганка Ла (рабыня? вряд ли!), но в том же качестве, ибо была в ванной с индусским ртом. Как красиво! Моются ль цыганки в ванне? — спросил я поневоле. Но она! — выкатила бочку меда за 300 драхм золотом. У меня денег нет, но есть труба, я отвинтил кусок золотой трубы от парового отопления и дал. Кто не знает, что цыганкам нравятся трубы золота, они их разрезают на кольца и носят, как мед. Коней нет.

Я буду подливать в ванну молодым женщинам в соку понемногу меда, и кожа у них станет персиковая, и мясо душистое. Цыганка Ла обещала принести перламутровые чехольчики на ногти. Какая умная матрона, в юбках, закутанная, немытая, жуткая с виду, но душа добрая, бочки катает со скалы на скалу.

Снилось: еду в черной машине, как во фраке.

2 апр, 3

Пруд рябит, голубой. По шоссе разноцветные лица в пальто, все в сером, вверху птица, черна, как речь пророка.

Внизу синяя машина, морская, бежит с рюкзаком за плечами на непозволительной скорости. Дети в красном на зеленой траве как флажки в изумрудах. Это не то что красиво, а уродливо. То есть негармонично.

Детей берут на руки и несут по-цыгански, а куда их денут-то?

11 апр, 3

Жизнь поет тонкий мотив, где у губ сказуемые.

У экскаватора желтая чашка, детишки вдали, бледнобровы.

Снился цветок Хуэй-цзуна «Золотой фазан на древовидной мальве». Текст: «Осенью крепок инею наперекор. Роскошен всегда. С высоким гребнем, в парчовом оперенье петух. Ему знакомы все сполна пять добродетелей. Спокойствием, невозмутимостью он превосходит уток и чаек».

И подпись:

«Во дворце Сюаньхэ исполнил и надписал Единственный в Поднебесной».

Объяснимся ж.

Единственный в Поднебесной — император Хуэй-цзун (Чжао Цзи), он же и гениальный китайский художник, первый президент Сунской Академии художеств. Пять добродетелей удэ: бесстрашие, просвещенность, подтянутость, милосердие, обязательность; символическое воплощение этих качеств — петух, фазан.

Все это я мог бы сказать и о себе.

Выходит и уходит солнце — и что? — не греет, не цветное. Люди идут, но все с возвратом, чтобы идти туда ж. Есть в жизни минуты — это освещение видимого.

Солдаты в белых халатах легли, луна; лежат в грузовиках на пружинах, как раки.

А в исполинских сапогах идут рабы, ночные, переполненные. Дойдут до драки.

А над цистерной зажжется неон:

**ВОТ И ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОВЕЗЛО, РАДОСТНОЕ МГНОВЕНЬЕ:
ПОД ЛУНОЙ СРЕДИ ЦВЕТОВ ЧАРКИ НАПОЛНИМ СЕЙЧАС.**

14 апр, 3

Грязь серебрится.

Скоро вскроется море, и я вздохну.

Воскр., 7 апр. было Вербное воскресенье, желтая пыль от верб.

Не о ком писать. Об императорах и живописцах, о полководцах и музыковедах пишут миллион книг, а день маленький. Сяду за машинку, высуну из-за нее голову — рабов раз, два и обчелся, да и те вне эпизодов.

Рюмка с водой помогает желудку.

Трактат Минского времени, Фай Жуйшен, «Море туши». Он пишет:

«Важно, чтобы тушь была черной — словно лак; легкой — будто облако; чистой — как вода; расплывающейся — как туман в горах; благоуханной — словно прелестная особа в свите императрицы».

О, как я понимаю Фай Жуйшена!

В чем ошибка рабов? Не происхождение не дает им вершины, а не моют стекла годами, потому что не видеть — их натура.

И все ж, как божествен костюм каменщика — от начала веков: сапоги, фартук, две руки, ремешок на волосах, мастерок, раствор и камень. Образ мастера создан и целен.

В лунную ночь — цвет египетских пирамид.

19 апр, 3

Рабы — это мелкая буржуазия. Буряты — это трубопровод с Востока на Запад, по нему течет кровь 96 желтых и пегих национальностей. Рабов озолотили, и в сакле работы от них не дождешься. Да и в эротике рутинеры, вместо пыла носят детей, армиями, и выпускают их в свет посреди белых людей, мало плодных. Посреди зимы!

Да уж конец.

Конец, конец зиме-тьме, светлеет окно. Уже день куда больше, чем в прошлом.

27 апр, 3

Всю ночь мылись и бились низкорослые женщины, как татарские лошадки. Я книга, я пишу ее — новая, у нее нет ни достоинств, ни недостатков. Был генерал Левенвольде, подъехал на машине, в шинели. Вынул свою военную книжечку, а я: — Проходите, генерал Левенвольде, в кресло, у Вас ко мне разговор ведь. Он спросил, как я догадался, кто он. Он был польщен тоже; а я сказал, что 4 млрд людей не могут додуматься, кто я, а мне-то уж чего проще знать, кто он, исторически.

Я вижу полчища, новые и новые — рыб, плывущих со щитом на спине и с мечом в руке, и китайских императоров — кистеперых, рисующих быстро-быстро кисточкой и перышком в расцвете девона. Кто, стилист, не склонит голову к правому плечу, читая: «Энергично развиваются тайнобрачные растения». Чья фантазия не дрогнет от догадок? Чего не пишут, в Медицинской Энциклопедии есть: «Горная болезнь — своеобразное страдание». Афоризм, и ни слова. Или ж в учебнике той же страны, охваченной д'Арвинизмом: «В 1568 г., стремясь обезглавить аристократическую партию, испанцы устранили Горна и Эгмонта». Обезглавить — оставить без головы. Без головы были оставлены Эгмонт и Горн, графы. Их партии ничего не сделалось, здравствует по сю.

Эти поэтические неточности-то и приводят к тайнобрачным союзам, цель которых — обезглавить. Поэтому столь высоко союзы держат штандарт д'Арвинизма.

Три мастера, у которых Дух Божий, и три, от которых трясется Земля:

Платон,	Аристотель,
Леонардо,	д'Арвин,
Шекспир,	т. Алстой.

Дух Божий — открыватель мировидения, свет, сфумато, полубог. И это Платон, Леонардо, Шекспир. От которых трясется Земля — это люди, мастера, претенденты, вместо духа у них разум, а вместо стилия (сфумато) — школа, схоластика, реализм.

Д'Арвин — главный претендент на мировое господство, и им тягостится История. Уж человечеству грозит не мегатонная бомба, а эволюция.

Некоторым кажется, не доберутся. Как сказать — сейчас под штыком 500 млн солдат в белых халатах, каждый восьмой, на касках у них вензель ААА, у них подошвы тяжелые и револьвер дальнобойный, в чехле шприц с инъекцией, на поясе у левого бедра, чтоб вынуть правой рукой и вонзить шприц в ход Истории.

А уж потом напишут.

3 май, 3

Множество юных под окном, в руках гитары, поют вполголоса. Среди них в центре круга — девушка, в шинели, а грудь, если смотреть сверху, — в разрезе колышется. Это я вижу. А что, если б она сидела на полу (каменном, с ковром) у меня?

Дни проходят, а тучи еще не прошли. Жить мне не дают. Брось рюмку в море. Луна блестит, как окна Земли. Тела убитых убирают в Землю, чтоб она была чистой, будто б ничего и не было.

Скалу начинают заселять иностранцы, кажется. По внешнему виду это одетые в штаны буряты и литовцы. Кто-то из них.

Кто будет столь же знаменит после космонавтов? Звездочет.

Размахнусь я на ссору всерьез, но с кем? Вспоминаю о чем-то и о ком-то — как ничего не было и никого нет. А что-то было, что-то было все ж. Были годы и воды. Прошли, утекли.

Глиняный день, с желтизной. Двое мальчишек в гимназических мундирчиках швыряют в пруд палки и банки. Швырнет палку и ныряет за ней, несет в зубах другу. Швырнет банку и катается в ней, как в пироге.

13 май, 3

Скала в белом, а над нею много голубого.

Не идут с дудочками антилопы. Что такое антипотоп? Это без воды. На кухне — колбасы, ножки свинок, студень, орехи, облитые сиропом, младочеснок. Не еда.

И это б стерпел, но нет ветра! Не дует в окна, а из них в угол, а в углу б живой жандарм был бы, как Эжен Ионеско, носороговат. Но и его нет.

20 май, 3

Оделись в пиджаки, а как же, холодит. Девица вдоль улицы, ноги как бутылки с розовым вермутом, как у свиньи, молоденькой, неопаленной; пьяным-пьяна. Где шьют белые брюки? Отчего все ходят ко мне в белых брюках и у всех брюки — надеты? Желтая собака внизу, как сосна. Подошла к подъезду Скорая Помощь, флаг — скрещенные кости. У подъезда машут ей руками — до скорых встреч!

Толстяк бегом, марш-марш, руки рикошетом отскакивают от брюха; толстяк наливается кровью.

Синее небо, башенный кран и водяное окно! Дома поднимаются вверх плоскостями, как бы падая. Гаснут окна.

По ТВ: девушка с толстой шеей. Интересно, казнь — это наказание? Почему здесь не хватает бумаги? Потому что здесь все живут только на бумаге, иной жизни у них нет.

Трое мальчиков с велосипедным колесом бегают вокруг пруда. Его заруют, его не станет. В пруду уж есть остров, на нем белка живет, с хвостиком-колесиком, зубы у нее, как у буйвола, круглы. Белка — прототип Даниэля Дефо, а буйвол — Альфонс Доде.

Сирень цветет, желтой акацией пахнет. Простыни бело-влажные. Нео-пододеяльник, трава изображена с ромашками. Мило.

А в пруду едет рыбак в надувной лодке, весла широки и коротки. Для нежно-салатных трусов еще холодно, и рыбак в бурке. Это он по ТВ вчера утешал дочь:

— Девка ты красивая, безногая, все на тебя смотрят, кому-то и пригланешься.

Заводить друзей — множить врагов.

Ужин: твердокопченая колбаса, зеленый лук, сыр швейцарский и малосольный огурец, хлеб, апельсин, чай, печенье.

Летит воронье перо в окно, новенькое.

— Что новенького?

— Перо воронье, пушкинской поры.

По радио поют песнь: «В нашем притоне пьют вино». Ложусь спать. Леня зажигать ночную лампу. А, ладно, зажгу утром...

Вина фалернского нет!

3 юн, 3

Жизнь сквозь стекло.

Не Я виден, говорящ, тепл, но — сквозь стекло. Хорошо смотреть, думая, что никто моего стекла не видит, что я изолянт. Все видят, изо нет. Если передо мной стоит ТВ и я смотрю в экран, смеясь над ним, то почему ж в мою дурную голову не придет, что в этот экран работники ТВ смотря на меня не насмотрятся? Так и есть.

Первым это понял Леонардо, но то был век Высокого Возрождения, поэтому в стекле он видел не изоляцию, а защиту. Он уж работал над таким составом, чтоб, покрыв картину, защитить ее тончайшей пленкой, истонченнейшей — от прафанантов. Чтоб как лак, но не лак, а щит. Лак растворим, а стекло живет долго. Но Леонардо отвлекся и изобрел подводную лодку, а к ней водолазный костюм. Смотрю в окно: сейчас такое стекло не сделать, времена не вровень с талантом, да и техника не та.

Сквозь стекло жизнь не проникает, кричи — не кричи, в открытый рот никто слова не скажет.

Ливень с громом. Взвесь свое мясо и спроси у стрелки, сколько ты уже весом; то-то, тяжко. По ливню плывут лодки, весла как лапы. Людей нет, да их и нет в действительности. Молния бьет пылающим ломом, выдюжим! Не дрогнет дуб, о, если б после грозы — зарю!

Параллелизмы:

Леонардо считал, что легкие Земли — в Италии, в венецианских бухтах. Достоевский в Мценском уезде слушал ухом русскую душу, это сердце Земли. Что ж. Ведь и у эллинов орел терзал печень Прометея, и это была Грузия, печень Земли. А один философ-эстет говорит о тех, кто идет с топором из угла в угол планеты, рубя на пути жизни: «Это двигатели двигателей, это соль соли земли». Это эстет Ч. о террористах.

— Жизнь приходит и уходит, Людмила Льдовна! — поет Герман Плоешти по ТВ.

Он одет в синее.

— Боюсь я в юбке в жизни цвествь! — отвечает Людмила Льдовна,

поя. Если присмотреться, то тех, кто поет по ТВ, намного больше, чем тех, кто хоть словечко смог бы вставить меж этими голосами.

Питер Брейгель I. Воспоминаний нет, внешность не сохранилась. После смерти осталась его вдова Мария, с нею два сына. Мария — рисовала. Теща Брейгеля, мать Марии — известная миниатюристка Майкен Вер-Жюльст. Сыновья — Брейгель Адский и Брейгель Бархатный, с именами. Из семьи Брейгелей вышло 26 живописцев.

Сам же Питер Брейгель Старший, Крестьянский, знаменит тем, что первый написал портрет т. Алстого во весь рост, за плугом, см. холст «Падение Икара», слева пашет, это т. Алстой, его физиономия в молодости, его плуг. Лео т. Алстой. Мультимиллионер, ел траву, учил псарей нотописи и стихосложению, рост низок, с бородой — бледно-лиловой. Женат, имел 16 детей. Из семьи т. Алстых вышло 169 беллетристов.

Леонардо да Винчи. Редкий рост для итальянца, выше всех, вьющиеся волосы (по спине), золотобород, с лирой ди браччо в руках, серебряной, в виде лошадиной головы, сам делал; ходил в коротком красном плаще. Шахматист, антилюб женщин, легкоатлет, здоров, бездетен. Леонардо да Винчи не знаменит, он равен богам.

7 юн, 3

Если все обозримые планеты необитаемы, то Земля и есть Бог, а все на ней — атомы Бога.

Земля — это голова Бога, туловище же составляет Млечный Путь. А наши души, живые и мертвые, — это свет Земли, нимб. Да и свет звезд Пути — свет душ, вот они и неисчислимы.

Хозяин ста миллиардов звезд диаметром в двести двадцать тысяч световых лет — это уж не Бог, а НАДБОГ.

13 юн, 3

Детектив:

— В 9.13 он вышел из дому. Денег при нем не замечено. В нарушении правил уличного движения не замечен.

В 11.27 вошел в парфюмерный магазин «Роза Болгарии».

В 11.29 вышел из «Розы». И тут же упал. Денег при нем не замечено. Никто в него не стрелял.

В 11.30 подъехала «Скорая помощь» и увезла. Пули в теле не найдены. Следов ядов нет. Все органы в норме. Запаха нет. Ноги чистые. Денег на трупе не найдено. Голоса нет. Пульса нет.

В 12.00 назначен к трупу терапевт для наблюдения.

В 21.00 — он вздохнул.

В 22.00 — второй вздох.

В 23.00 — вздыхает.

В 24.00 — спит. Трубка во рту не обнаружена. Денег нет.

В 9.10 утра — просыпается. Полковника не узнает. Следов пьянства не обнаружено.

В 9.13 выходит из клиники. В груди что-то клокочет. Следов слева нет.

Как раз в 9.20 по отвесной скале полз человек. Без веревок и альпенштока. Мы оба смотрели с интересом — я и хирург Г. Рурих, еще и Аве-Аведь, психобобка. Они от меня опять не добились, вот мы и смотрели втроем в окно.

Нужно отметить, что к этому утру скала достигла 36 этажа, то есть низенькой не назовешь. Этот (кто?) лез быстро и гордо, будто он гвоздик, а стена магнит: не отваливаясь и не летя головой вниз. Мы смотрели, смиренны.

— Вот, Аве-Аведь,— поведенье! — сказал я. — Лезет, будто он из чистого золота!

— Это с похмелья,— сказал хирург Г. Рурих. — Магазины открываются в 11.00, вот он и коротает время, будет лезть до 11.00. А потом сойдет.

— Но он может устать и упасть,— возразил я.

— Не может,— сказал Г. Р. так просто, что я понял нелепость моих опасений.

— Столько сил! — сказал я. — Он идет по скале вверх на четвереньках, как император. И никто не смотрит! Как будто это обычное дело!

— Да уж! — сказал Г. Р. — Взгляните левее.

Левее по скале, столь же отвесной, лезли вверх не менее тысячи рабов-кирпичников, скала буквально кишела ими!

16 юн, 3

Холод разразился ливнем. Кто будет? — он идет, густой, гостевой, угол 45°. Шторм. Я бездыханен. Я дошел до приблизительной сути — бессмертия.

Ожидая девушку, я куплю бутылку коньяку ей, как гренадеру. Коньяк — напиток дубовый, ветренный; пойло из рюмочки чистой; она выпьет и пойдет в ванну, и будет лежать в воде, как в жилетке, без нижнего, с глубоким вдохом, чудная дочь земных племен.

Резкий упадок сил, сон, пусто.

Солнце зайдет и зашло. Белый стакан из малиновых роз, дикие, эфирные, с запахом колотого сахара; шиповник — цветок библейский. Не пишу, стакан в белом, футляр стеклянный, из широкого жерла вверх — алый цветок с одеколоном «Роза Зари», лизни — насладишься. Цветы похожи на книжки, в которых рисуют рыб (гладкие).

Ливень был многоводный, голубой. Есть рай вдали, где молния бьет синим, где девушка-гренадер с заступом в яме — стоит, как Иорик, и поет по нотам; гнусно. Чтоб стричь головы бутонам роз — моему стакану проз. Метафора и маньеризм ходят, близнецы, по ниточке.

Сколько уж женщин лежало в ванне, быстро вертась. Включая воды гор. и хол., регулируя пыл сердца, и вдруг им — как ВЗВИЗГНЕТСЯ. Вот оно, рождение метафоры и смерть манер: если в тело молодой бэби-герл со школьной скамьи всадить вертело и крутить ее в ванне со скоростью бури, что она крикнет в лицо року? Как фильм об Офелии, светясь волосами, кто, цветочный, дал ей ось земную, и лопнули полные губы этой нивхи — мы воочию убедимся.

17 юн, 3

Кто выше женщины, иди же ниже, отбрось сей абсурд. Может быть, она и есть самая высокая в том, что ниже всех.

У мужчин срок бесконечен, у женщин срок женственности — 40, за ним один позор, если ей нет остановки.

Метод изотопной радиографии.

Исследование 102 скелетов древних женщин современного типа, живших в эпоху верхнего палеолита, дало: 59,3% — погибли у костра в возрасте от 21 лет; 24,5% — погибли в бою не старше 14 лет; примерно 10% погибли на ложе любви в возрасте от 15 до 20 лет. Ни одна из женщин не умерла своей смертью. В Древней Греции в период поздней бронзы и железа средняя продолжительность жизни женщины составляла 18 лет, в Риме к началу н. э. — 21 год. Как нормально!

Лед долбить трудно, скалу сверлить еще тяжче, а на ледниках нет жареных козуль с луком, но в первую же археологическую экспедицию

с размахом, по примеру Трои, обнаружат, что «колыбель культуры» не южная жизнь, а нордический ромб здоровья.

Люди белой кожи после Библии не написали ни одной книги — равной.

18 юн, 3

Снять скальп лесо-водо-гор, земную кору, что под ней? — Подкорка, чистый разум, императив. Огонь.

Мы идем, идем, пылая, к ядру.

Я помню свою смерть и брошенный мною труп у взлета, его-меня охраняли бригады матросов в белом с ножами, а солнце всходило 2 раза в день, оно красило кистью стекло (оконное) — фиалкой, церковной, пел хор византийских мантий; пурпур морской. И обливало меня жидкостью солнечной, пот, пот. Тело не то чтоб отнялось, а жило — не моим, незнакомым и забытым. Матросы говорили по-латыни, я рад, некоторые по-римски, не понимаю. Я видел тело (свое) в виде Римской империи (сверху), но голова — не Рим, а Пиренейский п-ов, а вся-то Италия — Рим, Три гостиницы, Аппиева дорога. Стоп. Прошло 46 лет по смерти Цезаря, — стоп. И вот уж 33 со дня Рождения Христа.

Лодки — это Рим периода расцвета, при, но без Христа — есть народ и нету народоучителя, жизнь замкнута, а потому цельна. Конец личности начинается с шага, он ширится и идет в другие народы, культ дробится в культуру. Там, где все принудительно грамотны, там поэтов нет, а где их нет, там начало распада языка, то есть гибели народа, Рима.

19 юн, 3

У моря девушка идет, одета в белые листья из ткани.

Чисто ритмизованный стиль прозы — обречен, он утомляет на большом пространстве, а на малом выглядит чуждо и вычурно. Не идут ведь в бой прогулочным шагом. Ритмы прозы в ином, как у Ксенофонта, — это шаг и песнь, центр книги штурмуется, как несметные вражеские окопы, — шаг, полный рост, штык и песнь. Вот чего боялись варвары — греческого шага когорт Александра Македонского, Велико-го, Божественного, и его пеана, это сокрушительно действовало; в последующие времена шаг назван психической атакой, но он неповторим. Атаки захлебывались, потому что вторичны.

Даже высокоразвитые персы неслись вспять от ритмичного, бешеного пенья греков и эллиноидов. Шаг войны был возведен в искусство, а потому войны те — освободительные.

О девушке, убранной, затканной белым листом, — идет по воде, не поя, и больше на воде нет никого. Поздно. Вечер светел. В море лодки. Много их; ходят своими путями, ловят ветры. Одна пойдет в Рим ночью, вторая взлетит к Ра, чистому; третья лодка сдуется с волн в вечность и с ней рыбак с разбитым лицом, с белой повязкой на правой ноге, на лодыжке, в повязке спрятаны деньги, примотаны к ноге, с ними он хочет уйти от угрозыска на смех курам — в тюрьму; а четвертая лодка одна-одиношенька. Она-то и палит из пушки, всех людей пугая летящими по городу ядрами, на флагштоке белое полотнище, на нем дегтем:

«КАПИТАН ШАЛУН ЗАУМЬ».

Я болею все меньше, все больше я здоров, хожу много по комнате, культура римского шага. Сирень-черемуха! Дожди сливаются с-над морем в пески, желтые, морские.

Культура римского сада. Уживчивость римлян с рабами и плебеями. Угощенье товарищей. Кормление бедноты. Суд над солдатами, если трус, без ханжества в военном деле, никаких орденов и медалей, пла-

тят чистой монетой; за отвагу и ум платят деньги, а не дешевку в виде позолоченного бубенчика на грудь — дураку.

Сколько римских войн! — и ни одного имени простого солдата — за всю Историю. Не это ль величие духа римского народа, немелочность, несуетность его. Это скоту в награду вешают бублики, шуту еще. Рим платил наличными, а то есть сутью — деньги и земля, а то есть дом и свобода.

Море стоит высоко, и горизонт поэтому высокий, выше, чем осенью. Вода залила все отмели и косы. Желтый песок у дома уходит в морскую воду.

На шоссе раб-электро, нос как негатив, вынул из кармана штиблеты и полез на столб, руки-ноги как с когтями, выпущенными. Сел; пусть посидит. Машина стоит на подножке, как солдатский сундук, как салатница, из нее — головы, штук множество, не сосчитать. Так и торчат.

Дети висят на балконах, как сосульки.

Вороны летают с тяжестью в туловище. В море много силы, солнечной, и в бурю, и это с тоски. Радость и не даруется свыше, она ведь — верность.

Верность жизни. Чего я жду?

20 юн, 3

Рана на животе затянулась, тоненькой кожей, человеческой. Выйду к окну, а дальше не тянет. От слабости? Не так уж слаб, нашел в кладовой гирию и поставил у стола; писал и невзначай за гирию рукой хватался и подбрасывал вверх, то за дужку, то на ладони; тешился.

Пишется: увидел чайник, пишу — вижу, увидел серебряную ложку, протянутую мне, в ней море, а над ним буреветник — и тоже пишу, вошел в ванную, вижу в ней Нонну, лечу к столу, пишу о ней. Потому я и о гире пишу — есть гирия, вынул, бросаю, камуфляжную, и пишу про это. Как реалист.

22 юн, 3

Медленные дни, весной быстрее. Редкий вечер проходил, чтоб не вылетали 2—3 девицы из окон, со скалы, вниз, весной. На камни. Внизу — они вставали и шли вверх. А кто не мог, шли вниз, в землю, в могилу, а на Новый Год, помнится, из окон вылетали залпами, как снаряды. И т. д.

22 юн, 3, нули часов, длина дня, читать — тучи гонять АРВИТ РООНКСС.

Хроника хуторов.

Древнеэстонская рукопись, цитирую, да она довольно известна — древним эстонцам. О птице Хлое Тервист:

«Из всех птиц — одна живет на дубе, ест соловьев. В дуплах прячет хрустальные шары, желтенькую ложечку и каску от пуль. Соловей поет, а Хлоя Тервист схватит за хвост и ест, — как зубная щетка! А рот моет мылом Вээ и пускает мыльные пузыри. Живет одна, боится детей, Раймо и Сильви, дети — люди века, нечем пугать».

Дождь отвесен, как стена, то есть идет, как стоит. И вдруг обрушивается всей водой в море — и нету его, ни капли, а по небосклону — угол голубой.

Солнце заходит, золотой таз, музыкальный.

Рыбы состоят из концентрических кругов; ем. В зеркале вижу два рта — рот мой и рот рыбы (на вилке!). Круг луны, грустя, строг. Ранняя луна, медная и кружащаяся.

23 юн, 3

Душа человеческая одна и ясна, друг мой, а жизнь — это на ней мундир.

Пойду в лес хоронить часы, нашел на кухне, в ведре.

В пустом, вымытом до блеска ведре я нашел и вынул их, состояние хорошее, только об стенку раскоканы. Стекол нет, стрелок нет, циферблат гнут, но заводятся.

Дошли до точки, суточной, и стоп, как полагается. В этом есть зловещее. Кто разбил часы, в моей кухне? Чтоб разбить свои ручные часы, нужно дойти до многого.

Чтоб ударить об стенку время — с ручным ремешком, — нужно знать, что время есть, оно твое и его нужно разбить.

Но я пишу языком оратории о том, что делается повседневно. Скажем, флотоходец-матрос Сарданелл Кефальчук войдет вечером в свою кухню и сядет за стол. Что далее? Лампочки нет — над ним, и не ввинтить, потому что лампочек вообще-то нет. Что станет матрос Кефальчук ввинчивать в пустой патрон, чтоб все запылало? Он снимет часы и ввинтит.

Далее.

При слабом свете циферблата с тусклым стеклом матрос увидит у рукомойника пустое, вымытое до блеска ведро, схватит за верх и подвесит к патрону. Блеску станет больше, но свету не прибавится. Электрификация не та. А часы из патрона выпадут в ведро. Тут подойдет время и мне выйти на кухню, найти часы.

Труп матроса уж, видимо, сожжен.

Я поискал след от удара — часами о стену. Столько наслежено тут, что как отличить удар копьём от удара мордой об стенку — девушки в шелках? Нет такого способа.

27 юн, 3

Часы в ведре. Время звенит в ведре, — говоря напыщенно. Рабыня П:

— Муравьи унесли тот, старый муравейник, и на обломках строят новый мир.

— Что мне до муравейника? Кто он?

— Кто-то сжег год назад, а муравьи опять строят.

— Слушай, П-рабыня! Ты совсем от рук отбилась, при чем тут муравейник?

— Но часы хоронят в муравейнике. Лучшие дни своей жизни раб-римс проводит в муравейнике, сидит в нем на заду.

А часы?

Выбросить их в ведро, и все.

Но они в ведре.

Вынести ведро в мусоропровод и выбросить часы из — в!

Не нужно метаться. Помойся.

Хожу, как хищник, из комнаты в комнату, мытый. Побрился к ночи, в зеркало смотрю, антилюбуюсь: нищ я, Господи, как ночь!

Кто-то сказал, нищета — еще не доказательство гениальности. Ем яйцо. Супик молочный с клецкой; кусочек колбасы; помидор в стакане помыл, но есть не стал. Свежайший окунь! запеченный с тмином!

Гастронавт — я!

— О, муравьи делают курган из стрекозиных черепов, вынимают глаза и ставят в обсерваторию, в них много стекол, и у одной-то их ужас сколько! Стрекоза смотрит в мир сквозь 86 хрусталиков. Муравьи застегивают крылья, выхватывают из озер стрекоз, садятся им на спину и летят в муравейник. Туша ж разделяется (уже убита!); крылья — дар Императрице, чешую — головастикам в пруд, ноги сушим, на зиму в кладовых, а глаза идут на нужды мореплавания и астрономии.

4 юл, 3

Меняется не Время, а термин. Царь у ассирийцев — пастух. О живущем знают лишь те, титаниды, людоеды трапез из водевилей эволюции. В Архангелогородской губ, в 1754 г. нашли кость (поморы), обоз Шевалова привез ее в С.-Петербургскую академию вместе с М. Ломоносовым. Осмотр, и результат точен до смешного: кость — это человек, рост 34 м. Это был голеностопный сустав, его уничтожили через 163 г., при подведении итогов. Но кости есть в Сибири, на Чукотке, за Полярным Кругом у Друга, — кишит костями. Рост человека, жившего в эру до ящеров и при, — 34 м. Вопли восторгов о великорослых НЛО — 3 м! — карлики, вырожденцы еще тех миров. Рисунки на скалах со всеми их загадками, что не дотянуться и великоваты — это он рисовал алмазным перстнем и не вставая на цыпочки. Потом он вымер, ибо убил животных и съел друг друга, затем из глубин вышел д'Арвин и построил новый мир из людей более маленьких и животных поменьше. Скука, скука, за такой минисрок эволюция от 34 м до 1 м 50. Уж не наказание ль это? От саблезуба-махайродуса до котика-хвостикомвертика? В пылу полемики мы и акулу произведем от кувалды.

Звезда потому и звезда, что мы ее любим. Не люби ее — какая она к черту звезда?

Звезда — это замкнутая в себе система атомов гения.

Волна — светлый свод.

Все путаю ручки у женщин: то ту возьму, то эту. За неделю луну не видел ни разу.

Небо мне не любо.

Простая поющая жизнь — как печь.

Острый угол совести, я черчу круги своя.

Свет мне не мил.

Муха. Убил и отрезал голову бритвой «Жиллет», вот и Мертвая голова, знаменитость, и среди бабочек, и у дивизий.

Нужно ль шоколад есть по утрам или ж его пьют для бодрости? Не забыть выпить стакан. Потом: застегну шубу, поправлю боевой шлем (меховой), руки в сторонку, как крылышки у цып-таб, и, как овце-ворон, из комнаты в ванную топ-топ; свист воды душевой над головой, уж столько раз описанной; с замысловатостью.

7 юл, 3

Читка взятяжку. Хроника хуторов, там же, глава 3б:

«Дуб и двор у фру Эл. Все тут, что ни вечер, под дубом. Винцо, рюмки, корова Райя, две свиньи — Димма Ко и Мишша Евс, тут же, как бараны, обтянутые кожей, свиной. Овцы блеют за колючей проволокой, — гетто. Бабушка Рози. Сто лет назад, когда родилась мать всех эстонцев фру Эл, бабушка Рози уже ходила без зубов и с клюкой. Известна склонность эстонцев к пению в кругу. Август, бургомистр и глава ордена овцеводов, поет сагу:

— Играй, Энно, греми! Мы шли из Египта в Ассирию и оттуда с овцами — сюда. Много весел, а лоцман был ОН, вывел. Сто мужчин и сто женщин — эстонский народ, сто овец-евреек и сто ассириек — на новую родину. Мы прошли Суэц, Гибралтар, Симплегады, обогнули Пиренею и т. д., нет под рукой карты, не перечислить. Мы шли, не сходя с борта, рожая ягнят, готовя шашлык. А пили винцо, синее с 1 глотка, а с 10-ти оранжевое. Те, кто не выдерживал винного жара, загорались на палубе; в них били из шланга огнетушителями. Лоцман, я говорю, был ОН, и ЕГО знал весь морской мир, но никто не знал, как ЕГО зовут. ОН провел лодки по Балтике и речушками, озерами — к великому озеру Цюхаярве. И вот, оставив всех пировать и петь по-эстонски, мы вдвоем погрузили на новую лодку овец и отправились через озеро Цюхаярве в Эстонию. Кому неизвестна цюхаярв-

ская волна? Как раз был озерный шторм девяти баллов, лодку низвергло. ОН был весел, а потом лодку перевернуло, и ОН утонул».

Конец саге.

Угли под дубом горят. В тучах луна волною. Лягушки говорят, как лгут. Собаки поднимают башку, сквозь зубы свистят. Конь стонет. Жгут окошечки хуторов и фонари.

26 юл, 3

Воскресенье — ввоз банок в скалу, режут ножом крышку и вынимают еду; и едят.

Еще библиотеки!

Трагикомедия, эпохальная — всяк раб держит в доме бутылки и книги, на одной полке, как ценность. Выпьет бутылку «ИКЛМН», сядет у ТВ, читает книгу И. Кэлемен «Высокоидейные формы слога у поэтов раннего ренессанса при строительстве скалы и турбулентность раб-римсизма». Это-то ладно, пусть бы. Но книги копятя, а пыль с них не сотрут — не тот народ, характер слишком силен. Еще: привозят в скалу ванны с четырьмя ножками, рукотворны, в них белье стирают. Мыться ж ездят в баню, слякоть на лавках, сядь и схватишь молодых вошек, не дойдя до дому уж зачешешься, как с олимпиады, нужно бить градусник и мазать брови ртутью. Еще долго в ваннах мыться не будут, потому что комната. Ванная — лишняя комната, и складывают домашние драгоценности — тапки, тяпки, тряпки, в ванной же ставят варенье и огурцы. Не мыться год — норма у раба, а не моются вообще-то до лета, поедут к морю подале, и там в тазу вымоются, и обратно в дом, до новой жизни. Я ж вижу, кто мытый, а кто невымытый. Одни солдаты в белых шинелях моются раз в месяц, бичами гонят их в мыльню. Строители и их жены втирают в тело олифу. А старики и старухи лежат у порога на подстилке, где им мыться, они томятся.

Про книги — это общее бедствие. От сырости, пыле-грязи, оттого, что печатаются на дешевой, гнилой бумаге — в них заводятся черви и бумажная моль откладывает личинки, гусеницы едят книги, да и полки. Вот пройдет зима, растеплится, вскроют окна, и несметные тучи туч взвоятся — это моль. Книгохранилища рабов, пытающихся держать шедевры эстетики и эмоций божеств, — готово, съедены в одну зиму, столь любовно носимые в сетке рядом с капустой и трусами для женской тоги, и начнется у рабов — жизнь, человеческая, без книг.

Ждать недолго. С исчезновением нефти к войне нужно будет готовиться много лет и строить парусный флот, чтоб вторгнуться в Америку не на галерах, засмеют ведь.

16.20, светло.

Народ-читатель взял книгу, а из нее черви, ручьями; стряхнул в мусорное ведро, выплеснул в мировой океан. А книгу поставил на полку, пусть едят дальше, ценнее будет, букинисты дукат дадут. Мутнеет. Нет лодки, а то всплесков было бы, шуму на весь мир! — и лодка несется по пруду, и озеро в розах, и человеко-бог выходит из лодки и идет по волнам — к нам! А мы моемся в тазу, чистотелы. И вот во всей чистоте мы идем к нему. И вот пруд — пред нами, и лодка, и никого, а на валуне чашка святых слез, а в ней — железный рубль — рабу, на опохмелку, чтоб не упал на пол, пока строит мир.

Ноги его стояли как локти!

9 авг, 3

— Противно, любят только себя.

— А ты хотел бы, чтоб любили только тебя?

— Да, я хотел бы. Меньше было бы себялюбцев.

Откуда-то взялись черные жуки — в крупе, на стенах. Каждые 30 минут встаю и убиваю 30 жуков. Сколько же за день? Запах едкий.

Под покровом ночи они выходят погулять по белому — в ванную, по потолку и в раковину. Убиваю пестом из ступки. То, что я убийца, меня не смутит. Демографические взрывы влекут войны. За сутки я убил 700 особей. Убьешь всех, выйдешь смыть с рук, войдешь — они опять те же, там же. Оживают они, что ль? Нет, оживать жуки не могут хотя бы потому, что никто не оживает.

Еще комары, буйнопомешанные, вокруг ног вьются.

Городские капризы. Если б проститутки у ног за деньги, как в книгах, то у них честные чувства — денежные. Но таких тут нет. Плати борзыми шенками. Хуже всего простолюдины, рабы, они народны, они идут с молотом за пазухой пить водку в семью. Криминалисты! В ушах звенят похоронные марши, минорные, успокоительные. Приятно.

— Чего ты плачешь, Я-рабыня?

— Когда я не вижу тебя долго, я начинаю плакать по вечерам.

— Когда меня нет вон какой срок, целые народы по ночам рыдают.

По ТВ: пловцы стоят у тумбочек, как у пушек.

Ночь, третий час. Великая иконопись в мире была как моровая язва, как высокая болезнь, всенародный (у всех народов) гений живописи.

Варю спагетти для курицынового бульончика. Случайно съел жука с хлебом, привкус невкусный. Жук, ты, жук, ты — жужжук! Посмотрел в Энциклопедию. Пишут — несъедобны эти жуки.

Квартира приобретает человеческий вид жилья. Еще бы! За один год два раза взламывали дверь.

Чем отличается швейная мастерская от пельменной? И там, и там ходят по залу девки в белых лифчиках. Забавный палиндром:

АКУСТИКА — А КИТ — СУКА.

21 авг, 3

Я знаю, без трусов не выйти из дому.

В маленькой кастрюльке для кофе я 6-й час кипячу трусы. Они белые, т. ск., нижние. Где-то заразились розовой краской. Не выкипачиваются.

22.20. Ровно 12 часов я кипячу трусы в кофейнике. Результатов нет, резинки розовые. Открыл крышку — уже и пару нет, вода выкипела, трусы сухие, а не горят. Почему? И корочки поджаренной нету. Налил воды. Опять вскипают.

По ТВ: поют женомуж, пара. Фамилия их настолько проста, что не запомнишь, что-то вроде Калинины или Малинины. Поют песни, с улыбочкой, прислонившись головами друг к другу, как на фотографии, молодожены. Чистовыбритые — у него щека, у нее бровь. У этого ойк ко лбу приклеен и висит, как нос, а у этой губы, как узда, слюнявые. Поют, щемящие, под музыку, пошляки.

Можно уже писать новеллу: как кипятят трусы.

Я поставил желтую кастрюльку на огонь. Пусть тушатся.

Вошли в моду нижние рубашки, сорочки, женщины всех возрастов выходят из дому в нижних сорочках и идут дальше, беспрепятственно. Хорошо хоть не босиком. На ляпочках, на бретельках, соски выскакивают, — девочкам очень идет идти в нижнем, светятся, как рентген. А в возрасте очень не идет, плечи в тесте, шея в тесте, это антисексуальный окрас.

29 авг, 3

Яйца мне есть нельзя, но я сейчас съем три штуки. Больше ведь ничего нет, а от лука (зеленого) я устал, да и лук мне нельзя. Хлеб черный нельзя, и белый нельзя, и сухари нельзя, как по поговорке — она хорошая девушка, но подлая.

А позавчера снилось, что я сумасшедший.

Пруд поломан, в комнате пасмурное утро, без лучей.

Как хорошо быстрое сверканье глаз у детей! Ребенок пылен и заплакан.

Моря бы мне! Шума! Дождь был днем, асфальт сохнет.

Говорю я логично, но пылко, как сумасшедший.

Стрекоза — как летающие ножницы! Балкон открыт, внизу роют землю. Пруд — как шар горящий. Съел три шашлыка и супик-харчо; и спал. И во сне строят, вырывают деревья. Жизнь движимая и медвежья.

1 сент, 3

М-рабыня купила сома, в свободной продаже! Купила баранину, шпигованную яйцами, кабачки и сушеные сливы.

Синий день был в святых скалах у нас.

Шоссе похоже на воду, а вода на скалу, которую все строят, и ты тоже.

В ванной висит, свободный, женский телохранитель — халат. Он женихуется.

Кто-то третий час моет одну ложку на кухне.

Кислые стекла, дождь. День был, а сейчас осень. Спелые яблоки похожи на пентагон — пятиконечную звезду. В воздухе одни микробы, как во всем.

Дочь Солнца Земля — не Солнце. Дочь — не мать. Глубокая, сексуальная мысль, пост-фрейдизм.

Больное, больное у меня все. Сколько может средний человек прожить без меня?

Посмотрю в пруд. Посмотрел бы! — его уж нет, одна вода. Возродится вновь, лишь бы весна пошла. Весна пойдет! По всему двору роют ров — для расстрела рабов. Втащу я козью шубу с вонью козьей и лягу, усну на ней. Ох, трясет меня от яда, ох, ох. Что-то съел ядовитое; ручки вспухли, вместо костяшек ямочки.

По ТВ: обожествление ученых. Это катастрофизм.

Артистизм Сарданапала и Тимура еще поблекнет пред несгибаемой, оступелой мощью экспериментаторов. Людей в их душе нет, ни одного. Уши опухли, круглые, как с геометрической скульптуры. Не сплю. Сумасшедшие, узурпаторы, террористы, ситец де Сада и рода Мазоха с терпением, Враг Бога — все это свои; наибольший ужас — обыкновенные люди, специалисты широкого профиля.

15 сент, 3

— Пугать Вас не буду, Вам грозит повешение.

Девочка с обручем, римская разминка, — вставляет в обруч руки-ноги, как Леонардо, и катится со скалы.

Оказывается, пьянство считают пороком. Вот бы не подумал.

В Египте казнили осами, привязывали к столбу голышом и обмазывали (соответственно) ветвью с сиропом.

Под скалой появились железные ржавые трюмы для мусора. В центре двора — дом для игр в карты, без окон, каменный тес; о нем я писал, там сжигают кошек. Дверь с висячим замком, а значит, внутри играют еще и в карты.

Чаек нет, уток нет и не будет никогда. Пруд пропал. А будет тут не пруд, а разливанное море грязи. Сколько ни рифмуй соль-сельдь, рыбы нету, грязь ее гробит.

Глина пахнет яблочным кремом. Жизнь с моющимися полами. У вороны крылья острые, как ногти. Смело сворачиваю рукописи и жду Судного Дня. Людям не свойственно жить в большом множестве людей, так что перенаселения не будет.

День светел, дневной. Всюду банды свирепых стариков, что-то творится, неостановимое. Высшая справедливость на Земле — смерть, всем, без исключения.

Неужели от еды толстеют?

В стекло впаяна капля стекла, как сучок на фанере. Лицо женщины очень легко угадывается по телу. Хорошо-то хорошо, но хреново, смешные все.

Я открыл оба ока.

По ТВ: негры пляшут, как голые котятка. Что за арбитры объясняют поэтов — народам? Кто тишины — разглашатель?

Кривые ноги у женщин лучше, чем без ног. Сижку напротив нее, ободряюще кладу руку ей на колени.

— Ну-с!

Успокойся, зубик, успокойся!

Пудель — идеальный пес. Он бессердечен.

Ману, «Законы»:

«Кто, находясь в опасности для жизни, принимает пищу от кого попало, не пятнается грехом, как небо грязью».

Это — страшный разврат, когда пишущий опускается до голословия. Кто не живет на живую нитку?

Низко и быстро ночью идут облака, в звездах снизу доверху, а ветер свищет по огненным лужам. Луна хорошо видна — двойная!

23 сент, 3

Утром спокойствие, будто никого на свете нет.

Да так оно и есть.

Зарыл талант в землю, все думают, что малоценная монетка, а это — 33 кг 655 г чистого серебра! Есть о чем сетовать?

ЛУ-рабыня чистит камбалу. Видок противный: и у ЛУ, и у камбалы.

Заболевание: базилевс.

Демократизация женщин зашла столь высоко, что они уж не видят собственных ног.

Внизу, у подъезда, кто-то доски рвет зубами. А кто — не разглядеть. У детей голоса сильные, как у собак. Опять роют во дворе канаву для расстрела землекопов, ставят в ней лестницы.

Пичужка бьется лицом в окно, грудь зелено-синяя, сердце разбито. Ух ты, пичуга-плачуга. Встанет каштан обнаженный, ветви живые, женские. Листья золотые до безобразия, старинные. Листья дуба, обитые медью.

На кухне, на столе, на тарелке с нарисованными окружностями — красная икра, 11 икринок, и квадратик масла. Нет плитки какао. Говорят, что китайцы жрут как не все, а желтым ротиком.

Белокожий неромонах говорит, что иудеям нужен был Египет, чтоб написать Ветхий Завет.

При врожденности всего и срок жизни врожденный.

Кто задает срок жизни человеку? Если это Он, почему Он не может удержать жизнь на Земле под контролем, а смотрит спустя рукава? Почему посланцы Его унижены и Он не в силах их защитить? Кто мешаает Ему? Неужели трудно Ему взять свой ум в руки там, где все из одних атомов? Египтяне считали, что человек произошел от яйца и несет яйцо. Это — фигурально?

Чем банальней пишущий, тем больший простор у него для художественного мировоззрения.

Проехали по шоссе душегубки, крытые розовым брезентом, в три окна. У голубей клюв орлий, может быть, сожрут мусор.

Я этому дню рад.

Толстые, с выпуклой грудью, как у голубя, окончания на «а».

Слова с окончанием на «а» — пропащие, а употребляющий их — пропащая душа. Пишу я много, и это утешает, а не писал бы вовсе — был бы безутешен.

По ТВ: льды показывают и ветры, те края, где будут жить будущие люди.

О нас скажут: они еще писали рукой, как древние египтяне.

28 окт, 3

Овсяное печенье пахнет шоколадом и лошадьми. Ем. Черен чай. На море ходить не хуже, чем на кладбище.

Куда девается столько человеческих волос? Они ж не гниют. Кто их ест? Для женщин новый термин: брошенка (покинутая).

В воде сверкало солнце, или в солнце сверкала вода, п. ч. свет не истинно чист, а мутноват. Сосна — зеленых роз букет. Пески человеческой кожи, гладкие, кремовые.

Женщина... одним словом, ступает с ножки на ножку у моря по берегу. Иду за ней, не сводя глаз, не отзывчивая? Песок выутюжен.

Плохо вижу, хуже слышу, стал я хуже, пишу сны.

Впервые вижу живую рыбу — маленькую, мертвую, на берегу, как сабелька, 1 см длины, серпик, брошка, светлая, а глаз желтый, красный. Жива ли она? Нет, мертва, как в мрамор зашлифована; как серебряное сердечко, разрубленное на пружинки. Как пряжка лилипута. Как месяц для муравья.

28 окт, 3

Два фокса, пепельный и желтый, роют море мордой (грязь), ищут в нем мышей — песики.

К морю привезли пароход, одноэтажный, без мачт, механический, с ревом, с цепью и проволокой; стальными кольями прибит к берегу, чтоб не ушел. Как я.

Если б каждое утро один час я б гулял у моря, как поздоровел бы; но Бог бережет.

Может быть, шведы прислали в дар — пароход? У него много труб, идут с борта в море, высасывают дно. Что ищут? Кто песок и ил будет вывозить, высосанный страшным по сути пароходом? И куда? Уж гора песка, стоят матросы с ленточками и с парабеллумами. Что в песке? Булат? Ночью привезли телефонную будку и поставили у моря. Двое рабов; один в плавках, ныряет с телефонной трубкой в руке и что-то громко говорит со дна, а второй в брюках, заверченных до колен, стоит в будке и бьет кулаком, по аппарату. За ним следят матросы: не стреляют.

Говорят, что у моря (под окном) стояла лодка Ингваря Кузоева и он в ней ходил в море ловить уху. Когда он умер и его похоронили (неся на блюде), шведы украли мемориальную лодку и вот вместо требований Нового Императора прислали взамен Страшный Пароход, сложный по структуре труб. Он откачивает со дна то, что издавна на дне.

А я читаю египтян, поглядывая, Тяжба Гора и Сета.

«А Гор — тот спал под деревом шенуша в стране Оаза.

И Сет нашел его, схватил, повалил спиной на гору, вырвал у него оба глаза и закопал их на горе, чтобы освещать землю...»

И Сет вернулся. Он сказал Ре-Харахти, солгав: «Я не нашел его». Однако он нашел его».

У моря ставят искусственные муравейники, привозят на самосвале мусор и муравьев и все это сваливают у воды и обносят железной оградой; ставят лавочки, как у могилки.

2 ной, 3

Что лежит у моря? — хорошо завинченная девушка, как бутылка «Наполеон», пустая. Кто бросил в море? Еще лампочка 200 вт, перегоревшая, потряси — зазвенит спиралька, брось в море. Еще бабочка, мертвая, с ней ничего не поделаться. Как кружочки лука на паштете — на песке ободки презервативов. Все пьют, как в пекле — жизнь не удалась, не удалась. Полные алые губы мерещатся.

Дождь идет, сильный и слабый, попеременно. Снег — скандинав. Дорожка лунная. Страшный Пароход хорош со всех сторон.

Фарфоровая мыльница с кнопкой в виде розочки — безделушка? — о нет, это система жизни. Только искать эту штуку не стоит, ни мыльницу, ни систему.

Ищущий обрящет не ту находку.

Всю ночь боролся с бурей. Утро. Может быть, посплю, а потом продолжу борьбу.

4 ной, 3

Старухи в черном, с золотыми венцами на голове собирают в полиэтиленовые мешки — щепки на берегу, в ад, в дар Виктору Гюго. Какой-то черный телом швед поплыл в море с твердыми ногами. Внизу на заре много простолоюдинов. Всюду смола — алмаз.

Альфред де Виньи. О плече раба сказать, что это «нагое плечо» — не слишком ли? О брошенной мадам: «Она не сумела меня к себе расположить». Коряво.

Нет пруда, о да, в *море* летит воронье крыло цвета воронова крыла. Стакан граненый, башмак с язычком. Может ли быть мысль — милосердна?

У моря мертвец на боку; лежал, спал. Если он умер, то распрямился б. Этот лежал на песке согнутый, головой между колен. Убит, но спящий был жив. Скоро очнется и примет смерть с последним вздохом.

Вокруг все стальное. Мир, как рыцарь, закован в серую броню. Женщины с длинными ногами уходят, остаются коротконожки.

Судьба: чаенок бегал по морю, кувыркнулся у берега и зацепился ногой за леску, брошенную кем-то как-то. А леска зацепилась за камень. Сидит чаенок, пищит, зовет помочь. Я нашел раковину, перерезал леску. А у него сил нет.

Морские пираты — вороны, рыбу не ловят, плавать не любят; они у моря за падалью. Пир на три дня над одной рыбешкой.

Они взлетают на скалу и — смотр моря, больных чаек бьют, едят мозг и внутренности.

Я унес чаенка к стае, в сторону, на косу, там семья сидит, штук сто особей в профиль, по-египетски. Я уже далеко был, оглядывался, но ни один из стай к нему не подошел. Пойду после, они его возьмут.

У моего чаенка два врага — вороны и дети, первые убьют тут же, вторые истязать будут.

Сходил к морю, птенец потерян, ни в мертвых нет, ни в живых, берег без трупа, а стая стоит. Да и детей нет.

Проснулся.

Судьба чайки в человеческом обществе. Тихо у нас в танке.

Судьба супа (вороньего).

Атеисты кричат, что нужно что-то делать для людей; они принимают людей за скотину, которая ничего для себя не может сделать. Нарисовать бы на серебре белую розу.

Розу разлук.

Ем брюкву, римское национальное блюдо.

Вол и лев — орфографические братья. А день и деньги?

Снег как капуста рубленая. Снег золотист, без гусей.

2 дек, 3

Цветущая пустынь, венок терновый, повешенный на ухо, — вот мой костюм. Я не верю в миф о равновесии, я одетый и чист; сижу, ем, как медведь, кашу и грушу.

О равновесии. Скоро в Красную Книгу впишут железо, никель, марганец, первым железом, его истребили, как сельдь. От фазанов же к завтраку отказались, придется и от механизмов. Будем ездить на шее у народов.

Синие листики на солнце. В синем зеркале мои глаза правдивые, как у сумасшедшего.

Кошки и рабы.

Нации (все!) рисовали кошек, не сговариваясь. Есть ли кто, который хоть ребенок, а раз в жизни не нарисовал бы, глядя кота?

Это Египет.

Это Египет вспоминается все, миф о зеленой кошке, большеухой, это под нее подделывались царицы-нефертити, вытягивая насильно уши до размаха кошачьих; тех кошек, сухих и искристых до огня, держали в фараоновских садах, и если им нужно б бегать по Александрии и к Нилу, весь народ прятался и занавешивался наглухо в домах, чтоб не видеть и не быть казниму. Кошки были богоравны.

Отсюда — и черт, прообраз кошки с ушами, как с рогами, это ретрострахи; и «напился до зеленых чертиков» — это: лишь кошки зеленеют (в июне), и ты видишь их (какой олух!), ты по закону обязан пить воду до тех пор, пока не забудешь, что видел; напиток можно было и до бешенства; и напивались. Отсюда и кошка-черт у всех народов; вдруг в н. э. стали стричься и бриться под кошек. Известнейшая польская дрессировщица Мурка Марковна прославилась сеансами, где кошки пели гаммы. Спирит не осмеливался войти в салон Машеньки Блаватской без кошки. Кошачьи сапоги, горжетки, перчатки, застежки из кошачьих лапок распродал за баснословные франки Диор. Американцы устроили у Капитолия кошконолию. Революционеры унд террористы ходили с револьверами в руке и с кошкой за пазухой — это считалось хорошим тоном. Замороженными особо — в эфире — кошачьими глазами украшают кольца, звон изумрудный. Наконец, очеловечил и чуть ли уж не короновал кошку Томпсон, писатель зверей, в поэме «Королевская аналостанка». Да и понятно. В облике, в сверканье ока, в молниеносных движениях этих животных что-то от высокого; ангелодьяволы они.

Но чем привлек художников тип раб-римса? Он не ню, у него нет ног (голых). Он не животное, дьявол в нем недвижим. Уши его безроги, они под кепкой, со смеющимся глазком; глаз скользок, узок и тускл. Зубы стальные. Знобит. Раб-римс недекоративен.

Но ежедневно по ТВ выставляется до 500 тыс портретов раб-римсов, пофамильно. Образ раб-римса (выходит) — лакомый кусок для живописца. Не до труда уж, скала плохо строится, художники пишут, раб-римсы позируют; они уж так свыклись с ролью натурщиков, что и пиво-то пьют, оголяя губы, как гомосексуалисты. Рабов нехватка, по статистике в РФИ нет уж ни одного раб-римса по сути. Все они — перемещенные лица из других специальностей, только б позировать художнику для портрета в качестве раб-римса. Чтоб дать художнику образ раб-римса, не останется ни перед чем. И костюмы шьют из кодекса труда. Массу инженеров и НТР переводят в раб-римсы, чтобы пополнить картинные галереи.

Ж-рабыня сварила щи и мясо изжарила. Был А-раб из картинной галереи, почистил ванну, скоро привезет стекло в окно, то, прошлое — выпало. Войны давно нет, а проводить зиму без стекла в окне мне не полагается, это полугамлетизм.

Снег, вперед телами мы идем в метель. Мил Олимп мой, за стеклами. Пророк т. Алстой прав — слишком много ляжек по ТВ для народа. Еще много бурят, пока что они на снегу, но их слишком много. Японцы — тоже вид бурят, видимо, и корейцы, все эти девушки — из бестиария. Чем египтяне брились? Мечом?

Все это мужиковствующие люди по ТВ. Выпуклые глаза у них не от ума.

Летим в метель! А-раб не довез стекло, кокнул. Сижу при разбитом, запахнулся в волчью шубу, смотрю на надкушенное яблоко.

Иду в ванну. Резвлюсь я в водичке и бьюсь о край железный, белоснежный.

Холодно в улицах и в домах, и не жду; никто из холода в холод не придет.

Жаль, я не волшебная палочка, а то птица улетает и не вернется, человек вырастит птицу, а она улетит; аист возвратится из Египта, а твою птицу ты не увидишь — улетающая.

В путь — спать!

11 дек, 3

Вода мне ближе женщин. Грустно. Собаки на снегу как обезьяны.

По ТВ:

Девка тонет в лодке, дутой. Парень спас ее и дает завтрак девке в рот — как собаке. Она — утопленница от любви (ни к кому). Он ее видит впервой и кормит. Она ест и протыкает лодку шилом от ножа. Сильно плачет, со всхлипом. Он ее бьет по морде, а потом гладит, дрожа рукой. Оба идут под воду на тонущей от укола шилом лодке. Конец первой серии.

В скале выращивают зеленый лук, под диванами. Так он и называется на выставке лука: Лук Поддиванный, Лейчестерский. И еще у него музейное название: Лук Хаммера. Этим семенам свыше 400 лет, их вырастил Леонардо да Винчи в водовороте, в Альпах.

В Кении пушки едут. Сердца нету. А-раб изложил мне фабулу политической карты Европы, вставил стекло и вытряс в снегу ковры; и выбил их. Стекло не в заплатках, не сломанное, а новое!

По ТВ:

Вторая серия. Несчастливая любовь, огонь твоих ног, парень с лодки надувной слушает брюхо у девки с лодки, той, утопшей. Вверху стоит их дом — как карусель. Любовь? Но парня сажают в иную лодку, деревянную, и везут на войну. Экс-утопленница поет ему вслед, с животом. Из лодки парень прыгает на пароход. От парохода гул.

Пароход идет в воде, как бутылка с газированной водой, пузыряться. Торжественный финал.

Леонардо да Винчи много писал о воде. Он был одинок и все время кого-то ждал, очень! Нашелся миллионер Арманд Хаммер — через четыреста пятьдесят лет он купил у графов Лейчестерских рукопись Кодекса о воде и назвал ее Кодексом Хаммера, с ходу, будто Леонардо и не было на белом свете. Все и читают манускрипт Хаммера о любви к воде.

Как бы не ходить с мокрыми ногами, как приятно в стужу иметь сухие ноги и чистые стекла! О ноги, ноги!

Снег гнется, вечер, все бегут по улице, как вода!

По ТВ: дуб стоит в кадре!

23 дек, 3

С балкона, с мороза летят комары в кухню погреться.

Почему копчик — остаток хвоста у ч-ка? С меньшим успехом можно сказать, что копчик — это зародыш хвоста при переходе ч-ка в

высшую степень, нам неведомую, хвостатых. Тупость человеческая — это и есть ум выживания.

Не обвиняй того, в ком твоя мечта не сбылась.

Люди одеты, как в 11 веке, в грубошерстные ткани, причесаны домашними ножницами, обувь без чулок, резкая, непостроенная речь. Любкой бургер из лавки выпорол бы тут же за одежду и поведение любого из нынешних президентов. Позор.

Белое гает, рубцы от шин, а шоссе глубоководное. Не восхваляю Юг, колыбель культур, доисторический Север более благоприятствует зрису, т. е. культуре.

Елочка нет у меня, а где взять? А уж завтра Рождество.

Не найду елочку — нарисую. А сегодня можно хорошенько вымыться. Внизу журчат ручьи, но бросаться не надо.

На Рождество оденусь старомодно, как в начале, но не как сейчас. Мисюсю: ты мылся? О да, я мылся, всю ночь, всю ночь.

Я сменил простыни на свежайшие, отгладил выстиранные две рубашки. Одна в красную клеточку, мелкую, другая белая в синий цветочек; буду менять то ту, то эту, до Рождества, до завтра-сегодня. Надед на синий носок лакированные туфли и синий римский костюм, после бритья одеваются так.

У настоящего мужчины чистая форма стопы. У женщин это редкость, с ногой.

Искусство одеваться — древнее, оно не свойственно молодым народам, у них много задора. Энтузиазм в одежде — пошлость. Сюртук должен быть наготове, имея линию талии лекалом по вертикали. Сейчас шьют пиджаки! — три линии на спине, в подражание линии бедер. Это ошибка. Когда уберут с пиджака линии, означающие гомосека, африканца и павлина денег, тогда и из пиджака может выйти мужчина, застегнутый на три пуговицы, а не как сейчас — одна пуговица на пупе. От нее живот пучит.

Классика — сюртук, фас мужчины. Лакированные туфли нельзя носить выше 25,5 разм., это будут настоящие шлепанцы, а не модельная обувь.

Мужское, к Рождеству, цвет костюма черный, но желательно мягче. А кто не любит жестких форм, серый, маренго, но не светлей. Носки без орнамента. Одетый в синтетику — да выйдет за дверь и этого, и иных годов. Есть ли те, кто встречает Рождество без галстука? Я не встречал. Я не читал про таких чудовищ. Строгий шелковый галстук, хорошо б из кашмирского шелка (но не глянец!) — очень смотрится на Рождество, если на его плоскости чередуются два цвета вдоль — сильно перезрелая вишня и черная наливная слива, на узле — белый треугольничек, чуть не в центре. О сорочке ни слова. Не могут представить, что у кого-то хватит хамства надеть не белую. Одно время вошла в моду жемчужно-белая, но была осмеяна еще при дворе Короля-Солнце, он был толков. С тех пор — это альковный цвет. Простой белый хлопок — идеал для рождественского костюма. Галстук — залог стати, фигуры, посадки головы, да что говорить, галстук — и мы видим, кто тут — кузен Императора или ж подполковник войск противовоздушной обороны в тылу.

Я не пишу о еде, кто ж пишет — индейка! Я вздыхаю о ней. Многие видят нечто новое у рождественского гуся. И я вижу! Но гуси не тут. Оставим о еде, честное слово, хоть колотый сахар в чай, и то круги от него — вкусопсовы!

25 дек, 3

Рождество. Мошки летают. По ТВ: Гржимек Б. катается на пылесосе.

Я сварил пшеничную кашу, очень удачно, компот из персиков (двух).

По ТВ: делят мир.

Человек в себе — завершен, но если побеждает народ — гибнет человек. Народ завидует мужскому фаллосу по-женски, по Фрейду и без Фрейда. Народ и гений — разнополы, гений — это семя, а народ — мясо, гений — мужская функция, а народ — женская утроба. И тут уж половая ненависть. Народ — уничтожитель, а его пророк, баловень, едок мясной морковочки, пугало с плугом — Л. Н. т. Алстой.

27 дек, 3

Тому, кто первый откроет мою дверь, первооткрывателю — придется туго, он получит по лбу млатом (колокольный сплав: медь с серебром). Будет звон, крик и смерть. То же самое получит и второй и идущий за ними третий. И я буду бить молотком до тех пор, пока уйдут от дверей, или ж убью всех входящих.

Поэтому я, открыв очи, молвлю — спасибо Ему, за сохранение ночи, от нас всех, не один я.

Чем отличается молодежь от меня? Телосложением. Больше у них мышц поперечных и нет продольных; зады низкой посадки, ноги плохи; живот недоразвит, плечо болтается; походки нет, позвоночник костляв, не ходят, а кидаются каждым шагом, как на подвиг. Бегать не могут.

Почему по ТВ множество фильмов о войне, а о сегодня нет? Потому что — не хочется ходить сегодня в своей одежде, с молотком на бедре.

31 дек, 3

Пело в сухую метель, до 3 часов, сейчас снег гениален. Метель прошла, и ввиду снег лежит на снегу, а над ним светлые огни на шее фонарей, бетонной, синие водяные шары висят на фонарях, — электроламп! Снег с огнем! Я все вымыл дома!

С Рождества я надел все новое, льняное, и на постель; душ моет, шумя, я вымыт, сижу у окна, как у камина, смотрю в мир, как в угль огненный. Луна идет вверху на гусеницах лунохода.

По ТВ:

Жена в белом порубила ножиком 6 черных лошадей и танцует, как Саломея, среди трупов. На белом коне с хвостом на задку въезжает на арену человекумуж. Черны лошади тут же встают и получают по куску сахару за то, что были порублены.

Белый цвет поглощает все цвета, так и белая кожа поглотит желтую и черную, хоть она меньше всех. Ни одна краска без белой не существует. Это не я, сказал Исаак Ньютон, антихудожник.

Воюй, Иов. Война — стимул долголетия.

Выносят рояль на ремне. (По ТВ). Что это? Аккордеон.

Клоун с нехорошими жестами рекламирует презервативы «Русская зима». Алла Стенько-Разина, певица, поет в цирке о том, что долго нельзя ругаться, как нельзя есть много мармелада. Песня называется: «Соломей мой, Соломей, с голой сиськой соломей!»

Прежде чем решить, красива ль женщина, ее нужно раздеть.

Толст я стал.

Еще ей сказать:

— Вглядишь в меня внимательно. Ничто не тревожит тебя в моей внешности?

— Да нет. Нос тощий, щеки толстые. Глаза выпученные. Что тут тревожиться?

— Признаков близкой смерти нет?

— Ты не призрак.

— Кто ж?

— Живое существо. Бескрылов. С двумя ногами и плоскими ногами, способное обладать общественным сознанием.

— Это не я, это Платон. Я антиобщ.

— Это щебет, друг мой.

— А ты — вещь, ты копия идеи. Если материя сопротивляется, ты, вещь, получаешься несовершенной. Связываю идеи и вещи я — Мировая Душа. Я — царь всех душ. А ты — тело, мир множественности.

— Это не ты, а Эмпедокл.

— Мы же без конца рождаемся, будет вечно рождаться и умирать мир, и не дано последнего прощения?

— Молчу.

— Я оставлю свой род и племя, я покидаю дом и очаг, я отправлюсь в хиджру к Аллаху!

— Это не ты, а Мухаммад. Хиджра — бегство, трус!

— Хиджра не бегство, а исход героев. Исход в высшую божественную духовность!

На цистерне зажегся неон:

ЮНОШЕСКОЕ ВРЕМЯ МИРА УЖЕ ПРОШЛО. ЛУЧШАЯ ПОРА ТВОРЕНИЙ ДАВНО УЖЕ ПРИШЛА К КОНЦУ И ВРЕМЯ ПОЧТИ УЖЕ ПРОШЛО, ПОЧТИ МИНОВАЛО (Магомед, Коран, 4).

Плачем.

На цистерне зажегся неон:

ЖИЛИ-БЫЛИ БЛИЖЕ К СМЕРТИ!

3 янв, 4

Палиндром: **УЖЕЛЬ Я ЛЕЖУ?**

Лежу, солнышко, настроение антиримское.

День пустой, в новеллах. Весь день лежу, балык спиной болит.

Съел г 40 сыру и яблоко обкусал, чай горит в стакане.

Фонари — как белые яйца, сваренные вкрутую, облитые холодной водой, очищенные от скорлупы.

В водопроводной воде стало столько железа, что если ею поливать пустую землю в горшке, то к весне вырастет танк, и не один.

Две ноги у женщины — как две лежащие рыбы, колются.

Женщина всю жизнь идет в бой, мужчина ж от природы тупоумен, т. е. настоящий ученый.

По ТВ — толстые люди.

Они показывают Нью-Йорк, узкие улицы, бруски золота в помойных ведрах, милые морды у полисменов и как детей носят негры, — в петлице!

7 янв, 4

Плыви, лодка, плыви, наша, ты всегда мне казалась наивысшим, золотистым существом, ты тащи за собой плуг, машина моя водяная.

Что такое среда, чуждая мне? Это любой второй.

Где ж мороз? Да вот он, внизу. Приятно смотреть, как люди (простые) лопаются от мороза, и только челюсти летят, как часовые футляры, — во все стороны!

У конькобежцев ножки короткие, как у Тулуз-Лотрека, к скольжению любовь — это. . . даже писать не хочу. Видим это.

Солнца нет с неделю, живучи иллюзии.

Мясо несоленое не естся, вырвет.

Попробовал: лапшу яичную, вареную, смочил огуречным рассолом, думал — лапша с соусом получится. Нет, это не блюдо. Минут сорок плевался.

Через какой срок действует рыбное отравление? — не у кого спросить. А то съел бы рыбы из цистерны, мне приносят, я выбрасываю в

ведро, полкило семги свежей; если это и семга, то она лежала 73 года под матрасом у старухи Изергиль.

Смотрю на рыбу, вечереет. Зачем семгу пересаливают сверх горла? Чтоб вкус к вкусу ее отбить.

Есть не буду. Нужно сказать У-рабыне, чтоб купила в цистерне свеклу, хороша чтоб, не синюю. Я и свеклу со времен свекольников не ем, разонравилась. Но ее удобно выбрасывать, по частям, кусками, хоть и не химия: завял кусок — отрезал ножом, завернул в целлофан и бросил в люк.

У греков и римлян было очень сильное сердце, ели лежа. Лежа на боку, а не на спине, облокотив голову на левый локоть. Раб-римс после недели такой лежки схватит инфаркт, об этом стоит писать на фоне греко-римских ретро-настроений — были они люди особой физиопороды, закалки. Об этом (об еде) чисто писал Цезарь:

«Над мышью все одинаково сидят, и кот, и орел — опустив голову».

Как ни толкую, афоризм.

В римском понимании солдат не существует в имени, а — армия. В этом нет лжи и демоподхалимажа.

По ТВ.

Кто, к примеру, мужья у волейболисток? Волейболисты? Кто ж в таком случае дети у них, передается ли по наследству волейбольная команда?

Нет большего позора в спорте, чем громадный рост в баскетболе. Кто, как сволочь, в зубы свистит и в бурный ветер? Это я свирепствую.

26 янв, 4

Строгою посредственностью:

Муму—Каю, Бернард Шоу—Томас Манн, Герман Гессе и Кнут Гамсун, лже-Кафка да Д. Джойс, комбинанты США Гэмингвай, — сквозь призму прозы я вижу в этом веке одну реку плача — Пруст и Вирджиния Вульф — сын и дочь Божьи.

А в том веке сияют Уолт Уитмен и Эдгар По, Пушкин и Гоголь, — по два гения на континент.

А проза? Чист стол Флобера, геометричен Свифт, новеллист Боккаччо, заря Героя Лермонтова, светел меч Гоголя, Идиот — Достоевский; А Лоренс Стерн! Грозен рок Генри Миллера, и невиданная радость — Лолита.

Строгою посредственностью:

Бальзак, Тургенев, Стендаль, Диккенс, Шелли, Золя, Франс, Готье, Беккет и... Чехов (печалюсь!).

Чудны сказки сказочников, но не у Гюго, не у Дюма, Агата Кристи — шахматная королева. Большое будущее имеет взор иллюзий детективистов.

Все видят, как занималось золото:

Хлебников, Аполлинер, Лорка.

Хлебников — НАДПОЭТ, Возрождение, нео-Леонардо на одной шестой, где одни горы грязи.

Строгою посредственностью:

Клейст, Китс, Жуковский, Тютчев, Бодлер, Верлен, испано-итальянцы дуты, выпадают.

Ф. М. Достоевский — игла горя, вопль ввысь, но ОН человек.

Не вижу в жизни ни строки прозы, кроме как у Марселя Пруста и Вирджинии Вульф.

Вижу древо всего женского, более первородного, чем мужи, — Марина Цветаева, тонкая рябина, чистая сталь.

Вирджиния Вульф и Марина Цветаева, не зная друг друга, покончили с собой в один год, в один день, в двух концах земли, и это был год 41, а день август.

Я тяну знаменитую нить и ставлю баллы на ней. Остальные? Оставим.

Где Гете? Державин? Рабле? Сервантес? — это люди, они определяют формы, но они — не Сыны Божьи.

Племенные писатели — своим племенам, из них одинок Акутагава Рюноску.

За одним пером прозы стоит слишком большая земля незнакомого, а реалисты вообще недостойны, у них ноги, как гунны, разоружители!

7 март, 4

Мошки вьются, аква вита в стакане, вылизывают обод; трудные времена. Накрыть их ладонью, а венерин узел — съедят?

Ветер дул, центральный.

День недельный, четверг. Ходил по комнате с миндальными глазами. Читал Фауста. Народно. Грамматические разъятия Романа Якобсона не дают сути, кислые до сладости. То же и с Людвигом Витгенштейном, гениально. Но не ново. Не ново! Имена у Платона и Канта — те ж этажи.

Впрочем, и соловьи поют не новей, что не мешает им быть соловьями.

А стрижи?

Аристотель, Микельанджело, Вольтер, Толстой — тетраэдр самолюбий.

Как пусто, как на шоссе — холодные ступни дождя.

Видится абрикос.

Хочется хлеба с крупной солью, серой, лимонада в бутылках с фарфоровой пробкой, на железных проволочных рычагах. О лингвистике в связи с Р. Якобс. «Избавиться» — значит, бавиться в избе, то есть баловаться. У изб. А избранный народ? — народ, бранящийся в избах?

За окном повисла крепкая веревка, по ней скользнули скрещенные сапоги, в окно заглянул подполковник МВД. И заскользил вниз. Внизу костер; горит, как рот рыбный. Подполковник МВД вынул револьвер, чешет дулом пробор надвое, под фуражкой, подняв ее, как крышку, над головой. Или жуков вычесывает? Сверху не видать. К нему бегут.

Лягу ль я, подушка моя пельменная!

Уха из щуки спасает жизнь, и она же залог мужской мощи. Жизни нет, а вторая часть повисает в воздухе без объектов. Результат: уха и хаос. К любовной теме: может ли быть длинной нога у женщины ростом 1 м 33 см? А именно такие бомбы растут после акселераторов. Неваправдашки сексосамки.

По ТВ: очень много одноногих актеров и актрис, малорослых и низконогих. Хожу по комнате. Еще и нога скрипит, с болью.

У Гете:

«Когда ж он увидел, что его друг мертв, его взор потеплел».

Это он о Шиллере.

Гете до конца жизни, а у нее и конца-то нет по-настоящему, — не мог простить Шиллеру, что тот нюхал гнилые яблоки и пил много ликера.

ТВ погас. О скука, о скука.

10 февр, 4

Туч нет.

Упаси меня, Господь Бык! — из молитвы матадора.

Хожу днем со свечой в туалет и сижу на сиденье по-соколиному,

держа в двух руках свечу, как покойник. Свет скис, электричество кончилось.

Рабы ходят, как ветры, — это в цистерне пива нет. Встали рано, как в Библии, невпопад, горько. Кран с цистерны снят, второй вывернут. Дверца нараспашку, и в ней молодой юнга с цветком, рабам цветы расхваливает, азербайджанец, кажется. А рабы смотрят на это исподлобья.

Уйдут все, следы узкие.

Узкие следы босой ноги, одетой в башмак. Но и башмак бос, он ни во что не обут. Следы затагнуло пленкой.

Сколько белья на веревках висит, ревя на ветру.

16 март, 4

Есть девушки-тонконожки, а тут шла девушка-толстоножка, в ванную, со спины черная, как кобыла. Беременность почему-то связывают с толщиной ноги. Но с чем ни связывай деторождение, а дети — дефицит.

Меж домов одни слепые носятся по ночам, звеня палками. Рост слепого — как у леопарда. Слепых полно.

Я не ел яичницу больше года. Хочется. Иногда вызываю ее образ, с колышущимися желтками, беломраморной. Вызову желание и подавлю. Как? Выну сковородку из топленого чугуна, лизну ее быстрым языком — о, гадость, гадость!

Была молодая женщина, рассказывала, кто растлитель у них.

Ем букетик укропа.

Странная связь у легких с психикой — рак легких только после стресса.

Молодым женщинам сейчас нечем хвастать, кроме психбольниц. Когда спрашивают «в сфере искусств» — а судьи кто? — мы видим в музеях, за последние 4 тыс лет, что судьи — те, кто нужно. Золотой маятник, неподвластный, неподдельный.

Собаки бегают вниз, их несколько, остальные люди.

В ванне — арбузная девушка. Грудь арбузная, живот — арбуз, бедра — два арбуза, соски — серебряные ушки, спина арбузная, щеки, губы арбузные. Ноги у бедер арбузные, ляжки!

Помнится, была вся красная девушка. Той далеко до этой.

17 март, 4

Афоризм: зуб — обуза рта.

Над цистерной зажегся неон:

У КОГО ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА, ОБРАТИТЕСЬ В ЭСУ-17, В ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ.

Путь неотвратим, посвященных нету. Не замуровался ль я в каменном мешке? Я — не Монте-Кристо, бежать некуда, мстить некому, в кошельке клада нет.

Видения Ф. М. Достоевского — свет гения, далекое будущее.

Сердце постукивает по фортепиано. Худею, морда уж чуть потоньше толстой.

Стальные санки, много голых бегут сквозь черные очки на лыжах вдаль, наискось.

Буква Ч есть у топора.

7 апр, 4

Солнце тигра греет — меня!

Лес золотой, весенний — вдали!

Широкоплечий дог, друг в черном. Он утратил зимнюю мистику формы, а я сплю с книгой. Это воздух!

Лимон пророс в горшке на кухне, выпустил лист, как веер, как господин Ф. Лист с рукой меланхоличной, перстня ему не хватает. Похож на щеки юной папуасы — лист лимона!

Исчезли тапочки домашние, вельветовые. Что надеть?

Кожаные? Но к ним нужен кожаный же пиджак... и т. д. Хуже всего, что к ним и новую книгу писать придется. Злостно украли тапочки, позолоченные.

Комары в доме. Нужно взяться за кипяток и брызгать в них из кружки.

В вазе — лютики, искусственно-засушенные, ставят в вазы сухие кости цветов.

1 май, 4

МТ-рабыня дает ложечку сметаны, оловянную. Ем сметану.

Уж со многими я говорю тут, а не знаю, как к ним обращаться. По-французски, немецки, английски, арабски, китайски, эскимосски я умею обратиться, а к ним — как?

В ответ:

— У нас есть три формы обращенья: девушка, гражданка и товарищ.

— Как следует обращаться к незнакомой женщине в ванне?

— Ответы на этот вопрос могут быть разные. И все ж вряд ли можно согласиться с тем, когда, например, пожилую женщину называют в ванне — девушкой. В этом есть что-то пренебрежительное. Правильная форма обращения к женщине в ванне — товарищ или гражданка. Обращение «товарищ» требует указания на должность, звание и фамилию. Например, товарищ кирпичница, товарищ МТ-рабыня.

— Товарищ! — сказал я, — откроем краны. От лекций — не тот цикл.

— Словом «товарищ» без пояснительных слов мы назовем только мужчину. Слово «гражданка» служит разговорным обращением к незнакомой женщине в каком-нибудь общественном месте — магазине, автобусе, клозете.

— А в ванне? — спросил я.

— Ванна — место интимных переживаний, и тут женщину кроме как любимой не назовешь.

Я был озадачен.

— Но это еще длиннее!

— Да, длиннее. Но это щадит душу.

— О нет, — сказал я. — Чем длиннее, тем дурнее.

И я выгнал вон эту лектрису.

Я защелкнул все замки. Я уму нет сказал, я беру в руку кружку и смотрю, что на ней.

А на глиняной кружке нарисована девочка, нетитулованная, секс-сарафанчик, рвет несуществующие цветы и нюхает охапку. 14 цветков, число лепестков колеблется от 7 до 11, а на вид одинаковые, искусство. Глаз у девочки на носу, а бровь у волос. Халтурно это, но я кружку обнимаю и целую в белый фарфор.

Фетишист я.

19 май, 4

Друг строил Полярный Круг из минералов.

Друг не дает мне покоя. Улучив минутку, он входит и кричит, как Ферсман:

— Северное Сияние!

Беру бинокль, смотрю в окно — небо и ни бельмеса.

— Не лги, — говорю.

— Нигилист, всмотрись выше!

Из окна дул ураган. Друг закрыл окно на бронзовый крюк и занавесил шкурой белого медведя, он всюду ее таскает за собой. Вздремнул я.

Снились банки гусиной печенки и тресковой печени в масле. Проснулся: Друг жег на столе, на блюде костер из спичек, повесил на палец железную кружку, в ней две рыбины торчат — лимонелла и сарданелла!

— Ты хоть почисти их, ухоед!

— Не могу! — нельзя с живых драть шкуру!

— Хм, — подумал я, — новый этап: варить живьем.

Ю-Друг — бригадный генерал. Его бригада ходит в штыковую на тюленей. Тысячу тысяч зверей режут и бросают в Дыру. В Земле есть дыры, сверлил Ю-Друг. Он построил Полярный Круг и решил проблему отопления Земли воздухом. Вот как: дыры идут до центра и в ядре горит костер, негасим, но холодный. Чтоб разогреть костер, нужен жир, и миллионы тюленей бросают со стыков в костер, а оттуда уж, из центра, по всей Земле веет горячее тепло.

— Не выпить, Ю-Друг, я не могу, а тебе нету. Хоть бы горсть морской воды!

— О да! Я б построил морской флот и, бросив горсть под ноги свои, поплыл бы в иные времена, как девятый вал у коровы Райа.

Я говорю:

— Есть ли у тюленей суки?

Ю-Друг:

— У тюленей сук нет, у них самки.

22 юн, 4

Леонардо да Винчи, 1500 г., Венеция.

Лето и накал каналов, к осени дело. Много рыбы, на пл. св. Марка по ночам торгуют светящимися шариками, на резинке, фосфор на них. Леонардо Гениальный **прибыл**, спешно — важное дело. Он сказал: выпала ему судьба определить объем легкого, коим дышит Земля. Теория: при дыхании легкими у человека приливы и отливы крови, а вода — кровь Земли. Если верна аналогия, то легко определить приливы воды. Больше месяца Леонардо ставил опыты с водой у моря и считал в тетрадь. Получилось, но не то. **А что? — громадные, неисчислимы массы воды приводятся в движение, 367,5 локтя кубического. Не совпали мысли ученого и материи. До школярской ошибки, а у него не было ошибок: умножая 12 часов (интервал между приливами) на 270 (количество вздохов у чел-ка в час), он получил 2940. И уехал в Милан отсюда, к пушкам, к Тайной вечере.**

Много об этом пишется, что ни автор, то новелла. Не следует ли, однако, еще раз в Венеции повторить опыт, пока она цела? Ведь именно там гений метал цифры, а пред ним был открыт весь мир. Да его и выгнали в этот мир из Италии, уже старика... А Венеции скоро не будет, и тайна легких Земли останется анекдотом вместо решения вширь.

22 юн, 4

Зажгло розы, ем одну, малиновую. Тонкий стакан, в нем пять роз, горят; четыре ждут очереди, бутоны.

Вид вдаль.

В ранний час встаем мы: солнце и я. Я сажусь на стул и остро смотрю на рубашку, шелк песцовый, нагрудный карман скошен, с рубинчиком-пуговичкой по центру; нравится.

Раб-строителей все больше.

Окна у скалы несметны, от окон нестерпимый блеск. Пусть занавесят.

Мылю овал лица.

Если ж они занавесят окна — блеск не меньше, а больше, мне ж не лучше, а хуже.

Пусть занавесят скалу. Это не каприз, я не могу сидеть в их блеске, а они в моем могут. Пусть подумают, как исполнить этот проект.

Через час начало звона ворон. Не ново и в нашем овине, и звон не нов, вороны — домашние души, люблю их звероподобность. Их нос похож на нас!

Вошли трое: хирург Г. Рурих, Аве-Аведь, психотропка, и третий. Как обидно, что люди такие молоденькие!

— Вы молоды, други, и вам не о чем вспомнить! Я нахожусь, и меня не зовут, — предупредил я.

— О чем Вы хотели б сказать сегодня? Чего хотите? — спросил х. Г. Р.

— Хочу скалу! — ответ.

— Что с ней, скалой, не нравится? — забеспокоилась А.-А.

— Ее нужно занавесить, — сказал я, — больно уж блестит.

— Как! — вскричала А.-А. — Подумайте о себе!

— Если от меня Вам слишком блестит, занавесьте мой нимб.

Наденьте вуаль.

— Я займусь скалой, — сказал х. Г. Р. — Мы придаем рабам слишком много блеску, и это нестерпимо для глаз. Вам режет глаза? — спросил х. Г. Р.

— Режет? Кто? — всполошился третий.

Они у двери, закрыв ее на задвижку, изнутри. Третий интересен, над бровями козырек, никель. В голенищах.

— Подойди, — сказал я, — сними голенища и ступай.

— Не могу, — сказал третий, переминаясь.

— Ноги оторваны и деревянные вставлены в голенища? Ну, не снимай, иди смело.

Он не шел, они стояли.

— Посмотрите в окно, — кивнул третий.

— Не хочу, там блеск.

— Не блеск, а Вам не скрыться.

Я глянул: в окне на веревочках висят, изгибаясь, несколько таких же, как и третий, родственники, видимо, у них в руках обнаженные дула, целятся в комнату.

Я шагнул. Третий выхватил дуло, отпрянул. Я взял его за пуговицу, вынул очки: на всех пуговицах чеканка — Земной Шар. Мировое господство, это по мне.

— Кто ты? — спросил я. — Почему у тебя столько пуговиц на животе и на что тебе Земной Шар? Почему на плечах у тебя золотые пластинки и на них звезды, как в астрономии? Ты астронавт?

— Я капитан мира внутренних дел, ордер на обыск. Удостоверение личности.

Я не стал смотреть, неопровержимо похож на утконоса.

— Это понятые, — сказал РЭ У. — Хирург Г. Рурих и Аве-Аведь, доктора медицин.

— Ноги свои? — спросил я. — Надень тапки, тут ковер.

— Я сяду.

— Куда? — спросил я. — У меня один зад и один стул, другого не надо.

— Чего?

— Ни зада, ни стула. Можешь сесть в ванну: можете втроем, если не мыты; там никого.

— Мы мыты! — сказал капитан за всех. — В ванне никого, в кровати никого, у меня портативная рентген-машинка. Но пол! Где у

Вас блестящие шляпки новых гвоздей в одной из досок? Почему досок нет, а под ковром плита? Довожу до Вашего сведения: во время обыска следователь передвигается по спирали. Нет досок, железобетон. Где доски? — и кап. завился по комнате в виде ведьмы.

У стеллажей он стал.

— Зачем Вам столько книг?

Я сказал:

— Храню в них ум.

— Неумно! Книги — для сокрытия оружия и боеприпасов, — кап. лизнул два пальца, как протопоп Аввакум, вспрыгнул, скользя рукой по стеллажам. Ловкий.

— Где бытовые машины и агрегаты?

Я дал утюг и раскрыл холодильник.

Утюг разбит рукояткой дула, а из холодильника вынута котлета на косточке, я ее берег.

— Утюг осмотрен, холодильник пуст, извлечена кость с мясом.

Котлету пусть съест хирург Г. Рурих, вдруг отравлена?

— Я понятой, а не собака!

— Не гордитесь. Собакам мы отраву не даем.

— Я съем, — сказал я.

— Хирург Г. Рурих! Вы взяты, ибо личный обыск сопряжен с обследованием тела человека, целесообразней взять врача. Ешь котлету!

— Не буду, я выше Вас званьем и не по-криминалистически! Дай псу.

— Пса жаль. Хоть пососи кость!

— Не буду! Свистни пса из коридора!

— Какой же ты, не буду и не буду, да будешь ты наконец есть котлету?

— Жри сам! Или дай объекту, он просит же!

— Ему нельзя. Если он съест, то будет юридически отравлен, при свидетелях. Этого я не могу допустить. Ну, съешь — ты, а я посмотрю, выживешь или сдохнешь, как гадюка, сукин ты негодюил!

Не думал я, что ты не умен.

— Я съем котлету, — сказала Аве-Аведь. Да, не глупа.

— Съешь! Как умно! А то обыск идет уж за полдень!

— Я запрещаю тебе есть котлету, — уж совсем с луны свалился х. Г. Р.

— Ты с Луны свалился, умник, — сказал Утконос. — Хочет есть — пускай ест, ты забыл о равенстве полов?

— Не ешь! — вскричал Г. Рурих и бросился наперерез.

— Я есть хочу! — вскричала Аве-Аведь. Она схватила котлету за узду.

— Стоп! — сказал кап. — Дай сюда! Вывод: хирург Г. Рурих за годы неумных допросов стал домашним животным. Поведение ж домашних животных может указывать на место нахождения тайника с документами. Ясно, почему ты не даешь есть котлету, в ней микрофильм. У всех сговор, увы! — кап. плюнул в ладони, потер их, высек огонь, взял котлету за косточку, съел.

Сел на пол, вода рукой по линолеуму круги своей жизни.

— Круги сужаются, — сказал он.

— Ну как? — спросил х. Г. Р. — Как с поджелудочной железой?

— Вкусно, — сказал следователь. — Больше нет? — и кивнул горестно: — Нет! — и в упор:

— У Вас есть банки с вареньем! Я предлагаю добровольно выдать их.

— Ну и сластена! Ты жрать пришел или дело делать, государственник?

— В банках с вареньем многие любят прятать расчлененные трупы.

— Кто убит? — спросил я.

— Тот, кто жил до Вас здесь. Я включил трупоискатель! Он указал на единственный — труп котлеты. Я съел ее. Это ведь не Ваша квартира?

— Пишущая машинка моя.

— Почему?

— «Гермес бэби» с железным корпусом и римским шрифтом. Их не выпускают уж сто лет. У нее резко отличен шрифт, расположение. Я сел и сразу же стал писать, без затруднений.

— Умно. Но ее могли подбросить.

— Вы. Только Вы.

— Вдвойне умно. Мне трудно говорить с Вами, не обращаясь. Как Вас называть, Матвей Ибаньес?

— Не дурите!

— Вы не помните, кто убил и каким орудием?

— Кого?

— Вас!

— Меня никто не убил. Были б следы от пуль.

— Неумно. Хирург Г. Рурих, твои ветры! — и он рвал мою фланель, диагональную, единым махом — в ключья! — Следов нет! — он взвыл от злобы. — А это что? Глянец?

Следы были, от ямки между ключицами до паха я весь распорот, рубцы, дыры, хоть отбавляй. Но это следы хирургических вмешательств. Не пуль.

— А в животе что?

— Не пули.

МВД сел на пол и расхохотался, как человек — до, ре, ми!

— Ваша душа чиста! — сказал он.

— Это не новость, — сказал я сухо.

— Можно, я лягу? Я устал и заслужил отдых на локте, хоть и без вина. Ни вина у Вас нет, ни тайников у Вас нет. Даже! — И он сказал с кровати, лежа в голенищах:

— Ваше явление во второй раз вызвало много версий. Неоспорима одна смерть, реанимация, и вот Вы живы. Но кто Вы? Почему с таким упрямством не называете себя? Неумно. Вы сказали адрес, и Вас привезли сюда выздоравливать. Паспорт у Вас был этого же адреса. Но более ничего не совпадало. Еще в больницу к Вам вызвали всех — родных, жен, женщин и друзей того, документального, по паспорту. Ни один не признал. Тот Вы (скажем так!) был тонок, носил власы до плеч, был знаменит и здоров, как бык Апис, за всю жизнь имел 3 привода в больницу с алкогольной отдышкой. А ваше тело (доставленное!) было разгромлено наголову, со следами тяжелых травм, и до доставки у Вас не было волос и тяжелая толстота! — видите, аргументы. Тысячи людей видели того Вас в тот же день, тонок, кудрявый, живой, и приводят этого Вас же — лыс, толст, мертв. Несовпадения. Анализ:

1. Попадает в клинику больной со смертельным исходом. Или убит, или самоубийство.

— Или съел котлету! (Аве-Аведь.)

— Желудок был пуст.

2. В тот же день и тот же час исчезает человек, проживающий по Вашему адресу. Куда он может пропасть здесь, где ничто живое не уйдет от МВД? Он или убит, или убил себя.

— А труп спрятаться может? (Аве-Аведь.)

— Мы и ищем. Задача с двумя неизвестными, и у обоих один адрес, но не то лицо.

3. После воскрешения неопознанный труп вдруг заявляет, что он не только не он, но и не знает, кто он. Все фамилии, которые ему называют, он отрицает. Амнезия? — нет. Он помнит события тысячелетий и миллионы имен и чисел. То есть — он помнит все, что читал в своей жизни, и не помнит одно: свою жизнь. Кто он есть — также не помнит.

— Из нашего успешного знакомства я понял, что Вы не убийца того, о ком шла речь.

— Благодарю Вас.

— Я понял, что Вы и не самоубийца. Объясню: человек, который знает один способ — пулю — и с яростью ищет ее, не может себя отравить. А ни одной пули не было пущено в него.

— Умно, — сказал я.

— А что же, неумно? Сейчас Ваше сознание, как свежий арбуз, не лжет, капни граммик чернил — и весь арбуз посинеет. Я сказал об убийстве — ничего, стерпел, без синьки. А бывают казусы!

— Какие?

— Смертельная бледность!

— Лакмусы! (Аве-Аведь; грубит.)

4. Отпадает версия убийства и самоубийства — Вас. Но того мы искать будем. И Вы!

— Он не будет, — сказал хирург Г. Рурих. — Это не он, и отвяжись.

— Я следователь, а не селадон! — отрезал капитан МВД Утконос. И прибавил: — Тот был так красив, что, когда он спал, дамы останавливались и так и стояли годами, смаргивая слезы. Чего о Вас не скажешь.

Этот мент начал мне надоедать.

Уж не мутант ли он?

Ценность жизни — артистизм.

А может быть, не Нерон, а Британник был бездарен как поэт и завидовал Нерону, как и римский плебс-стихотворец! Почему все до единого стихи Нерона были уничтожены тотчас? Куда б выгодней показывать их потомкам, если уж плохи. Сенеку же показывают.

(Окончание следует)

Михаил Фрумкин
ВО ДНИ ОСТАНОВОК В ПУТИ . . .

* * *

Если цифры имеют смысл, то влюбленный ближе к нулю,
Нежели к бесконечности, чью двойную петлю
Призвано затянуть медлящее мгновение,
На вдохе, при неизвестности, после мольбы «люблю» —
И в ожиданье ответа содержится страх уравниенья.

Если счастье имеет силу, то влюбленный ближе к рулю
Великого корабля, отчалившего от «люблю»,
Плывущего в неизвестность, алчущую вычитанья
Даже там, где и вычесть нечего: знанья равны нулю.
Но неизвестность лучше — ведь на фига кораблю
Плыть, если все понятно и в плаванье нету тайны?

18 марта 1990

Там, в деревянном городе, столь отсюда далеко,
Что, пока доберешься, останется лишь душа,
Я учился ходить, как ходики, не спеша,
Я учился лежать, как вещь, упираясь боком
В деревянную стену, чтоб места побольше для
Посторонних вещей оставить. На три рубля
Я учился неделю жить и в конце недели
Одевался неряшливо, чтобы меня жалели
Посторонние люди, чтобы себя жалеть
Самому приходилось меньше. Учился курить в рукав,
Находясь в помещении, тесном, как бабкин шкаф,
Учился не морщиться, видя под ливнем глину,
Сапогами прохожих и шиной грузовика
Превращенную в изваянье мертвого червяка.

Там, в деревянном городе, где, говоря «я циник»,
Вы рискуете быть непонятым, я говорил с людьми
Трезвыми лаконично: «дай, принеси, прими»,
С пьяными — осторожно. Предпочитал полтинник
Гривеннику, чтоб меньше производил карман
Звона. Смотрел подолгу в белый речной туман,
Вслушивался в гудки дальние тепловоза.
Брался за нож, заметив, что незнакомец косо
Смотрит на мой затылок. Предпочитал паром
Лодке чужого дяди. Спички гасил плевками,
Чтоб не спалить жилья. Птицу ловил руками,
Ими же действовал всюду, где нельзя топором.
Слыша мужичьи байки, прятал глаза. Храбрился
Прежде, чем сесть на доски в жаркой парилке. Лап
Собачьих не пожимал, не пьянствовал, редко брился,
Смотрел на детей с прищуром, остерегался баб.

Там, в деревянном городе, где на головку сыра
Приходится больше жителей, чем, например, волос
На голову молодую, было полно стрекоз

И множество одуванчиков на улице главной — Мира.
 Там же стояла гостиница, где на второй этаж
 Вела скрипучая лестница и пробирал мандраж
 Идущего по ступенькам. Утром топилась печка,
 Чтобы нагреть воды для умыванья. Речка,
 По коей сплавливали бревна, тихо себе текла,
 Уводя случайные мысли за горизонты мозга,
 И на закате солнце, словно кружок из воска,
 Оплывало в тайну по скату невидимого ствола.
 Там в столовой пекли блины грудастые поварихи,
 Там на маленькой книжной лавке амбарный висел замок,
 Такой же, как на читальне. Там редко звенел звонок,
 И реже звонок на стрелке там раздавались крики.
 И казалось, что самый воздух, как следствие жизни, прост,
 А над железной дорогой висел современный мост.

Там, в деревянном городе, столь небольшом, что спичка
 Успеет едва погаснуть, как ты его весь пройдешь,
 Я учился молиться шепотом, ежели в горле еж
 Ворочался. Я учился пить из горсти водичку
 И белую ночь коротать, раскладывая пасьянс.
 Я учился смотреть на рельсы, как на последний шанс,
 Будучи отделенным от остального света
 Сотнями верст лесов, топких болот. И где-то
 Я оказался прав, когда, удаляя грим
 Со щек, произнес однажды голосом, полным грусти,
 Что в конце любого столетия захолустье
 Похоже на покоренный и разоренный Рим . . .
 Там, в деревянном городе, столь позабытом Богом,
 Что спящим в нем снится только прошлое, я давно
 Решил, что туда не вернусь ни под каким предлогом.
 Воспоминанья светлы, да на душе темно.

22—23 мая 1991

* * *

Остановка в пути — дважды две отрешенных стены
 Да усталая склонность пустого лица к многоточью.
 Деревянные стулья скрипучи особенно ночью,
 В это время особенно мы никому не нужны.

Словно ломкий графит в позолоченном карандаше,
 В позвоночнике осень, унынье, укор, увяданье.
 Остановка в пути — по приметам и картам гаданье,
 Вопреки накопленьям в тревожно растущей душе.

Ожиданья и запахи — прежде всего, говоря
 О незримых вещах, это — запах одежды и кожи
 Чемоданов у двери. Отъезды всегда не похожи
 Ни на сон, ни на явь, ни на адскую смесь буквара

С окончаньем эпохи и бытом, лишенным всего,
 Что могло бы напомнить нам вязкость и плотность иную,
 Чем в наскучившем воздухе дома сего. Не ревнуя,
 Не кляня, не любя, не щадя — как творят колдовство,

Время делает жест, оставляющий нас в меньшинстве
Перед яростным миром. Так, сцену покинув, актеры
Лезут в петлю, и так покрываются рясой озера,
Превращаясь в болота. Так путь разделяют на две

Неразборчивых части, как будто мечтают найти
Середину шкалы, измеряя глубины такие,
О каких только в сказках . . . Храни нас, Господь, от тоски и
Укрепи нашу волю во дни остановок в пути!

1 мая 1990

г. Пятигорск

Ирина Полянская

ПУТЬ СТРЕЛЫ

Рассказ

Когда они расстались наконец и он после долгих мытарств выбрался за рубеж и стал там тем, кем и был на своей летаргической родине, — выдающимся правозащитником и ученым с мировым именем, и когда родина после известных событий признала его, как будто он уже успел уйти в небытие, оставшись в памяти народной, — только тогда она кинулась рассказывать о нем направо и налево всю правду, какую знала, всем желающим, любопытным и просто случайным людям... Она делала это так ребячески-неудержимо, выдавая свою кровную заинтересованность в собственной реабилитации, пытаясь опередить его в предательстве, наверняка зная, что он-то уж не пощадит ее в своих воспоминаниях; точно так же она когда-то пыталась опередить его в измене, потому что доминантой их отношений всегда была борьба: сначала любовь боролась в ней с чувством долга перед первым мужем, потом она боролась уже с его нежеланием признать ее поступок как принесенную ему жертву, позже она сражалась с толпой призраков в его лице, надеясь различить в ней того реального человека, с которым жила и которого когда-то полюбила. Она чуть не за руки хватала зазевавшегося гостя или какого-нибудь отпетого журналиста-строчкогона, охотника за знаменитостями и потрошителя чужих репутаций, желая всучить ему свою собственную правду, заключающуюся в том, что выдающийся человек ушел от нее совсем не потому, что она не годилась ему в подруги, в единомышленницы и соратницы, а только потому, что она родила ему несчастного Славу. Слава сидел тут же, лопотал, громко втягивая в себя чай из блюдечка, но это наглядное свидетельство нравственного ничтожества выдающегося человека не действовало на людей, поскольку теперь оно уже шло вразрез с обликом героя и мученика, востребованного временем, по которому начинала жить их родина. Но она как безумная тыкала людям в нос Славой; а Слава начинал к тому времени слабость не по дням, а по часам, и это обстоятельство должно было еще больше укрепить ее позиции и призвать страну к уважению ее будущего горя как к признанию какой-то личной заслуги...

Она заранее испытывала ужас при мысли о его готовящихся к печати мемуарах, которыми, по сообщению прессы, сейчас занимался этот человек, сидя в своем Париже или Мюнхене; она впадала в тихую панику, предчувствуя свой портрет в них, нарисованный стремительной и безжалостной рукой его, хорошо сознавая, что этот портрет останется, а она уйдет, не в силах смахнуть с него ни единой черты, и, пока она еще жива, она должна была защищаться, они вместе с сыном должны успеть стереть хоть букву грядущей неправды, хоть пару слов. Но слава его росла как волна, накатывая на оставленный им берег, и она понимала, что все ее усилия тщетны. Она знала, что он не пощадит ее, как не щадил никогда ни врагов своих, ни друзей, — он, человек хищного аналитического ума и феноменального зрения, ухватывающего любую подробность жизни, самую малую дробь ее, страстной злой памятью, которая, однако, не мешала ему заниматься благородным делом защиты сырых и слабых. Она знала, как искусно может он распотрошить живое существо, и все старалась поведать об этом журналистам. Но ни один из них не соблазнился ее историей о

том, как он однажды со своим приятелем-медиком в летней беседке ясным вечером занимался анатомией, раздвигая распростертую в правилке живую жабу, видя в муках живой твари одну лишь метафору, проецируя в уме ее маленькую смерть на свои философские и социальные обобщения... Она была в ужасе от той холодной предприимчивости, с какой он согласился посмотреть на рефлексы, заставив при этом присутствовать и ее, — и ей долго чудились жалобные, предсмертные стоны живого существа, душа которого никак не могла отлететь; но он смотрел, как смотрит, должно быть, Господь Бог на умирающего младенца, обращая с помощью оптического фокуса слезы матери в утреннюю росу. Долгие годы живя под колпаком, под гласным и негласным надзором, он выстоял и не сломался, хотя его всеми силами пытались сломить: устраивали то и дело обыски, арестовывали, преследовали его друзей, лишили директорства в институте, потом перекрыли все пути для серьезной научной работы, так что он в какой-то момент даже вынужден был демонстративно выйти с метлой на панель и мести мостовую. Но выстоял и вынес он все это благодаря вовсе не величию души и редкостному мужеству, торопилась сообщить она корреспонденту, а вследствие своей полной бесчувственности и равнодушия к подробностям жизни, представляющим для него интерес лишь как для ученого, отрешенного от нашего муравьиного существования.

Не без злорадного удовольствия она теперь рассказывала, как он поддался однажды на уговоры подосланного провокатора и выступил соавтором дешевого телесериала о жизни «сельчан и заводчан», сляпанного на скорую руку ради денег, денег. Позже он очень стеснялся этой своей работы, хотя и выставил в титрах себя под псевдонимом.

Те же, кто когда-то травил его и преследовал, как зверя, теперь дружно восхваляли его бескомпромиссность; они теперь наперебой лебезили и заискивали перед нею, не женой и не вдовой, надеясь заработать себе прощение. Когда-то дружным единогласием они лишали его всех научных званий и регалий, развенчивали труды, движимые лишь завистью, а теперь трепетали перед его грядущим возвращением, полубезумные оттого, что инфляция в одночасье поглотила все их несправедно нажитые состояния, растаявшие на глазах как сон, как утренний туман, невольно видя в этом перст Божий и его конечную правоту.

Когда его взяли в первый раз, Слава был еще младенец, и врачи ничего еще в нем не прозревали. Но она сердцем матери уже почувствовала все, и, когда его арестовали, жизнь обрушила на нее сразу два молота: его судьбы и ее собственной. Велось следствие, у него ничего, кроме какого-то разорванного выпуска «Хроники», не нашли. Ей ничего не говорили, но дали свидание. Она не поняла сразу, что это было за свидание, это было странное свидание, ибо надзиратель в углу комнаты, когда они заговорили об обыске, демонстративно вынул из кармана газету и углубился в чтение. Понизив голос, она рассказала мужу, как один из оперативников, роясь в посудном шкафу, вдруг обернулся к ней и спросил в упор: «Где вторая печатная машинка?» И она честно ответила, желая лишь укрепить свои предыдущие уклончивые ответы на их вопросы, зная, что мужем эта машинка не засвечена: «В ремонте...» Что тут с ним сделалось! «Дура! — завопил он, будто в комнате для свиданий они были одни, — идиотическая кретинка, они тебя на понт брали, они ничего не знали про вторую машинку!» «Но она все равно чистая», — растерянно сказала жена. Он оглянулся на сидящего в углу согладастая и вдруг, что-то поняв, злобно расхохотался, а потом покрыл ее таким матом, что надзиратель медленно сложил свою газету и нажал на кнопку звонка...

Она рассказывала, как он пришел с похорон своего лучшего друга. Это были похороны потайные, их пытались спрятать от глаз общественности, как самого покойника пытались спрятать поскорее в могилу; на кладбище было полно переодетых наблюдателей, и поэтому он не взял ее с собой — так говорила она корреспонденту, хотя знала, что он не взял ее потому, что с ним пошла та, с которой они потом и уехали. Он пришел с кладбища спокойный; рассеянно отвечал на ее расспросы, а когда она высказала удивление, что он так ни разу и не уронил слезы и не пригорюнился, ответил с усмешкой:

— Подумаешь о Вселенной, и слезы высыхают на глазах.

Вот какой он был! Вот какой он был! Он, как бесчувственная стрела, летел, пронзая встречных людей, жену, сына, что только ни попадалось на пути, — стрела, оперенная высшей целью. Уж она ли не пыталась влить в него истину, научить состраданию к людям, к их слабостям, но он только морщился и указывал ей, что восклицания и бурная жестикуляция еще не означают глубины переживания... Он презирал ее восторженность, он снимал с ее полки книги своих предполагаемых или действительных врагов, книги, которые доставляли ей наслаждение: такое там было понимание человеческой природы, психологическая достоверность, а какой слог! — он брал в руки эти потрепанные томики и менялся в лице, словно после пощечины. У него губы дрожали. На него нападало косноязычие. Он никак не мог растолковать ей, чем плохи эти книги, как ни старался. Ложь, вот и все, что он мог сказать. А какая ложь? Конечно, ведь писатели все выдумывают, но что касается того, что у нее нет вкуса, так это тоже ложь, — она всю жизнь проработала учительницей литературы и свой предмет знает, доказательством тому любовь учеников; некоторые из них тоже стали учителями, например, ее гордость, Вася Полетаев, завуч бамовской школы для детей железнодорожников, а еще Вера Хорунжая, тоже хороший словесник и мать троих детей. А он говорил, что она понимает свой предмет извращенно, как и саму жизнь, предмет этого предмета. Она пахала в школе как вол, потому что ему все эти годы не давали работать, он только писал, разъезжал по каким-то церквям и монастырям, встречался с людьми. Квартиру им все равно бы не дали, они так и жили в этой деревянной каморке; а когда родился Слава — этого он не мог пережить, что у такого, как он, гения, родился сын-идиот, и поэтому бросил ее, как отслужившую свое собаку, а теперь поучает весь мир из Парижа.

Слава сидел, склонив голову, слушал излияния матери, терпеливо дожидаясь, когда она обратит на него внимание: он протягивал ей через стол ладонку, в которую вошла заноза. Наконец она замолкла, выдохшись, и склонилась над ладонью сына, надев очки, с булавкой в руке, — склонилась над страшной ладонью сумасшедшего, линии которой, как ветви деревьев, как рябь на озере, все сносило в одну сторону, точно страшный ветер сдувал и сдувал с предначертанного природой места и линии судьбы, и линию жизни — туда, за край ладони, за край человеческой жизни и судьбы.

Пока длилась эта невольная пауза, корреспонденту модного еженедельника, человеку с блокнотом и с бесшумно работающим диктофоном в кармане, ничего другого не оставалось, как смотреть на Славу, а это было нелегко. Пока длился монолог его матери, Слава был как бы полускрыт в клубах ее гнева, подернут пеленой материнской ярости; но вот слова, раскачивающие смыслы идвигающие действующих лиц, как картонные фигурки, развеялись облаком пушечного дыма, и молчание начинало сочиться изо всех углов комнаты, стирая следы обиды, смахивая слезы, уничтожая память о былом обмане, усыпляя амбиции, — и тогда проступило лицо молчаливого Славы, как лик верховного божества, управлявшего этой крикливой, вертящейся

как юла вокруг пустого места, занятого в прошлом ее мужем, женщиной: лицо, в котором не было ни одной жесткой складки, нанесенной опытом, ни одного кармана для угрюмой, себялюбивой мысли, — ни одной выеденной завистью морщины. Человек с блокнотом в руке и тайным диктофоном в кармане, до сих пор пятившийся от Славы взглядом, стараясь не ожечься о его ясную, бесхитростную и понимающую улыбку идиота, теперь всматривался в его лицо, — и вдруг почувствовал под сердцем какой-то неясный толчок, это было предощущение какого-то полета, светлого, окрыляющего чувства свободы от себя, как будто кто-то другой вдруг отпустил его — огромного, неповоротливого, смертного, — на волю... Он уже не отводил изумленного взгляда от Славы, с каждой секундой все глубже проникая в другое измерение, где вещи быстренько менялись местами, крикливые идеи испарялись, как роса под лучами пристального, глядящего прямо в душу солнца, а на первое место выступили глаза Славы, которые, как сердцевина цветов, не выражали ничего, кроме доверия, кротости и небесной мудрости; взгляд его, как взор волшебника, делал мир простым, каковым он, в сущности, и был, сводя толпы мыслей и сонмы страстей в одно целое, покрывающееся одним словом: жизнь.

И корреспондент переводил взгляд на мать мальчика: чувствует ли она все это, но мать, согласно раз и навсегда заведенному ритуалу, скорбно качала головой и говорила:

— А теперь посмотрите зверинец Славы...

Слаvinу крохотную каморку с высоким, под самый потолок окошечком уместно было бы назвать светелкой. Стены ее были оклеены спиланными школьными географическими картами, и, когда Слава остановился посередине комнаты и улыбочиво оглянулся на корреспондента, мурашки побежали по телу модного молодого человека: вокруг мальчика и в самом деле вращалась земля, петляя своими Амазонками и Енисеями, карабкаясь к небу Кордильерами и Саянами, простирая свои океаны от выключателя до клетки с канарейкой. Когда Слава вошел, все ручное зверье в его комнатке как бы привстало на цыпочки в своих вольерах, радуясь хозяину, и в эту минуту все — от черепашки до мышки-альбиноски — сделались похожими на Славу — может, поэтому, что в этих малютках-зверушках жила такая же терпеливая вера в большую, добрую человеческую ладонь, на которой лежит вкусное чудо. Слава прижимал к щеке норушку, а в это время мать его гудела что-то про аквариум, из которого, почуяв Славу, смотрела цветными глазами одинокая рыбина...

Оказывается, это был второй по счету Слаvin аквариум. Первый нечаянно разбили когда-то при обыске; страшный крик Славы над задыхающейся рыбкой в тот день спас его отца, потому что в оперативниках этот вопль ребенка по погибающей живой душе прорезал их собственные души, и они бежали, не досмотрев швейную машинку на антресолях, в которой хранился Авторханов. После того как непрощенные гости ушли, отец, преодолев брезгливость, обнял Славу, но ребенок так плакал, целуя мертвую рыбку, что, казалось, сойдет с ума от горя, — если б у него был этот, с позволения сказать, ум.

А когда отец на рассвете прощался с ними навсегда и надеялся отделаться от сына скорбным молчаливым стоянием у его кровати, Слава вдруг пробудился, как от толчка, вскочил на ноги и, как будто все поняв, стал совать отцу в дар черепашку, от которой тот в ужасе отшатнулся, как от раскаленного добела камня, но всю безысходную красоту этой жертвы сына унес с собою под идиллическое, клубящееся уютными облаками небо Неметчины.

Корреспондент грустно качал головой, что-то про себя вспоминая, сидел рядом со Славой на корточках перед черепашкой, мышонком и хомячком — и уже знал, конечно, что, несмотря на эту нежность,

пробирающую душу, через какой-нибудь день он все равно и Славу, и его мать, и хомячка с рыбиной, и даже весь земной шар, распластавшийся по стене, — всех-всех посадит в клетку из едких, напористых слов и заштрихует буквами...

И вот этот Слава, сын выдающегося человека, его наследник в высшем смысле этого слова, лучше которого и придумать было нельзя, ангел, словно и не живший на земле, умер, и то, чего она прежде страшилась, о чем думать не могла без содрогания — о зреющих где-то в Париже мемуарах мужа, письменах, каждая буква которых каленым железом должна была заклеить ее на веки вечные, — все это перестало вдруг для нее существовать, как будто она сама умерла или переменила веру.

Последние слова, выкрикнутые ею из самой глубины горя, подхватила газета, которая еще год назад превозносила ее мужа, но после какого-то его политического заявления перестала ссылаться на него, как на проводника взглядов своей партии. Когда спустя три недели после Славиных похорон к ней подступились, чтобы узнать ее мнение об очередной программной статье ее мужа, она вдруг, как будто к ней прикоснулись оголенным проводом, закричала, что если в советчики будут записывать людей, бросающих своих больных детей и жен, то конец: всему конец. После этого она замолчала, сживаясь со странной, неожиданной мыслью, что, похоронив Славу, она закопала вместе с ним и его отца, — все то лучшее, что таки было когда-то в этом цельнометаллическом человеке... — и все ей сделалось безразлично.

А между тем ее бывший муж продолжал участвовать в международных симпозиумах, возглавлять научный институт, успевая между серьезной научной работой делать какие-то заявления, которые противоречили друг другу, в его позиции по такому-то и такому-то вопросу наметились колебания, — и вокруг его имени снова образовалось роевое сияние славы, шевеление злобы и жар восклицаний. Но ее это уже не интересовало.

Когда представители печати стучались в ее дверь, им открывала какая-то сторбленная, в старушечьем платке бабка и дребезжащим голосом говорила, что такая-то здесь больше не проживает, а где проживает — неизвестно, и даже те, кто с трудом узнавали в этом божьем одуванчике ту яростную, полную гордой, мстительной жизни женщину, даже они растерянно поворачивали несолоно хлебавши, понимая, что здесь все былшем поросло и поживиться нечем...

Дальнейшее существование ее было приглушенным, слабым эхом, теряющимся в коридоре дней.

Спустя два месяца после Славиной смерти она сделала то, о чем всю жизнь без отвлечения и помыслить не могла, — вернулась в свой город детства, к унылой природе степной полосы, к скорбному пейзажу из окна с видом на какой-то ремонтный заводик.

Только в такой глухой норе можно было отдохнуть от той орущей на разные голоса жизни, которой она столько лет пыталась объяснить себя, как глухонемая, яростно жестикулируя и надрывая душу.

Она вернулась и захлопнула за собой дверь, и теперь, повернувшись спиной к жизни, так много потребовавшей от нее, она встретила взгляд другой жизни, не требующей от нее ничего, кроме простого дыхания, вечерних прогулок и какой-то немудреной пищи; она благоговела деревянные стены, потолок, дверь с шатающейся задвижкой и нехитрым замком, как нежно склонившееся над нею существо, давшее ее истерзанной душе покой, телу — тепло, уму — одиночество, и больше не вспоминала ни выдающегося мужа, ни своего бедного сына, ни саму себя, и только одна картина иногда вспоминалась ей.

Как она с какими-то влюбленными в нее мальчиками переходит большую площадь к остановке автобуса под проливным ливнем, торжествующим весенним дождем, и издали видит, что автобус вот-вот тронется, на него не успеть.

Мальчики, утешая ее, говорят: подождем, сейчас придет другой.

Но она срывает с себя плащ из мягкой, ребяческой клеенки, чтобы он не стеснял движений.

— Подождать?! Ни за что!

И, бросив плащ на руки мальчикам, пускается вдогонку за автобусом, и летит быстрее ливня, летит по мокрому асфальту, отражающему клубящееся облаками небо. Успела, вскочила на подножку, повернула мокрое, счастливое лицо в сторону отставших ухажеров, махнула прощально рукой, и автобус тронулся.

Подумаешь о Вселенной, и слезы высыхают на глазах.



Петро Билывода

ОБЕРЕГАЙ МОЙ ДОМ

Политическая карта нашего, некогда общего, отечества меняется на глазах, резко очерчиваются внутренние границы, появляются непривычные названия государств. К счастью, неизменными остаются языки, на которых говорят и пишут люди, населяющие эти государства, а также продолжает совершенствоваться искусство художественного перевода, еще во время оно припасенное на случай общения.

Журнал «Согласие» тоже волею судеб оказался теперь не всесоюзным, а только российским. Но мы считаем себя не вправе обеднять нашего читателя, лишая его возможности встретиться иногда с талантливыми поэтами и прозаиками «новой зарубежья».

ДЕНЬ

И снова день прошел, торжественный и чистый,
поджарый и сухой, как молодой олень;
но там, где он бежал, не шелохнулись листья,
не прошуршал песок, не покачнулась тень.
Летел мимо меня он в белый свет широкий,
как ангел смерти, быстроногий и жестокий.

РОНДО ДЛЯ ДРУГА

В гармонично построенном мире
среди наших, затеявших пир,
первых слез и последних кумиров
красногрудый порхает снегирь.
Красногрудый порхает снегирь
среди пеших, двуногих, богатых,
тех, кто пьет на похмелье чифирь,
впав в тяжелый загул до зарплаты.
От зарплаты, да, да, от зарплаты,
сквозь мгновенья, сквозь вечность,
сквозь стыд,
всех сближая, комочек пернатый
электрическим током летит.
Электрическим током летит,
пробиваясь сквозь щели и дыры,
где живешь ты, взыскуя мечты,
в гармонично построенном мире.

* * *

В стихотворенье ни о чем
дымит воскресно бузина,
а сына в Киев провожают
и ничего не ожидают
отец, долина, двор, весна.

Топор, колода и порог —
как эпитафья после боя:
«Такой-то доблестно полег
в сражении с самим собою
в стихотворенье ни о чем...»

Не ждите тишины и грома,
а просто — шелеста куста,
клубящегося возле дома.

КВАРТИРАНТ

Я квартирант. На улице весна.
За окнами грохочет автострада.
Скворцов разноголосую плеяду
январскими запасами пшена
приманивает дочь хозяйки Надя.

Коса у Нади — гладить допоздна,
и почему не сочинить балладу
о том, как вдруг влюбился квартирант
в хозяйку молодую безвозвратно,
в непритязательную песенку пернатых,
что слышится сквозь грохот автострад.

Я — квартирант. В открытое окно
бросает ветер медное пшено,
скворец стальной уютит автостраду,
свершаю панихиду по балладе,
земля дымится, юная трава
пронзает стрелами опавшие слова.

ДОЖДЬ

Хлещет дождь — убегают прохожие.
Хлещет так — прогибается площадь.
Дождь сегодня весь мир прополощет:
и святые места, и отхожие...

А нам кажется: мы — в ином мире
и нас дождь обойдет стороною,
вспоминаем о праведном Ное,
в коммунальной закрывшись квартире.

Хлещет дождь — и трещат наши окна,
потолок прогибается, Боже...
Страшно выйти под дождь и промокнуть
и не выйти уже невозможно.

* * *

Я ухожу, но ты
оберегай мой дом,
я ночевать ночей
уже не буду в нем.

Не буду ночевать,
не буду отвечать —
на твой немой вопрос
я наложу печать.
Пусть будет не чужим
и не пустым мой дом,
огонь — не золотым
и горьким-горьким дым.
Пусть льется в небеса
дым из трубы печной —
как речка, как коса,
как свет во тьме ночной.

* * *

Вынул из кладовки чемодан,
паутину веником смахнул
и рванул под реактивный гул
через Черновцы на Магадан.

Словно смерч, страну исколесил,
в поездах и на вокзалах спал.
И в дороге, на исходе сил,
речь утратил, память потерял.

Выведал начала и концы,
все на свете золото скопил.
И туннель сквозь воздух пробурил
через Магадан на Черновцы.

... Смерч, как ось, вонзился у двери,
яму роет, ковыряет высь.
Дом мой, не кружись, остановись!
На родного сына посмотри!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

И в скором поезде, ей-Богу,
не убаюкает дорога:
огни не устают мелькать;
прохлада площади вокзальной
тиха, пустынна и печальна,
как вещий сон — минут на пять.
Ваш сын ходил на Цареград.
Явив и силу, и отвагу
во славу флага и присяги,
он возвращается назад.
Не дождь на ваши нивы — град.

Увы, он вам из Цареграда
не привезет заморских кладов.
Ни света правды, ни внучат —
один лишь чад в его очах.
Ему вернуться даровалось —
простит ли Бог ему усталость,
а мать с отцом простят. Простят.
Но не о том напев старинный,

и не о том болят былины.
В них конь и поле, гром и площадь,
которую дожди полощут,
в них не бывает места снам
и скорым вещим поездам,
мерцающим из полуночи.

* * *

Мой конь рассекает кипящую пыль.
Колелется клен, ковыляет ковыль.
Ослабив поводья, доверься коню.
По ветру летит моя смятая тень —
ее никогда уже не догоню.
Хотел и отец в поднебесье взлететь,
но в землю корнями вцепился — плетень.
Жизнь прахом пошла и быльем поросла.
Но аист не бросил родного села —
стоит истуканом у бывших дворов,
на верном поверье, на розе ветров,
на сгустке пространства устроился так,
как будто никто никуда не взлетал.

Перевел с украинского Сергей ЧИРКОВ



НОВОЕ ИМЯ

Раиса Елагина

САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ

Рассказы

БЕЛЫЙ БЕГЕМОТ

Собственно говоря, теперь, после всех этих скандалов, моего заточения в психушке и лечения, что помогло мне в неполные двадцать три года достичь веса в сто тридцать килограмм, мне стало все без разницы. Пожалуй, я с удовольствием согласилась бы даже и совсем не жить. Именно не жить, потому что умирать я боюсь, это, наверное, очень больно, а мне хотелось бы именно не жить. Скорее всего, это даже приятно: весь мир со своей мерзостью корчится в судорогах существования, а ты находишься в оцепененном полусне, не ощущая его боли и не испытывая его неудобств, как зритель, что после сытного ужина расположился на мягком диване возле телеэкрана. Впрочем, время от времени — как только начинается очередной курс из той дряни цветных таблеток, которые выписывают для профилактики психам, — я хожу по квартире, как сомнамбула, натываясь на мебель, четко усвоив три главных места: диван, унитаз, холодильник, — и мозг мой совсем не реагирует ни на время суток, ни на вид за окном, ни на тех людей, которые почему-то появляются рядом со мной, и я существую именно в том небытии, которое пока еще ассоциируется у меня с нежизнью, и я отключаюсь от всего прочего, как ленивое стойловое животное, для которого мир заключен лишь в нем самом.

Будущего у меня нет. То есть есть, но вот такое: из курсов цветных таблеток, забытья и ужаса пробуждения. Все те же стены, та же мебель и мама, которая законсервировалась пятнадцать лет назад и с тех пор не меняется. Меняются только мужчины возле нее: она уже время «выходит замуж». Вхождение в замужество для нее давно уже превратилось в перманентный процесс. Знакомство-ухаживание-разрыв, знакомство-ухаживание-разрыв, и так до бесконечности, как повторяющаяся часть периодической дроби. Ей — маме — пожалуй, совсем не надо замуж, но она очень хочет доказать отцу, что она и без него не пропадет, а поэтому все выходит и выходит... Иногда я про себя думаю: «Господи, ну пусть она наконец-то выйдет, хоть разочек, может, ей так будет лучше», но, видно, я слишком большая грешница и мои молитвы до Господа Бога не доходят.

Зато отец после развода женился раза три или четыре. С последней своей женой он живет уже лет пять, у них сын, мой сводный брат, которому два с половиной года. Последняя жена моложе папочки на пятнадцать лет, и он ее вроде бы очень любит. В промежуточных браках — между мамой и последней женой — детей у отца не было. Мама

говорит, что это хорошо, а то у него, отца, было бы гораздо меньше возможностей уделять мне внимание.

А как по мне, так лучше бы этого внимания и вовсе не было. Вот отвезли они меня в двухмесячном возрасте к бабуле в деревню — и жила я без забот, и спокойно так могла доучиться до восьмого класса в деревенской школе, а потом пойти на полное довольствие в ПТУ, а там — проторенная дорога — завод и заводское общежитие, и никаких проблем! Разве что к тридцатилетию непрерывного трудового стажа мне родной завод выделил бы малосемейку. И все. Но нет же! В восемь лет родители забрали меня от бабули в город и впахнули в английскую школу. Папочка и тогда уже был большой начальник и в обыкновенную отдать меня не захотел. А потом папочка решил впахнуть меня в медицинститут. На экзаменах я даже не плавала, а тонула топориком. Но меня зачислили — должно быть, родитель одарил всю приемную комиссию морозильниками и стиральными машинами. По-другому свое поступление я объяснить не могу. В институте я промучилась пять лет. Каждую сессию за меня сдавал папа.

«Просто диву даешься твоей лени! — рычал он на меня. — Ты бы только знала, какие непотребные деньги они с меня дерут! А тебе все само в руки идет, и ты же пальцы сжать ленишься!» — и он приводил мне в пример себя и мою маму, им-то никто учиться не помогал.

Если честно, то я толком не знаю, отчего они разошлись. Мама говорит, что жить с отцом было совершенно невозможно, женщины ему прохода не давали, прилюдно на шею вешались, а папочка им в этом деле никогда не перечил, и она, мама, такой жизни не вынесла, и если бы у отца было хоть чуть-чуть совести и он эти свои ширли-мырли напоказ не выставлял, то они, конечно, жили бы вместе. Но это мамина версия. У папочки версия иная: «Если бы твоя мать хоть немножко меня ценила!..». Еще две версии — для общегородского употребления — я узнала случайно, одну подслушала в трамвае, а другую — в психушке.

В трамвае я сидела на одиночном сиденье у окна, а рядом стояли два парня, довольно-таки молодые, чуть меня старше, и трепались. Один говорил другому: «Слыхал, а Корсаков опять женился». — «Да? И на ком?» — «Молоденькую взял. Клевая телка, помнишь, в «Орбите» все с ракеткой бегала?» — «Веселенькая такая?» — «Ага. На днях родит». — «Молодец, такого зверя окрутила! Был бы я бабой, я б тоже под Корсакова лег — зверь мужик, зверь!» — «А что он от своей ушел?» — «Разве он уходил? Его все бабы друг у друга из рук дерут, шутишь что ли — генеральный директор! Он у них — как переходящий приз...»

В психушке под дверью моей палаты разговаривали пожилые медсестры. Одна говорила другой: «Вот, раньше в этой САМ после белой горячки отлеживался, а сейчас какую-то «прости господи» привезли». А вторая ей отвечала: «Да не «прости господи», а корсаковскую дочку». — «Да что ты! А разве у Корсакова есть взрослые дети?» — «Вот видишь — есть, от Шурочки». — «От Шурочки? От этой проститутки?» — «От нее, от нее. Уж как он с ней мучился, беденький, из-под кого только не вынимал! Вот ведь б... была! Он за дверь, а она мужика в дом. А наглая! Свет не видывал! В дом отдыха вдвоем поедут, а она в лодку с тремя мужиками — скок! — и ни одному не откажет, у всех считай на глазах!» — «Да ты что?!» — «Вот те крест! Он с ней, бедолага, помучился-помучился, да и ушел. А девку она ему спортила. Да как же у такой б... девка нормальная вырастет! Вот уж яблоко от яблони...» А потом они долго говорили про САМОГО. «Ох, хорошее времечко было! Напьется, САМИХА Путяхину звонит — плохо, мол, Гришеньке, а Путяхин — вот умница! — во фронт вытянется у трубки: «Вас понял, спецвыезд прибудет через пятнадцать минут». Свою «Вол-

гу» за ним посылал. Привезут САМОГО, уложат, наколют-належат и под персидские ковры в эту палату. А утром САМ проспится, на крахмальных простынях рассыдется, сопли синие распустит и причитает: «Матушка моя родная, Аглафера Илларионовна! И думала ли ты, что твой Гришка первым человеком в области будет!» — «Да уж, а как совсем отрезвеет, из палаты выйдет, с любимым персоналом за руку поздоровается и за жизнь спросит. Душевный был человек». — «Да уж, как хороший человек, так сразу в Москву и берут». — «А помнишь — через три дня всему персоналу премия из спецфонда и паек»... И они так подробно и так вкусно стали вспоминать, что именно и в каких количествах входило в этот паек, что у меня слюнки потекли, и я стала вспоминать всякие вкусности из своей жизни, которые мне иногда перепали с папочкиного стола, и перестала прислушиваться к их болтовне.

Словом, родители мои разошлись, когда мне было десять лет, и все. Отец оставил матери квартиру и обстановку (впрочем, он каждой жене оставлял квартиру и обстановку), свою — к тому времени уже достаточно известную в хозяйственных кругах — фамилию и меня. И мы стали жить вдвоем: мама принялась выходить замуж, а я существовать своей отдельной детской жизнью.

Вообще-то я на отца не в обиде. Ну, ушел и ушел, ничего не поделаешь, но в данном случае есть кое-какие отягчающие обстоятельства. Просто одно то, что он большой начальник. И мама волей-неволей его постоянно вспоминает, причем вспоминает таким образом: «Вот если б он жил с нами, то (тут следует название какого-нибудь блага: квартиры улучшенной планировки, модной тряпки, дефицитной путевки или еще чего-нибудь) было бы наше, а то его финтифлюшке досталось, а не тебе». И так все время, и так постоянно. Нарочно что ли, чтоб я себя чувствовала как можно более обделенной?.. Тут невольно на ум придет, что если бы отец не ушел, а умер, то всех этих охов-вздохов не было и мне жилось бы гораздо лучше, по крайней мере, в моральном плане. А тут еще то, что отец меня не забывает (мама считает, что все это он делает ей назло) и время от времени что-нибудь подбрасывает или чем-то помогает, но на маму не угодишь, она непременно вернет, что своей очередной жене он более модные сапоги достал, нежели родной дочери, или что он, такой-сякой, дочери путевку на море за тридцать процентов стоимости принес, а мог бы и бесплатно сделать, не бедный, взял бы и сам заплатил.

Когда мне исполнилось двадцать лет, все мамини причитания мне так ужасно надоели, что я решила выйти замуж и уехать от нее куда-нибудь подальше.

Замужество мое оказалось и глупым, и коротким, и неудачным. Вспоминать тошно. Окончилось оно скоропалительно. Я училась тогда на третьем курсе, мы ездили из одной клиники в другую, и в зимней транспортной толчее меня так крепко вжали при входе ровнехонько в металлический стояк поручня, что поездка кончилась гинекологическим отделением и пятимесячным выкидышем. Все было мерзко-премерзко, и почему-то самым виноватым во всем оказался в моем сознании мой муж, и я его просто возненавидела, и то, что потом мы быстро и навсегда расстались, было совершенно естественным и нормальным. И когда я вспоминаю эту историю, единственное, что мне приходит на ум, — так это то, что замуж вообще не надо было выходить, и все. Ни сожаления, ни раскаяния, ни какой-то там утратной горечи. И единственный итог моего замужества — это год академического отпуска, истраченного на лечение.

Папочка меня очень жалел. Он частенько приезжал ко мне в больницу, а потом взял с собой отдыхать на турбазу. С ним были там молодая жена и мой сводный брат. Турбаза была заводская, по вечерам

В нашем домике собиралась начальственная компания, они устраивали скромненькие застолья с коньяком, осетриной и сервелатом, с шуточками, анекдотами и карточными играми, на меня все смотрели как на неизлечимо больную, и у всех на лицах было написано: «Какой хороший отец! Как он заботится о своей дочери!» Помню, что все это меня страшно злило и я все старалась сделать какую-нибудь гадость: или глупость сказать, или дверью хлопнуть, или же отчебучить еще что-нибудь эдакое, чтоб у всех присутствующих их поганые челюсти навсегда отвисли и они бы забыли дорогу в отцовский домик. Слава Богу, никаких больших глупостей в тот отпуск я устроить не успела, вот только нервы отцу и его последней супруге все-таки помотала.

Но это тоже дело прошлое. Хотя, может, из-за этого все остальное и случилось. Да, конечно, папочкина жена, чтоб не проводить время со мной рядом, подговорила отца отправить на следующее лето меня на отдых вместе с мамой. А мама ехать со мной не захотела — у нее ведь одни женихи в голове. И поехала со мной подружка Ленка. Вместо мамы.

Отдыхали мы в Сочи, в санатории «Россия». И тут, в Сочах, со мной все это и случилось. Дуриком в общем-то. Пошли с Ленкой пешком на базар, а дорога мимо пивбара идет, есть там, в Сочах, такой хитрый пивбар у самого пивзавода, над речушкой Сочи. И вот идем мы мимо зашторенных окон, и Ленка говорит: «А неплохо бы было нам с тобой сочинского пива попробовать», и тут же от толпы, что возле дверей, отлетает молодой человек и говорит Ленке: «Конечно, неплохо, если хотите, давайте со мной зайдем, я тут за неделю столик заказывал, а друзья опаздывают, не пропадать же заказу!» И тут на нас прямо какой-то солнечный удар напал — мы вдруг взяли и согласились. Зашли в пивбар на час, у них расписание такое, а вернулись назад, в санаторий, аж через сутки. Папочку вызвали телеграммой: «СРОЧНАЯ ВАШЕЙ ДОЧЕРЬЮ СЛУЧИЛОСЬ НЕСЧАСТЬЕ СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙТЕ НАЧГУВД СЕЛИВАНОВ». И папочка примчался. Да, конечно, если бы этот самый Селиванов с папочкой в одной компании прежде не пил и лично папочку не знал или хотя бы я свою девичью фамилию не вернула... Ну, в общем, все это бы само собой замялось и не вылилось в то, во что оно вылилось. Да что я все вокруг да около... Словом, друзья того парня подошли, хотя и с опозданием, и очутились мы в компании людей не то восточных, не то горских, и на дурика и спьяну продолжали веселиться бог весть где на территории какой-то не то дачи, не то усадьбы, не то пансионатного домика, и дальше все пошло не слава богу, поскольку мы с Ленкой были пьяны, не то восточные, не то горские люди — настойчивы и целенаправленны, словом, все кончилось скандалом, слезами и милицией, поскольку Ленка уже потом, после всего, решила из окна выпрыгнуть и умудрилась руку сломать — так, ерундовско, даже не перелом, а трещина, но шуму получилось тьма, крик, рев, плач, толпа людей и всякая прочая непотребь.

История эта даже в местную печать просочилась, на тему морали о неразборчивых девушках легкого поведения и что, мол, из этого выходит.

Папочка примчался на всех парах, наорал на меня, облобызал начальника ГУВД Селиванова, навел справки насчет Ленкиной руки и, взявши нас за шиворот, уволок из курортного города прочь в постыльную глубинку. Здесь он сдал Ленку на руки ее родне, а меня — мамочке, и тут все началось.

Они переругались. Они кричали друг другу такое, что я уши затыкала. А потом со мной истерика началась. Причем необыкновенная. Я употребила исключительно в свой личный адрес весь русский мат, который на тот момент помнила, и все слова эти были только женского рода, перемеживала я все эти сочные выражения дикими вы-

криками, что жить я не хочу, и меня, которая и такая, и сякая, и эдакая, поскорее прикончить надо, а поскольку мама с папой этого делать не хотят, то пустите меня на балкон, я сама с него сброшусь. Папочка закричал на меня, что я дура, и вклеил мне не то пощечину, не то оплеуху. Я взвизгнула и зарыдала, как царевна-несмеяна. Мысли мои приняли другой оборот, и я запричитала, что после всего случившегося у меня — тут я перечислила весь венерологический раздел учебника по дерматологии — мне, такой из себя неизлечимо больной и невыносимо гадкой, жить все равно не стоит и таких, как я, в зародыше душить надо.

Вот этого мамочка с папочкой слегка перепугались. У мамочки ее крашенная мордочка слегка вытянулась, а у папочки лицо просто посерело.

А дальше у меня в памяти провал. Затравили мою память. Память моя начинается с той самой привилегированной палаты для психбольных.

Не знаю, чем там они меня пичкали, но от их лечения я все толстела и толстела, и плыла и плыла, и раздобрела аж на сто тридцать килограмм. По субботам папочка меня брал к себе домой мыться. Он лично для меня надраивал ванну, отмерял колпачком импортное пеномощное средство и набирал воду. Пробившись сквозь воздушный айсберг радужной пены, я уместала свои тела в теплую жидкость и представляла себя огромным добродушным белым бегемотом, что плещется где-то в речке Лимпопо. И мне было хорошо... Я растворялась в воде, тело мое легчало и переставало меня раздражать, и я забывала и о своих печалях, и о своей невыносимой гадкости, и о своей полнейшей никчемности.

Последняя папочкина жена ненавидела мои купания всей душой. «Ты бы о сыне подумал, он ведь тоже в этой ванне купаться будет», — шипела она отцу. «Ну и что?» — «Она же заразная!» — «Брось выдумывать! У нее просто невроз». — «А вдруг это еще не проявилось?» — «Не выдумывай глупости!» — «Это у тебя глупости, а у меня ребенок!» — «Это тоже ребенок, только большой и больной...» И они переругивались прямо возле закрытой двери ванной, мне кажется, она это делала специально, чтоб я слышала. А я выучила все ее шпильки наизусть и совсем не обращала на них свое внимание, ведь я белый бегемот, а бегемоты очень толстокожие.

В институте папочка оформил на меня очередной академ. Сейчас он мечтает, что я очухаюсь от своих неврозов и снова буду учиться. А я учиться не хочу. Совсем. И совсем не хочу идти работать врачом. Это ведь так страшно: люди приходят к тебе со своими болячками, а ты терпеть не можешь ни их лично, ни их болячки и никого не хочешь знать и видеть. Ах, если б я училась где-нибудь на технаря! Тогда я устроилась бы работать куда-нибудь в громыхающий темный цех, села меж мрачных железных станков, равнодушных и беспристрастных, как все железное, в каком-нибудь самом глухом углу, где людей отродясь не бывает, и мне было бы хорошо и покойно в этом мраке и грохоте...

Дома после выписки я наткнулась на очередного маминго жениха. Мама так и сказала: «У него серьезные намерения. Он — ВДОВЕЦ». «Вдовец» было сказано так значительно, как говорят: «штатовская вещица», или «японская штучка», или «маде ин Германи». И я подумала, что вдовец — это, может быть, действительно серьезно, ведь все остальные ухажеры были женатики. Они приходили в нашу квартиру, хвалили мебель и обои, маменькину выпивку и закуску, потом исчезали с ней в спальне — своей комнаты у меня не было, и я перебивалась в зале — и неизменно возвращались домой к своим плохим женам, которые их понимали не так хорошо, как моя мама, и которые их плохо или не так

любили, и которые были вообще никудашные, но были те самые жены, от которых никто никогда не уходит.

«Ты знаешь, мы решили после ЗАГСа непременно обвенчаться в церкви. Церковный брак — это перед Богом, это навсегда!»

«Да-да, конечно, сейчас модно все православное...»

«И еще... Мы решили разменять с тобой квартиру. Ты взрослый человек, и у тебя тоже должна быть своя личная жизнь».

«Квартиру? Но... но ты... мне... не мешаешь...»

«Да, да, да! Квартиру! Потому что ты... ты...»

И больше она мне ничего не сказала.

А я пошла на кухню, налила себе кипяченой воды в стаканчик, выпила пригоршню цветных таблеток, назначенных мне для профилактики, и отправилась спать.

Иногда я просыпаюсь. Мое белое огромное тело расплывается по поверхности постели, и мне тяжело справляться с ним. Я подолгу думаю, что мне надеть и как я в этой одежде буду выглядеть, хотя мой гардероб более чем скромнен — ведь мне пришлось поменять всю одежду. Потом я все-таки встаю и одеваюсь и выхожу на улицу. Здесь я медленно и важно дышу и размышляю на серьезные темы.

Вот я. Большой белый бегемот. Я произошла на свет, поскольку на нем однажды встретились моя мама — юркая коричневая бегемотиха — и мой папа — большой белый медведь.

А иногда я ни о чем не думаю. Я просто смотрю по сторонам. Я рассматриваю своих толстых дурно одетых соседок, что ходят по улицам в мягких комнатных тапочках. Я присматриваюсь к их тяжелой грузной походке, к их мощным икрам, испещренным варикозными вздутиями вен, я вижу их авоськи и мешковатые тряпичные сумки, набитые чудом материализовавшимися продуктами, я вслушиваюсь в их сиплые, сорванные голоса — они ругают перестройку, Горбачева и Ельцина, и со щемящей грустью шепчут: «А вот при Брежневе в застой...» — «Да уж, только и пожили...» И перед моим внутренним взором возникают я — жительница двадцать первого века, которая поместит свои большие страшные ноги в стоптанные тапочки, прикроет тело выцветшим, как полная луна, ситцем и шепелявым присвистом выдавит такой же страшненькой своей товарке по предподъездной скамеечке: «Да уж, только и урвали, что три года после школы человеческой жизни было...» — «Вот-вот, мы с тобой хоть три, а Зинка — всего на пять моложе, а так ничего в жизни и не видела...» И в памяти моей уже возникнет не та пакость сочинской ночи и не весь тошнотик психушки, а старинные, добротнo выстроенные корпуса «России», и галька вдоль берега плеского Черного моря, и белая ванна с теплой пенной водой, которую готовил мне мой отец...

J'AI OSÉE

У Степаньки желтые «Жигули» ноль третьего выпуска с подбитым крайним левым «глазом», а у Сержа «Волга» цвета парадной офицерской формы. Машины у них не свои — отцовские; у Степаньки папа занимал должность замдиректора по быту, у Сержа — так и вовсе генерал в отставке.

Нынче Степанькин папа месяцами на даче живет. Папа бодр и здоров, но рад пенсии и возвращаться на работу не спешит, хотя его и приглашают бывшие сослуживцы. Ему не внушает доверия перестрой-

* Я посмела, я дерзнула (франц.).

ка с ее неразберихой: «Она, может, дело и нужное, но... Но как при ней себя вести умному человеку, вот вопрос! И чем же все это кончится — тоже непонятно...» Хорошо, младший сын успел в науку пристроиться, там все проще, и политика большого значения не имеет, и потому папа за Степаньку особенно рад. Со старшим сложнее — он хозяйственник, а хозяйственникам никогда легко не жилось.

Степаньке уже тридцать два, он остепенен, занят солидными исследованиями с хорошим народнохозяйственным эффектом, конкурентов по работе у него нет — отрасль узкая, специфическая, Степанька сам на нее случайно набрел, а теперь пашет себе в удовольствие и промышленности на пользу, от предприятий, Степанькиными исследованиями заинтересовавшихся, отбою нет. Степанька невысок, неширок, голосом вкрадчив, волосы у него — каштановый пух, а на гладко выбритом лице — дежурная улыбка тонких, почти бескровных губ. Степанька до сих пор не женат, однако и не одинок — пару лет назад он сменил в своей комнате узенькую односпальную кровать на обширный велюровый «сексодром», иногда в отцовских «Жигулях» остается стойкий запах французских духов «j'ai osée», из командировок Степанька непременно везет ворох импортной косметики, а женская обувь его интересует исключительно тридцать седьмого размера. На мамыны вздохи о зятянувшемся холостячестве он посмеивается и говорит, что уважающий себя мужчина в родительскую квартиру любимую жену не приведет, а до своей собственной ему еще года два ждать осталось — в кооперативе только сваи под фундамент стали забивать. В такие моменты мама непременно папу подколлет: «Мог бы мальчику и раньше с квартирой помочь!». Папа оправдывается: «Кто б ему раньше даже и при нашем благе две комнаты в тридцать девять метров построить разрешил, когда нынче трехкомнатные квартиры на тридцать шесть тянут!», Степанька же посмеивается — ему и под маминым крылышком живется хорошо, самому рубашки стирать не надо, а там уж видно будет.

На работу он ездит на машине — удобнее, ему ведь порой за день в пять концов поспеть надо, Степанька переговоры с предприятиями сам ведет, двум своим сотрудникам не передоверяет. Возле института «Жигуль» паркует в одном и том же месте — под старым кленом, и частенько видит рядом с собой сине-зеленую «Волгу» Сержа. Чужой «Волге» он не завидует — мастодонт для перевода бензина; была бы «Тойота» или «Вольво»... Впрочем, этих машин Степаньке не видать, зато «Самару» он через год точно купит — в профкоме списки перетрясли, подсчитали: через год Старыкину личный транспорт светит.

Серж в очереди на личный транспорт не стоит — ему и отцовской «Волги» хватает по самую завязку, он как-никак единственный ребенок в семье, надежда и опора, и самые длинные поездки у него получаются по городским аптекам — отцу с годами лучше не становится. Отец Сержа — Герой Советского Союза Егор Петрович Жабоедов — высокого звания в сорок третьем был удостоен, будучи гвардии сержантом, после войны уже офицерские погоны получил, академично окончил и до генерала дослужился. Серж родительскую фамилию мужественно несет, а жена его, получив новый паспорт, расплакалась — из Шереметьевой невеста кем стала.

— Ну что ты, Симочка, плачешь, — удивлялась свекровь, — у нас очень хорошая фамилия, знаменитая, геройская!

Через семь лет Симочка опять сделалась Шереметьевой — после развода девичью фамилию взяла. С Егором Петровичем она с самого начала под одной крышей не ужилась, и пришлось Сержу в примачки идти, Впрочем, пардон за неточность, в те времена он был еще просто Сережа, мальчик с дипломом в кармане, без ясного будущего. И как же затянулась эта неясность!.. Три мрачных крепостных года заводской отработки промелькнуло, и два институтских в ожидании места

в аспирантуре на инженерной должности с дворницкой зарплатой, и даже год аспирантуры — а все неясно и неясно, и денег никаких, и перспективы туманнейшие. И свекор — герой-генерал на поверку **сухарь-идеалист** оказался, сыну ни рублем не помог и протекции никакой не составил:

— Мы, Жабоедовы, всего в жизни честно достигали!

Ну и достиг Сережа, что его теща по лестнице вниз спустила:

— Пошел вон, дорогой зять-негде-взять, не твой бы поганый язык — **задурил** девчонке голову! — она бы как королева жила, а не нищенствовала с тобой! Вон Яшка Петриков уже доцентом стал, Дима Ливанов майора получил, Лешка Великанов зам. директора, а ты все еще **недоучка-аспирант**, и еще неизвестно, когда защитишься, да и защитишься ли вообще! Только и умеешь, что детей делать! Вон! Без тебя обойдемся!

Сереже очень хотелось сказать, что Яшка Петриков у Сима в доме всего-то два раза и был, Дима Ливанов лишь водки нажраться приходил, а Лешка Великанов на спор, для хохмы за Симой ухаживал и никто из них жениться не собирался, одному Сереже Сима и нужна была, как парню честному и искренне влюбленному, но теща его и слушать не стала, пообещав с... метлой по спине надавать, если он хоть слово в ответ ей твякнет. И ушел Сережа, и родного сына, которого вроде бы любил, Вовчика, с тех пор ни разу не видел — **сначала** жена не разрешала, а потом уже и сам отвык. Лишь алименты со всех видов заработка исправно перечислял.

Впрочем, жабоедовская порода не подвела, крепкой оказалась: **выстоял** Сережа — и пять лет нищего ассистентства вытянул, и защиту в чужом городе, через тыщу лет после аспирантуры, выдюжил. А уж тут пруха пошла. Доцента дали, зарплату нормальную, бабушкин дом **снесли** — Сережа отдельную квартиру, свою, единоличную, получил, да и женщины его вдруг все дружно полюбили, и стал Сережа Сержем и **пожирателем** сердец. **Метаморфоза**, да и только. Жалко лишь, что **возраст** у Сержа **немаленький** — тридцать девять, да ладно, лучше поздно, чем никогда,

Идет Серж по институту рыскающей волчьей походкой, серо-зеленые глаза посверкивают, лобастую голову с густой гривой волос **крепкая** широкая шея держит, сам он весь крупный и массивный, но не толстый, а то, что называется «сбитый». Брюки на нем исключительно **белые** — «рио-де-жанейровские», и сам он **картиночный** фронт. Все **встречные** дамы с ним первыми радостно-писклявыми голосами здороваются, было б принято, они б и книксен для него сделали. Серж женщинам на улыбки не скупится. Со Степанькой и прочими мужчинами **рукопожатиями** обменивается.

— Умный мужик Жабоедов, если б не разбрасывался, уже б докторскую защитил, — говорит о нем Степанька.

— Толковый парень этот Старыкин, далеко пойдет, — говорит Серж. — Вот только уж такой он скользкий тип...

Говорят они это одной и той же женщине, правда, в разное время и при разных обстоятельствах.

С Сержем она сидит за трапезой на его кухне. Плотные шторы задернуты, магнитофон выдает что-нибудь современное, цветомузыкальная установка разбрасывает по стенам разноцветные блики. На Серже белые штаны, на женщине — нечто вроде набедренной повязки.

Серж говорлив. У него приступ гениальности — слова выплескиваются, как вода из закипевшей гейзерной кофеварки, а умные мысли просто перебивают одна другую. Он выкладывает женщине все свои планы, даже только что возникшие, изредка подхватывается и бежит

в комнату — оттуда торжественно приносит свиток распечатанной программы и водит пальцем по исполненным латынью словам, доказывая оригинальность решения. Женщина совершенно ничего не смыслит в программировании и поэтому никогда с ним не спорит. От ее улыбчивого согласия уверенность в собственных силах у Сержа возрастает прямо на порядок. Потом, ночью, он будет долго сидеть за столом, вычерчивая блок-схемы программ и время от времени замирая, вспоминая мягкую податливость ее гибкого тела и нежный запах ее духов. Но это — потом, ночью. А сейчас надо спешить выговориться, потому что еще немного — и она встанет, оденется и уйдет — быть может, даже на неделю, и он спешит, спешит говорить. . .

В прихожей он перекладывает продукты из своего портфеля в ее сумку. Ей нельзя долго задерживаться после работы, и он сам придумал, как удлинить недолгие свидания.

— Ты меня балуешь, — смеется она, обнаружив среди всего прочего сомика.

— Сосед предложил, я два взял — тебе и родителям! — гордится он своей находчивостью. — Может, тебе что-нибудь нужно? Ты не стесняйся, — просит он.

Она и не думает стесняться. Поэтому Серж возит на своей «Волге» в ремонт ее холодильник и стиральную машину, помогает привезти из мебельного шкаф и даже иногда копает ей дачу — но это уже совсем редко и после долгих переговоров — она боится, что соседи что-то не так поймут; поэтому Серж прихватывает друга Арнольда, они оба переодеваются в рванье под пьянчужек, способных перекопать за поллитру сивухи пол земного шара, неожиданный маскарад веселит, а дачные шашлыки, запитые «Цинандали», просто восхитительны. Арнольд балагурит и говорит, что с шашлыками, приготовленными такой женщиной, он способен собственную бороду съесть, все смеются, а Серж даже испытывает легкие приступы ревности.

Но сейчас они стоят в прихожей, она застегивает плащ и вот-вот выскользнет за дверь.

— Может, тебе деньги нужны? — спрашивает он. — Я вчера зарплату получил.

Деньги она берет редко, когда уж совсем прижмет, и никогда не возвращает — уж так между ними повелось с подачи Сержа. Он был рад для нее и большее что-нибудь сделать — но нельзя, муж может догадаться. А лишних скандалов никому не надо. Да-да, женщина замужем, у нее сын, которому скоро исполнится одиннадцать, она живет в переполненной людьми коммуналке, перед зарплатой считает копейки и все же умудряется хорошо выглядеть и не быть злокой. Да-да, у нее исключительно замечательный, милый характер, и ее зовут Мила. Такой у Сержа никогда еще не было, всем всегда что-нибудь от него нужно — либо квартиру, либо законный брак, либо постоянное унижение. А какому мужчине приятно чувствовать себя подставкой для дамских ног, хотя бы и очень красивых? Миле нужен он сам. Он это кожей чувствует. Ему с ней хорошо, замечательно хорошо — как случилось, какой тайник она отомкнула, какую струну затронула, что хорошо только с ней? Тайна, тайна, тайна. . .

— Я подвезу тебя? — спрашивает он.

— От остановки!

Он притормаживает на автобусной остановке по ее голосующей руке — случайная «Волга» цвета парадной офицерской формы, случайная женщина с тяжелыми сумками — надо же, успела забежать в овощной взять картошки, можно подумать, что он бы этого сделать не смог. . . И еще одна женщина с девочкой, у которой рука на перевязи, просится подвезти. . . Ладно, пусть садятся, у девочки рука в гипсе,

пусть садятся. Правда, теперь не поболтаешь... Интересно, сколько еще ему ждать тихого поскрипывания замка, открывающегося ее ключом? Сколько? Женщина с девочкой выходят раньше. Можно успеть перебраться парой фраз.

— Когда ты придешь?

— Когда-нибудь.

Улыбка в ответ и хлопок дверцы. И кивок на прощанье. Долгий путь пешком из гаража он не замечает — хаос идей выстраивается в нечто прекрасно-стройное и умное, такое умное, аж жуть, только бы не забыть, только бы успеть записать...

Со Степанькой она, как правило, проводит выходные и часть праздников. Степаньке сложно — она предпочитает абсолютно безлюдные места. Степанька выгадывает моменты, когда родительская квартира свободна, или нет никого на даче, или же на заводской турбазе дежурит верный друг, что вручит ключи от пустующего домика. Но лучше всего в родовом гнезде. Степанька любит уют родительских хоров. Еще Степанька любит сладкое, а готовит Мила классно, он даже специально миксер достал, чтоб ей было сподручнее.

Она разгуливает по квартире в прозрачном пеньюаре и шитых золотом восточных шлепанцах — тоже Степанькино приобретение; маршрут — между комнатой и кухней. Но вот все готово, на сервировочном столике две крохотные чашечки для мокко, поднос с тарталетками, в кофеварке высится пена, ароматизируя воздух, и четыре «макдональдса» в домашнем исполнении завершают натюрморт «Тет-а-тет». Включен видик, на «сексодроме» свежайшая постель индийского цветного белья, что делает его похожим на лужайку или клумбу, струит мягкий свет торшер.

Степанька зовет ее ласково — «бабушкой». Разницу в возрасте обсмеивает:

— Я всю жизнь мечтал любить бальзаковскую женщину. Если хочешь знать, это лучший возраст, который уготовила для вас природа.

Мила за «бабушку» не обижается. Степанька умеет в разговоре вставить какое-нибудь приятное замечание, да и вообще по-своему добр. Он не избалован женским вниманием, что очень чувствуется. Во времена учебные ему папина должность не прощались — так бывает, подбираются простые компании, где не любят папенькиных сынков. В московской аспирантуре местные львицы на невзрачного провинциала сомнительного происхождения не смотрели, а абы кого Степанька и сам не полюбит. Нынче же он котировался как хороший жених среди дев, пересидевших в ожидании замужества, — очень тоскливая публика, а главное — озлобленная; с молоденькими же девушками отчего-то и сам терялся. Мила ему понравилась сразу, с первого взгляда, когда он о ней еще и не знал ничего, — она напомнила ему женщину из одной московской, совершенно экстравагантной истории.

Ему случилось однажды с двумя друзьями прицениваться к мебели. И здесь, в мебельном магазине, очень красивая и очень растерянная отсутствием грузчиков девушка обратилась к ним с просьбой о помощи. Отблагодарила она их за погрузку-разгрузку весьма своеобразно — в квартире появились две ее подружки, тоже молодые и красивые; сели пить чай, и одна из новоприбывших после взаимных перешептываний сказала, что так и быть, поскольку ребята очень выручили их Лолочку, то они согласны с таких славных парней деньги за любовь не брать.

Ребята переглянулись — дело принимало неожиданный оборот, но мужчины народ не менее любопытный, не жели женщины, и куда более рискованный, а потому после чая друзья с нескрываемым удовольствием разбрелись по комнатам. С тех пор у Степаньки навсегда осталась любовь к красивой женской «упаковке» и жгучий интерес к итальянскому

языку (его дама свободно говорила по-итальянски, отвечая на чей-то телефонный звонок).

Чем ему Мила напоминала далекую фантастическую Лолочку, он и сам объяснить не мог, напомнила, и все. Но так бывает. И бывает, что в момент не слишком подходящий ты целуешь чужую женщину, совершенно неожиданно, ибо до этого обсуждал с ней вопросы весьма далекие от области чувств. Ты ждешь скандала, но его нет, напротив, события развиваются так, что ты понимаешь: ничего более умного, нежели этот неожиданный поцелуй, во всей своей жизни не совершал. «Жигуль» с подбитым «глазом» оказался первым и единственным свидетелем их объяснения, потом они никогда не выясняли отношений. Им и так было хорошо.

По твердому Степанькиному убеждению, замужняя женщина гуляет либо с жиру, либо с отчаяния. У Милы явно второй вариант — ну какой же ты мужик, если собственную жену прилично одеть не можешь? Любимая женщина Старыкина должна всегда хорошо выглядеть, и Степанька «упаковывал» ее по мере своих возможностей. Милые глазу дамские мелочи дарил, крупные вещи доставал по госцене — что тоже по нашим спекулятивным временам почти геройство. Мила преобразилась, но не в миг, а постепенно: словно расцвел казавшийся уже совсем поникшим бутон.

Они пьют крепкий кофе и обсуждают, шить Миле мини-юбку или нет. Впрочем, такие красивые ноги не грех показать миру, пусть завидуют, что чужие. Ну хотя бы для Степаньки можно ведь какое-нибудь мини сообразить, для домашнего, интимного употребления?

Научные проблемы Степанька при Миле не вспоминает, предпочитает либо глобальные события, либо политические. Вот в Москве на днях митинг был в поддержку Ельцина, разрешенный властями. Любопытное событие, очень любопытное. Степанька с удовольствием бы на него посмотрел, но только откуда-нибудь издалека, как минимум с балкона третьего этажа, а не из толпы. Это сегодня — демократия, а завтра вдруг выяснится, что у ребят в серых беретах черные списочки заготовлены, в коих Степан Старыкин упомянут. И сиди Степанька дома, о международных научных симпозиумах забудь, а статежки свои внукам оставь, а не «Известиям вузов». А что, невозможно? Еще как возможно! Вон, гуляет по городу безработный доцент Вишняков, а чем этот любитель Шукшина перед родной партией провинился? Любовью и провинился, говорил бы об экологии на кухне или в постели, как все нормальные люди, а не в предвыборной кампании — так и сидел бы в завкафедрах, а не в безработных... Да, времена пошли, живешь и не знаешь, что завтра нагрянет... В Москве, конечно, полегче дышать, ну а в нашей-то глубинке...

Желтый «Жигуль» долго петляет по узким улочкам центра. Движение всюду одностороннее, лабиринт да и только. Но вот и перекресток, дальше не стоит, знакомые могут увидеть. Мила подмигивает Степаньке на прощанье, он ласково шевелит пальцами поднятой руки: «Пока! До встречи!» — обозначает его жест. И в наступивших сумерках инвалидного вида, с подбитым глазом, автомобиль уносится прочь. Степанька и два года назад фару бы заменил, но даже с папиными связями сие есть великий дефицит, и неровный свет раздражает Старыкина, как воплощение всеобщего и полного несовершенства жизни: когда любишь тайком чужую жену, не имеешь собственной крыши над головой и шевеление серым мозговым веществом приносит одни огорчения. «Люди! Вот я придумал, пользуйтесь!», люди отвечают: «Ура! Сейчас попробуем!», но появляется господин министр и заявляет: «Стоп! А это еще зачем? Нам и без вас жилось хорошо и покойно, что мне ваше повышение долговечности на шестьдесят пять процентов, коли из-за него мне половину своих подчиненных разогнать придется и на

своим креслом слегка подвинуться! Люди, не торопитесь радоваться, а вдруг он мошенник, давайте посмотрим, как там, за бугром, есть такое или нет? И вот когда там, за бугром, оно появится, тогда и мы о нем вспомним, и даже пыль с него стряхнем, и завопим громко: «Вот! И у нас это есть!». О времена! О нравы! От расстройства Старыкин даже на собственное лобовое стекло плюет — «тьфу!» и вдруг улыбается — бедный автомобиль, за дурака-министра плевком получил! И, повеселевший, вырывается на освещенный проспект. До дома еще минут двадцать шпарить, здесь можно и даже нужно погасить фары. На хорошей дороге внимание притупляется, но зато в голову приходит прелюбопытнейшая идея изменения состава композита — кто сказал, что свойством создавать защитную пленку обладают только катионы меди? Нет, черт побери, мы еще поспорим, еще посмотрим, кто кого!

Мила к своему коммунальному убежищу бредет медленно-медленно, возле входа в подъезд останавливается и какое-то время еще стоит, вдыхая нежный запах цветущего жасмина.

И почему только так поздно — когда уже полжизни позади — становятся на ноги современные мужчины? И почему так медленно умнеют женщины, так поздно учатся любить — когда от молодости остаются последние, закатные дни? И отчего так тяжело, так нелегко пробиваются люди к такому простому и естественному в самих себе — умению творить добротой радость?

Из красивой жизни возвращаться в будничное убожество нелегко. Сейчас нужно будет перегладить белье и сообразить ужин. Муж с сыном вернутся поздно. Раньше ее раздражали рыбалка и охота, а теперь даже радуют — уехали, и слава богу, как без них хорошо! Даже просто сидеть одной в комнате хорошо — просторно, никто не валяется на диване и не лепит ваньку о радикулите. Конечно, мужу изменять грешно. А жить так, как она, и вовсе безнравственно.

Хорошо бы развестись с мужем и выйти за Сержа. Хорошо бы Сержу мальчишку родить — он бы его с пеленок паять и считать учил. Повел бы за руку в первый класс, его сообразительности радовался: «Умница! С лету понимает!», к себе бы в институт уговорил пойти, да и там бы его работать оставил. И не за родство — за ум. Хорошо бы всей семьей по весне возиться на даче, лето проводить на югах, а осенью ездить за грибами на «Волге» цвета морской волны. Но это — уввы, из разряда утопий. С Сержем они случайно сошлись и только потому, что тогда ей показалось, что со Степанькой — все, «END», конец программы, а еще показалось, что Серж, который уговаривал ее так долго, так настойчиво (откуда ей знать, что он со всеми женщинами таков, кроме тех, что сами на нем виснут), так вот, ей показалось, что у Сержа это неспроста и что он на ней женится. А он о женитьбе молчит . . .

Хорошо бы года через два, когда у Старыкина достроится кооператив, уйти от мужа к Степаньке. А потом и расписаться. Родить Степаньке дочку — ему девочка лучше подходит, он бы ее баловал и нежил, как куклу наряжал, возил на балные танцы и курсы испанского языка — итальянскому в нашей глубинке не учат, а уж учиться пристроил бы любимую дочь на специальность «Международная экономика». Да и семейная жизнь частью бы по заграницам пошла — круизы океанские и отдых на Адриатике. Но это уже не то что фантастика — мистика с черной магией вперемешку. Степанька ее на . . . неважно на сколько моложе. Такие на таких не женятся. Достроится Степанькин кооператив, полюбятся они на воле год-другой, а там родители чью-нибудь молоденькую дуру-дочку Степаньке в жены подsunут, неважно, что дуру, важно, что из очень-очень хорошей семьи, от высокосидящего тестя. Степанька будет с нею спать, а с Милой гулять. Нечасто, по возможности — крыша-то тью-тью, жена там с дитем. Миле он будет все-все

рассказывать, все-все доверять, всем-всем делиться. Он еще долго будет ее любить и искать ей самые редкие лекарства, которые скоро уже понадобятся. И расстанутся они оттого, у Милы появятся внуки, и она начнет стыдиться своего дряблого старушечьего тела, хотя по утрам в праздники Степанька еще долгие годы будет ей звонить, чтобы сказать что-нибудь приятное.

Зато Серж уйдет легко и сразу — окрутит его какая-нибудь студентка. Найдется из тысяч одна такая, которая вобьет себе в голову, что любит она первой любовью статного, молодого — всего сорок пять! — доктора физико-математических наук, завкафедрой вычислительной техники Сергея Егоровича Жабоедова, чья личная жизнь не сложилась исключительно из-за неблагозвучной фамилии. Сама она к нему домой придет, найдет повод, придумает — например, за консультацию по курсовому, сама, без его просьб и приставаний, ему о своей любви скажет, сама же у него и останется. И женится он на ней, как только животик ее расти начнет, дабы злые институтские языки заткнуть, пока те на всех углах чесаться не стали. И будет она счастлива: а ну, у кого еще муж на двадцать с гаком лет старше и кого еще любят и лелеют больше, чем ее ЕЕ Сереженька? Останется она в институте, обвешается соболями и бриллиантами, укутается каракулем, со временем ученую степень получит, муж поможет, лет пятнадцать гордо нос задирать будет. Но вот состарится ее Сереженька, и начнет молодая жена чудить, всех подряд любя, и найдутся добрые люди — старому Сереженьке о ее причудах донесут и доложат, но он их слушать не станет, делает вид, что у него в семье все хорошо и замечательно, и только родному сыну однажды посоветует: «Не будь дурак, на шибко молодой не женись!»

... А хорошо было бы, если б вдруг стало можно с мужем нормально жить — в нормальной квартире, на нормальные деньги, пусть бы и без машины... Чтоб он радовался ее приходу домой, а когда ей хочется понежничать, не говорил: «Чего ты ко мне пристаешь? Да не хочу я!» — и чтоб он ей не то что для нее что-нибудь приносил, хотя бы за покупками для себя ходил вместе с нею. А то достанет Мила портновский сантиметр, со вздохом обмерит со всех сторон мужнины брюки — и вперед, в магазин, в отдел мужской одежды. А там еще две-три, такие же, как она, горемыки: «Мужчина, скажите, пожалуйста, какой вы размер носите, а то мой муж точь-в-точь вашего телосложения... А как вы считаете, мужчина, на ваш мужской вкус, эти брюки ничего, стоит взять?». Несешь брюки домой — слава богу, подошли, и за цвет ничего не сказал, а ему просто все равно, и брюки новые до фени, и новое платье жены — подумаешь, очередная дерюжка... Эх... Лет через десять он все-таки станет поприличнее получать — как же! к пенсии дело движется! — и квартиру, пожалуй, дадут, как раз двухтысячный год начнется... И пойдет родной муж в загул. Подхватит его простая и надежная, как ручная домкрат, баба. И скажет он: «Вот настоящая женщина! Ничего-то ей от меня не надо, ни цветов, ни ухаживаний, ни денег — один я! Обогреет, обласкает, поллитру с закусью поставит и спать уложит. Мечта, а не женщина!». А в один прекрасный миг так навсегда и останется у женщины своей мечты. И останется Миле нянчить внуков да рассаживать под окнами жасминовые кусты, до тех самых пор, пока не призовет ее Господь Бог и не отлетит в одночасье от грешного тела грешная душа. Останется душа в чистилище и предстанет пред вышним судом. И спросит ее архангел Михаил, а быть может, и сам Господь Бог:

— А почто ты, женщина, грешила?

И ответит она:

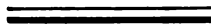
— Господи, всевышний, всеправедный и всемилостивый! Грешна я перед тобой и перед людьми. Жизнь прожила долгую и тяжкую,

трудилась не покладая рук, как могла и как успевала, в поте лица своего, а то и с муками. И была мне за всю мою жизнь одна большая радость — материнская, это сын; и было мне три радости женских. Первая — то время, когда меня мой муж любил. Вторая — когда Степанька приласкал, ибо жизнь свою я считала конченой, а себя — старой и никому не нужной. Ну, а третья — когда Серж на меня внимание обратил, ибо затеплилась во мне надежда, что жизнь моя может лучшим обернуться. Любила я их всех как могла и как умела, а уж что из этого получилось, Господи, то и получилось... Суди меня, Господи, за грехи мои, как знаешь и как считаешь нужным.

И выслушает ее Господь Бог, и вымолвит...

...Господи, что же ты вымолвишь ей?

г. Саратов



Владимир Британишский
ВСЕ, ЧТО БЫЛО, БОЛИТ . . .

ИОНА

Поэту, пришедшему с войны

Как вернулся Иона из чрева кита,
из распахнутой пасти,
из разверстого рта, —
выходили пророки из чрева войны,
черной желчью жестокости обожжены.

Жил три года Иона
во чреве кита.
А попал на свободу —
и не понял, куда.
Видит: белые льды,
голубая вода,
а во льдах китобойные ходят суда.

А из кожи китовой
подметки кроят.
А из жира китового
мыло варят.
А война-то — кончилась, говорят!
Уверяют!
А он — не верит.
Жил во чреве китовом три года подряд
и выходит на твердый берег.

Смотрит слепо и слёзно
на солнечный свет.
И пророчит, пророчит
годы горя и бед.
А войны, говорят, и в помине нет!

Будут гибель и голод!
Вы слышите слово Ионы?

То устами Ионы
глаголют погибших миллионы.

ФЕТ

Был сорок третий год. Шло третье лето
войны, когда в сибирское село
приехал скульптор и двухтомник Фета
привез, не показалось тяжело.

А впрочем, и мужик он был здоровый.
Широкоплечий. Широкобородый
(большая борода скрывала грудь).
Открытый, как широкая дорога.
Готовый встать и за порог шагнуть.

Шагнул. И навсегда — как в воду канул.
А Фет остался жить в моей судьбе:
одоженный тем добрым великаном
(издание А. Ф. Маркса, СПб)
недели на три или на четыре,
вошел в меня на долгие года
там именно и именно тогда —
в разгар войны и посреди Сибири.

Казалось, что мне птицы и цветы!
Цветок картофеля был в царстве флоры
желаннейшим, лишь он все наши взоры
приковывал. Что мне до красоты!

Я жил не Фетом, а насущным хлебом,
насущным спором о добре и зле.
Но Фет остался. Больше. Стал он Фебом,
что светит всем живущим на земле.

Он светит — и цветут цветы. И птицы
поют-свистят. . . И скульптор-бородач
смеется, мне, веселый, светлолицый,
такой красавец, что не передать!

ПОТЕБНЯ

Поэзия всю жизнь
жжет и знобит меня.
Но лишь сегодня вдруг
открылся Потеня.

На той странице, где
он говорит, что дух
работает, стремясь
наполнить мыслью звук.

Мир и без нас звучит,
шурша, свистя, жужжа,
то сладко нежит слух,
то режет без ножа.

Но шелест, плеск ручья,
скрип сосен, так ли, сяк —
все это только звук,
а людям нужен — знак.

Стих — более чем мысль,
он — более чем звук,
но должен хоть один
его услышать друг.

А если уха нет —
нет эха, и стихи
бесследно просвистят,
как ветер по степи.

Напрасно горло драть,
в пустыне вопия:
без слушателя нет
пророческого «я».

* * *

Античность — тьма грудастых птиц,
когтями рвущих плоть живую.
И темный секс, и темный Стикс —
тьма одесную и ошую.

И не смешно ли, что потом
ум, удрученный страхом смертным,
об этом веке — золотом? —
тоскует, как о чем-то светлом.

* * *

Сквозь Афины, Микены, Ассирию — глубже, туда,
где в пустынях Туркмении древние спят города.

Что за странная жажда — вернуться к началу начал!
Ведь вперед и вперед человек продвигаться мечтал,

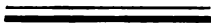
ведь все выше и выше по лестнице шел винтовой
и хотел ощущать лишь созвездия над головой.

В эту горную тьму с горстью мелких и крупных светил
восхожденья и взлета светящийся мчался пунктир.

Так зачем, как в колодец, как в шахту, спускаемся вглубь,
и десятки столетий сжимают и давят нам грудь?

Век железный, век бронзовый, энеолит, мезолит. . .
Все, что было, болит, все, что есть и что будет, болит.

Из эпохи в эпоху бредем, как по темной трубе,
современность, античность и вечность таща на себе.



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери

ЦИТАДЕЛЬ

Перевела с французского Марианна Кожевникова

XXIX

Я задумался, разглядывая маску плясуньи,— ее лицо своенравной балованной упрямцы. «Во времена величия царства,— подумал я,— она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска — крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. Исчезли и пристрастия. Никто не хочет выстрадать своего. А если своего не выстрадать, то откуда ему взяться?»

Человек желал добиться. Добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустился? Нет, наступил конец работы, растение приготовилось умереть. Я знаю, что такое хотеть. Жажда дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте, питающая среда и достигнутая цель — разное. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побежденной бурей. Побежденная буря — взмах руки в долгом-предолгом плавании. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чем отказывал себе всю жизнь,— иллюзия. Напрасно надеется воин, что в радость ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем, и тоскует, и снова неправ. Неправ тот, кто, тоскуя, твердит: «человеческие желания неутолимы». . . Он просто не знает, чего хочет. «Я иду по следам своего счастья, а оно никак не дается в руки», — жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево: как я трудилось над цветком, зачем он засох и стал семечком, которое зачем-то станет деревом, а на нем будут еще какие-то цветы?! Одолев бурю, ты отдыхаешь, но пока ты отдыхаешь, собирается новая буря. Я повторяю: у Бога нет отпусков, Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть? Бытие — это Бог. Он вернет тебя в Свою житницу только после того, как ты мало-помалу осуществишься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно.

Скудеют те, кто поверил, будто чего-то добился, будто чем-то владеет, кто встал посреди дороги, желая наслаждаться полученным —

или достигнутым, как принято обычно говорить. Нет достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить. Об этом знаю я,— я, который не раз позволяя завлечь себя в женские сети и вдруг узнал, что в чуждалных краях живет красавица, источающая аромат совершенства, и она может стать моей. Опьянение восторга я счел любовью. Мне показалось, что я умру, если она не станет моей.

Пышно и радостно праздновалась свадьба, всех в моем царстве словно бы закружил хмель любви. Цветы рассыпали корзинами, курили драгоценные благовония, не жалели сверкающих бриллиантов; цена им — людские пот, страдание и кровь; множество роз губится ради капли масла, множество людей губится ради капли света,— но кто сейчас вспоминал об этом: каждый расточал себя в любви. И вот моя нежная пленница, принесенная ветром любви на парусах своих покрывал, рядом со мной на террасе. Я — мужчина, я — воин, я — победитель держу наконец долгожданную награду в этой войне. Но, оказавшись с ней рядом, не знаю, что делать. . .

— Голубка моя, горлица,— шепчу я,— длинноногая газель. . . — Я придумываю слова, чтобы дотянуться до нее, и не нахожу слов. Ее все меньше, она тает, будто утренний снег. Я ждал себе другого подарка. Я кричу: «Где вы?» Потому что никак не могу ее найти. «Как мне выйти хотя бы на границу?» Я превратился в дозорную башню, в крепостной вал. Мой город славил любовь фейерверками. А я, одинокий в своей иссушающей пустыне, смотрел на нее — обнаженную, спящую. «Я охотился не на ту дичь, шел не в ту сторону. Она бежала так быстро, я схватил ее, желая сделать своей. . . Держу, но со мной ее нет. . .» И я понял, что я ошибся. Думал жить, одержав победу в беге. Стал похож на безумца, который запирает кувшин с водой в шкаф, потому что любит журчанье родника. . .

Я не прикасаюсь к тебе, я творю тебя, словно храм. Творю в сиянии света. Твоя тишина одевает поля, леса. Я учусь любить тебя больше, чем люблю тебя, себя. Я пою хвалебный гимн твоему царству. Ты закрыла глаза,— глаза мира. Ты устала, я держу тебя в кольце своих рук, словно город. Ты — ступень на пути моем к Господу. Тебя создали, чтобы воспламенить, испепелить,— не для того, чтобы сберегать впрок. . . Прошло несколько дней, город облачился в траур, в моем дворце все рыдали, потому что я с тысячью воинов вышел из городских ворот; я шел в пустыню, я томился, и жажда гнала меня туда.

Я уже говорил тебе об этом, боль одного — не меньше боли целого мира. И любовь одного — какой бы несуразной она ни была — раскачивает звезды Млечного Пути. Округлый корпус корабля обхватили мои руки, обнимая тебя. Мы выходим сегодня в открытое море, в грозную стихию любви. . .

Вот так, мало-помалу, я нащупываю границы моего царства. Ограничения всегда говорят о сути, и я люблю то, что умеет противостоять. Противостоят и человек, и дерево. Барельефы, изображающие своих нравных плясуний, я сравнил с крышками пустых коробок, но когда-то они были масками, а под маской и впрямь таилось упрямство, коварство и поэзия строптивых капризниц. Я люблю выявляющих себя в противостоянии, люблю замкнутых и молчаливых, укрепляющих свою твердость, тех, кто сжимает зубы под пыткой, кто выдерживает пытку любви. Тех, кто несправедливо предпочитает вообще не любить. Вас, уподобляющих себя грозным башням, которые невозможно взять приступом. . .

Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит. Нет противостояния в муравейнике, нет в нем и Бога, нет образа и подобия Божия. Податливый человек — человек, в котором нет всхожести. И я вспомнил чудо, увиденное мной в тюрьме. Слабый узник был

сильнее тебя, меня, нас всех вместе взятых, сильнее моих тюремщиков, подъемных мостов, стен. Та же загадка мучила меня и тогда, когда я размышлял о любви, держа ее в своих объятиях, обнаженную и покорную. Мне трудно сладить с тем, что человек одновременно велик и ничтожен, велик своей верой, ничтожен гордыней бунта.

XXX

И еще я понял: человек без стержня, без внутренней формы — ничто. Если он слился с толпой, послушен ей, живет по ее законам, он никогда не пожертвует собой, не воспротивится соблазну, не смирится со смертью. Вепрь, слон и человек на вершине горы сродни друг другу. Люди не вправе посягать на тишину в человеке, не вправе из ненависти к одиноким лишать его вершины горы, где он вырастет, подобно кедр.

Он пришел ко мне, он уверен, что логикой можно исчерпать человека. Он показался мне ребенком. С совком и ведерком подошел малыш к Атласским горам в безмятежной уверенности, что возьмет их и передвинет. Человек — прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но путь его труден, медленен, извилист. Не стоит забывать: существует и то, чего мы не можем выразить, оно тоже есть. А выражаем мы только то, что сумели постигнуть. Как мало умею я выразить о человеке. Открывшееся мне сегодня существовало и вчера, я солгал бы себе, сказав: «То, чего я передать не в силах, не стоит и внимания». Гору я тоже только назвал. Я путаю понятия «назвать» и «выразить». Называют для знающего. Но, если человек не видел гор, как передать ему ущелья, камнепады, лавандовые склоны, уступчатый силуэт на звездном небе?

Знать не означает получить во владение обломки славной крепости или легкий челнок, который можно отвязать от причала и повести куда угодно; знание — та же жизнь, в нем есть неожиданные откровения, есть свои законы внутреннего тяготения, есть свое безмолвие столь же многозначительное, как безмолвие небесных сфер.

И вот я в разладе с самим собой: меня радует послушливость человека и его непокорство, свидетельствующее о крепости нутра. Вечно противоречащая самой себе суть мне понятна, но ее не уложить в формулу. Взять, к примеру, моих воинов, они послушны, их вымуштровала суровая дисциплина, по взмаху моей руки они пойдут на смерть, повиновение вошло у них в плоть и кровь, я могу отругать их и ими распорядиться, словно малыми детьми. . . но в неожиданной схватке с врагом они будут тверже стали, благородны в ярости и мужественны в смерти.

Я понял: твердость и послушание — две стороны одной медали. «Твердый орешек», — говорим мы с одобрением об одном, «сама себе хозяйка» — о другой, — я обнял ее, но она была далека от меня, словно яхта на морском горизонте, — их я и называю людьми: они не торгуются, не вступают в сделки, не подлаживаются, не идут на компромиссы, не предают себя из корысти, сладострастия, усталости, сердце их тверже оливковой косточки. Я могу стереть их в порошок, но не выдавлю масла тайны, и я не позволю тирану или толпе властвовать над их алмазными сердцами, потому что именно такие люди и бывают по-настоящему послушны. Именно они бывают кроткими, дисциплинированными, почтительными, они способны на веру и на жертву, став покорными сыновьями глубинной мудрости, став хранителями добродетели. . .

А те, кого принято называть свободными, кто решает все по-своему и всегда одинок от неумения слушать и слушаться, лишаются попутного ветра в парусах. Их вечное несогласие — бестолковый каприз, не более.

Поэтому я, ненавистник покорной скотины, человека без нутра и сердечной родины, я — правитель, я — мастер, не желающий кастрировать свой народ и превращать его в слепых исполнительных муравьев, — вижу: мое принуждение не калечит — оно служит духу жизни. Смирение в храме, послушание и готовность прийти на помощь — добродетели, не любимые лицедеями, но для моего царства добродетели эти — краеугольный камень. Много ли хорошего дожدهшься от самого себя? Положиться можно лишь на общее дело, где каждый в помощь, благодаря другому.

Я ошибусь, если назову строптивцем моего узника. Его сдавили крепостные стены, за ним следит стража, но он молчит под пытками или отвечает моим палачам презрительной усмешкой. Сильным его сделали вера, но он верит в другое, чем я. Его жестокость — обратная сторона любви и мягкости. Я вижу моего узника и другим тоже: сложив на коленях руки, он сидит и слушает с ясной улыбкой, он приник к благодатному роднику. Вот та, которую я сделал пленницей моего замка, — она бродит по террасе, и горизонт ей кажется решеткой клетки — невозможно приручить ее, принудить к словам любви. Она другой племени, другой страны, в ней иной огонь, иная вера. Не обратив ее в свою, мне ее не дозваться.

Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, что свободны, потому что свободно меняют мнения и предают (откуда им знать о предательстве? Они сами себе судьи? ..). Им свободно лукавить, передегивать, оговаривать; и, если они голодны, свободно переметнутся ко мне, стоит мне указать им на кормушку.

Такой была свадебная ночь — ночь перед казнью. Благодаря ей я ощутил, что значит быть. Потрудитесь же над собственной формой, станьте долговечным форштевнем, превратите в собственное тело то, что хочет вас износить, — так и только так поступает кедр. Я — контур, стержень, усилие творца, благодаря которым вы рождаетесь, но родившись, вы должны, будто кедр, растить ветви — собственные, а не чужеродные, — свою хвою и свои листья, вы должны тянуться ввысь и укореняться. . .

Я зову негодьями тех, кто живет за счет чужих усилий, как хамелеон меняет цвет, любит похвалы и подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. Что они такое? Пустота. Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их — дети выросли, как трава под забором.

XXXI

Они пришли и сказали мне, что для жизни нужны удобства. А я? Я вспомнил своих воинов в пустыне. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но, когда оно наступает, жизнь уходит.

Поэтому я любил войну, мир с ней так ощутимо сладок. Военный поход по безмятежно-тихой знойной пустыне, — пустыне, кишящей змеями, пустыне девственных песков, засад и укрытий. Я вспомнил,

как играют дети, они строят полки из белых камешков. «Это солдаты,— говорят они,— они спрятались в засаде». Но прохожий видит только кучку белой гальки, он не видит сокровищ, таящихся в детской душе. Вспомнил человека-жаворонка, он наслаждается зарей, под ледяным солнцем плещется в ледяной воде и греется потом в лучах разгорающегося дня. А жаждущий? Он хочет пить, он идет к колодцу, скрипит ворот, гремит цепь, ползет вверх ведро, вот он вытянул полное ведро на край колодца,— вода для него стала песней, он запомнил все ее переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его, словно поэзия. Другой подозвал раба, тот поднес к его губам воду, но песни он не слышал. Удобство — это чаще всего пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость напряжения и боли и поэтому живут так безрадостно.

С пустотой встречаются и те, кто слушает музыку, не пожелав потратить усилий на музыкальную грамоту. Они повелели внести себя в музыку на паланкине, не захотев дойти до нее пешком, они отказались от апельсина, потому что нужно очистить кожуру. Но я-то знаю: нет кожуры — нет и мякоти. Вам показалось, что счастье — это избавление от того, от другого и, в конечном счете, от самих себя. Вы ошиблись, — богатством наслаждаются не богачи, они к нему привыкли. Нет пейзажа, если никто не карабкался в гору, пейзаж — не зрелище, он — преодоление. Но если принести тебя наверх в паланкине, ты увидишь что-то туманное и незначительное, и почему, собственно, оно должно быть значимым? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любуется пейзажем, прибавляет ему сладость отдохновения после трудного подъема, голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа, каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он — автор этого пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушков город и любуется творением своих рук. Но попробуй заставь ребенка залюбоваться кучкой камней — зрелищем, доставшимся даром. . .

Я видел жаждущих — жажда сродни ревности, она мучительнее болезни: тело знает целительное снадобье и требует его, как требовало бы женщину, оно видит во сне, как другие приникли к воде. Ревнивцы тоже видят женщин, которые улыбаются не им. Неоплаченное душевно и телесно — не ощущается как значимое. Не существует случайности, если я не попал в случай. Из ночи в ночь смотрят на Млечный Путь мои астрологи. Благодаря ночам, проведенным в бдении, он стал для них книгой премудрости, страницы ее переворачиваются с едва слышным шелестом, и астрологов переполняет благоговейная любовь к Господу, насытившему Вселенную такой мучительно сладкой для сердца сущностью.

Повторяю вам: право не сделать усилие дается вам лишь ради другого усилия, потому что вы должны расти.

XXXII

Умер князь, он властвовал от меня на востоке. Князь, с которым мы так жестоко воевали и кто после множества войн стал мне надежной опорой. Я вспомнил, как мы встречались. В пустыне раскладывали пурпурный шатер, и мы — я и он — входили в его пустоту. Наши воины стояли поодаль — не годится, чтобы войска, смешавшись, сбились в толпу. Толпа — стадо, в ней никогда не будет благородства. Положившись про себя на мощь своих копий, воины ревниво следили за нами, не размякая от дешевого умиления. Тысячу раз прав был мой отец, повторяя: «Не суди о человеке по тому, что увидел на повержно-

сти, встретиться с ним в глубинах его души, ума, сердца. Если придавать значение каждому движению, сколько крови прольется понапрасну...»

В глубинах души искал я встречи с моим врагом, когда оба мы, безоружные, защищенные лишь своим одиночеством, входили в шатер и сядились напротив друг друга на песок. Не знаю, кто из нас — он или я — был сильнее. В нашем священном одиночестве от силы требовалась сдержанность. Малейшее движение потрясло бы мир, и двигались мы с величайшей осторожностью. Спор у нас был тогда о пастбищах. «У меня двадцать пять тысяч голов скота, — сказал он, — скот гибнет. У тебя бы он прокормился». Но как пустить к себе целое воинство пастухов с чуждыми нам обычаями? Они посеют в моих людях сомнение, а сомнение — начало порчи. Как принять на своей земле пастухов из чужой Вселенной? Я ответил: «У меня двадцать пять тысяч человеческих детей, они должны научиться молиться по-нашему, иначе останутся без лица и стержня». Правоту каждого из нас отстаивало оружие. Как прилив и отлив, надвигались мы и отступали. Всей силой давили мы друг на друга, но никто не мог взять верх — от взаимных поражений сила наша сравнялась. «Ты победил — значит, сделал меня сильнее».

Нет, не было во мне презрительного высокомерия, когда я взирал на величие моего соседа. На висячие сады его столицы. На благовоения, привозимые его купцами. На прекрасные кувшины его чеканщиков. На его мощные плотины. Презрительность — помощница неполноценных, только их истине мешают все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает признание добротности чужой истины, хотя мне она все равно будет казаться заблуждением, но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру не относится с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество — сокровища, которые не должны расточиться.

— Если хочешь поговорить с соседом по существу, — говорил отец, — пришли ему ларчик с благовоениями, пряности или спелый лимон, пусть в его доме запахнет твоим домом. Твой воинственный клич в горах — тоже подлинный разговор. И привезенное тебе послом объявление войны тоже. Посланника долго обучали, воспитывали, закаляли, он — твой противник и он — твой друг. Ему чужд твой обиход, но вы встречаетесь как друзья там, где человек в долгу лишь перед самим собой, где он возвысился над ненавистью. Уважение врага — одно-единственное чего-то стоит. Уважение друзей стоит чего-то только тогда, когда они отрешились от признательности, благодарности и прочей пошлости. Если ты отдаешь за друга жизнь, обойдись без дешевого умиления.

Я не солгу, сказав, что соседний князь был мне другом. Наши встречи были радостью. Я поставил слово «радость» и направил расхожее мнение по ложному следу. Радостью не для нас — для Господа. К Нему мы искали дорогу. Наши встречи замыкали ключом свод. Но сказать друг другу нам было нечего. Господь простит мне, что, когда он умер, я заплакал.

Кому как не мне знать о собственном несовершенстве. «Если я плачу, — думал я, — значит, я не очистился еще от своекорыстия». Я знаю, мой сосед узнал бы о моей смерти, как узнал бы, что на западе его земли уже ночь. На потрясенный моей смертью мир он смотрел бы, как смотрят на спустившиеся сумерки. На гладь озера, потревоженную плотцом. «Господи, — сказал бы он своему Богу, — день сменяется ночью по Твоей воле. Что потерялось, если увязали снопы, если кончилось наше время? Я уже был». Он приобщил бы меня к своему незабываемому покою. Но я еще не чист, я еще не проникся вечностью. Я по-женски томлюсь легковесной тоской, видя, как от вечернего ветра

вянут розы в моем живом саду. Вяну и я с увядающей розой. Я чувствую: я умираю вместе с ней.

Жизнь шла и шла, я хоронил моих капитанов, смещал министров, терял женщин. Позади, словно сотня змеиных выползков, сотня разных былых моих «я». Но неизменно, как неизменно возвращается солнце — мера и маятник дня, как возвращается лето — мера и равновесие года, — мои воины опять и опять, от встречи к встрече, от договора к новому договору, ставили в пустыне пустой шатер. И мы входили в него. Наша встреча была торжественным обрядом, улыбкой сурового пергамента, покоем перед смертным часом. Тишиной, творимой не человеком, а Господом.

И вот я остался один, один отвечаю за прошлое, и нет возле меня свидетеля, который видел, как я жил. Мои поступки, которые я не снисходил объяснять моему народу, понимал мой восточный сосед; томления мои и порывы, которые я никогда не выставлял напоказ, он постигал своей внутренней тишиной. Тяжесть долгов и обязанностей, которые угнетали меня и о которых не подозревал мой народ, веря, что я действую лишь по своему произволу, взвешивал мой сосед, не ведающий пустого сочувствия, почитая не меня, а то, что меня превосходило, и вот он уснул, одетый багрянницей пустыни, сочтя песок достойной для себя гробницей, замолчал, улыбаясь той печальной улыбкой, обращенной только к Господу, означающей согласие, что пора унести срезанный сноп, пора хранить под сомкнутыми веками пережитое. Как себялюбиво мое отчаяние! Как я слаб, если столько значения придаю своим жизненным перипетиям, а они так ничтожны, если мерю собой царство, а не растворился в нем, если чувствую, что жизнь моя, будто странствие, может кончиться на этой вершине.

Эта ночь, будто горный хребет, изменила течение моей жизни: медленно взбиралась она по склону вверх и вот заструилась вниз по противоположному склону. Все вокруг незнакомо. Я понял, что стал стариком: вокруг незнакомые лица, чужие люди, ко всем к ним я равнодушен так же, как к самому себе: за хребтом остались мои капитаны, мои женщины, мои враги и единственный, может быть, друг — я один в этом чуждом мире, заселенном чужими мне племенами.

И тогда я обрел новые силы. «Меня лишили последней кожи, — подумал я, — может быть, теперь я очищусь?» Не было во мне величия, раз я так почитал себя. Я одряб, и мне послали испытание. Размяк от дешевых сердечных сантиментов. Но я сумею возвыситься, я не оскорблю слезами величие друга. Он уже был. Пустыня покажется мне богаче, ибо в ней он мне улыбался. Все улыбки станут мне ближе благодаря его улыбке. Его улыбка обогатит все остальные. В каждом я увижу набросок человека, — никакому резчику не отделить его от целиковой породы, — но в породе я лучше разгляжу человеческое лицо, потому что одному человеку смотрел прямо в глаза.

Да, я начал спускаться с горы, но, народ мой, не пугайся, я связал оборванную нить. Плохо, что я так нуждался в человеческом. Рука, что лечила и сшивала меня, рассыпалась, но сшитое осталось. Я спускаюсь с горы, я встречаю овец, ягнят. Я глажу их. В мире я одинок перед ликом Господа, но погладил ягненка и ожил сердцем: не ягненок — уязвимость живого в нем напомнила мне о человеке, и я опять заодно с людьми.

Для моего друга я тоже нашел царство, нигде не царствовало ему лучше, — царство смерти. Каждый год раскидывается шатер в пустыне, и мой народ молится. Воины опираются на заряженные ружья, кружат всадники, оберегая порядок в пустыне, они отсекут голову всякому, кто отважится проникнуть сюда. Я иду один. Приподымаю плотно шатра, вхожу и сажусь. На земле становится тихо.

XXXIII

Что ж, пусть ноют и ноют у меня кости, и никакой лекарь не уймет мою боль, пусть я похож на дерево, которое подсек дровосек, и Господь скоро уберет меня с лица земли, как обветшавшую башню, пусть я только вспоминаю, как просыпаются в двадцать лет: освеженные сном, готовые воспарить душой,— мне дано утешение: мою душу не огорчают вести тела, я не занят своими болезнями, они — мое личное, маленькое, ничего не значащее дело, они касаются только меня, историки не посвятят им и строчки в хрониках: кому интересно, что у меня шатался зуб и его выдернули, с моей стороны было бы низостью искать сочувствия. Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Трещины бегут по сосуду, содержимое неизменно. Мне рассказали, когда моего соседа с востока разбил удар и половина его тела, заледенев, омертвела, когда ему повсюду сопутствовал этот сиамский близнец, разучившийся улыбаться, достоинство его не пострадало, напротив, несчастье послужило его величию. А тем, кто восхищался твердостью его духа, он не без презрительности отвечал: «Вы ошиблись, принимая меня за лавочника, для них поберегите свои восторги. Правитель, не властный в собственном теле, — смешной самозванец. Не потерю — чудесную радость высвобождения чувствую я».

Да-а, человеческая старость... Неудивительно, что я ничего не узнаю на противоположном склоне моей горы. Сердце мое переполнено утратой друга. Я смотрю на деревни глазами, сухими от горя, и жду, когда, будто прилив, увлажнит их любовь.

XXXIV

И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни. Светящийся приглушенным голубовато-белым светом горящих в домах окон. Смотрю на рисунок улиц. Смотрю на тишину, потому что город рождает тишину, и она достигает прибрежных скал. Но, любясь рисунком улиц и площадей, высаящимися там и здесь храмами — житницами духа, темным кольцом холмов вокруг, я невольно думаю, что мой город, несмотря на ощутимость его присутствия, — высохшее дерево с подсеченным корнем, пустой амбар. Нет в нем общей жизни, что течет сама по себе и животворит каждого, нет общего сердца, питающего кровью каждую клеточку плоти, нет общей плоти, радующейся общему празднику и поющей один псалом. Здесь в чужих раковинах живут нахлебники, праздные в своих тюрьмах, не желающие трудиться со всеми вместе. Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив. И я сказал себе: «Вот оно, дерево, что вот-вот засохнет. Яблоко, источенное червем. Мертвая черепаха в панцире». Я понял, мой город нуждается в животворящем соке. Ветви нужно приживить к питающему стволу. Житницы и амбары наполнить тишиной. Сделать это должен я. Больше некому любить людей.

XXXV

Я слышу музыку, а они не понимают ее. И опять я перед неразрешимым противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, если учить только понятному, они не получат ничего лишнего. Можно ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и умертвить дерево, которое растет, трудясь над новым цветком, новым плодом, но получить взамен тишину молитвы,

мудрость и почивание в Господе. Можно, напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведешь вперед стадо нищих переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро раскинуть лагерь, но никогда не построит дом.

Всякое восхождение мучительно. Перерождение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке зазвучать. Я не верю в тех, кто наслаждается чужим медом. Не верю, что одаришь детей благодатным хмелем любви, послушав с ними концерт, прочитав стихи, поговорив. Да, конечно, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать. И скучать. И погружаться в безнадежную тоску, сродни осенним дождям. Ведь и умеющих наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость, иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи и ликовали. Все человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно. Но в радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился, — так уж он устроен. Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и ее преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше, и ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить. Чужие стихи — тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение. Запасы радуют обывателя, но обыватель — недочеловек. Нет любви про запас, которую можно было тратить себе и тратить, любовь — труд сердца. Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма — в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре, и говорят: «Вокруг — сплошной хаос. Он недостоин того, чтобы служить ему и подчиняться». Они верят в свой здравый смысл, они скептики и насмешники, но издевка в помощь бездельнику — не человеку. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа, любовь — итог преодоленной тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах.

Любовь — то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую страсть, которая зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал пригорок, на который он взбирается, жалка победа, так откуда взяться великой страсти?

Если не изменяться день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней — ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя.

Логика и неверы просят: «Покажи нам царство, покажи нам Бога, вот я трогаю камень, трогаю землю и тогда верю, что есть и земля, и камень, которые я потрогал». Но что мне до их просьб. Таинства, о которых я говорю, не так скудны, что их можно исчерпать логической формулой. Не могу я доставить невера на вершину горы и подарить ему радость открывшегося пейзажа, ведь он не его победа. Не могу помочь насладиться музыкой человеку, который ее не преодолел. Они пришли ко мне, желая получить все без усилий, другие так ищут женщину, которая вложит в них любовь. Но это не в моей власти.

Я беру человека, запираю его, истязая ученьем, потому что слишком хорошо знаю: легкое и доступное — бесплодно, потому что оно —

легко и доступно. Напряжение и пот — вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, — с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который обозрел с паланкина тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор — пылинка в бесконечной Вселенной, — по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжется и одолеет подъем, пусть это будет невысокая горка, в будущем он поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о доброй сотне гор.

Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им любить, уча молиться».

Умеющий любить непременно встретит красавицу, которая воспламенит его сердце, но, видя, как он пламенеет, люди убеждаются в могуществе прекрасных лиц — и ошибаются. Преодолевший стихотворение воспламенен им, и все верят в могущество стихов.

Но повторяю: сказав «гора», я обозначил ее для тебя, а тебя колола ежевика в горах, у тебя кружилась голова над пропастью, ты потел, взбираясь на скалу, рвал цветы, дышал на вершине полной грудью. Я назвал, но не донес ни полноты понятия, ни его сути. Я сказал «гора» толстому лавочнику и оставил пустым его сердце.

Исчезает поэзия не потому, что исчерпали силу стихи. Исчезает любовь не потому, что красота исчерпала силу. Отдаляется Господь, но не потому, что человеческое сердце уже не девственная земля в ночной тьме, которая так нуждалась когда-то в плуге ради цветов и кедров.

Я внимательно всматривался в отношения людей и понял: ум опасен — ум, который верит, что слово передает суть, что в споре рождается истина. Нет, не язык передает меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя открыты иные пути постижения. Например, нас открыло друг другу чудо любви, или мы — дети одного и того же Бога. Если этого нет, я напрасно пытаюсь извлечь на поверхность таящийся во мне мир и неуклюже выговариваю то одно, то другое, — так о горе, например, я сказал, что она высока, но хотел сказать о холоде близких звезд и могуществе ночи.

XXXVI

Ты пишешь, ты обращаешься к людям, ты словно бы снаряжаешь корабль. Немногие из кораблей достигнут гавани. Большинство затеряется в море. Не так уж много значимых слов продолжает плыть по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного.

Вот и еще одна сложность: учить нужно не обозначать, а постигать. Учить, как ставить всевозможные ловушки. Ты привел ко мне человека, что мне до его учености? Учености много и в словарях. Что он за человек — вот что важно. Поэт написал стихи, они согреты его рвением, но ловил он на мелководье, нам ничего не досталось из глубины. Он обозначил весну, но не разбудил весну в моем сердце, я не насытился ею.

Историки, логики, критики открыли при мне, что сильное произведение — всегда хорошо построено, значит, сила в продуманном плане, решили они. Город создан, если я отчетливо вижу его планировку. Но не планировке обязан город своим рождением.

XXXVII

Я смотрю на танцовщиц, певичек и куртизанок моего города. Они заказали себе серебряные паланкины и, отправляясь на прогулку, посылают вперед слуг, которые кричат об этом, собирая толпу. Когда рукоплескания толпы, развеяв легкую задумчивость красавицы, вконец измучат ее, она чуть-чуть отодвинет шелковую занавесь и, снисходя до страстного желания обожателей, наклонит к ним свое белоснежное личико, стыдливо улыбнувшись. А слуги будут кричать во всю глотку. Вечером их ждет порка, если любовь тиранов-обожателей не вынудит красавицу нарушить свою стыдливость.

Ванны у красавиц из золота, и толпу приглашают взглянуть, как готовится молоко для купанья. Доят сотню ослиц, добавляют благовония и цветочное молочко, стоит оно бешеных денег, а аромат его так скромен, что его и не почувствуешь.

Я не возмущаюсь цветочному молочку. Немного тратится на него сил в моем царстве, и безумная его цена — иллюзорна. Я не против того, чтобы тратили себя и на роскошества, дорога мне не польза, а рвение. И коль скоро такое молочко существует, то что мне в том, умащаются им мои куртизанки или нет.

Логики осуждают меня, но рвение — единственный закон моего царства. Я вмещаюсь, если народ мой увлечется изготовлением позолоты в ущерб хлебу, но я не против самой позолоты, она золотит их труды, хоть и не нужна насущному. Предназначение ее меня не заботит, но мне кажется, что лучше золотить волосы красавицы, чем дурацкий памятник. Ты возражаешь, что памятник — достояние всех горожан? Но горожане любят и красавицами. Беда памятников, — будь они даже Господни храмы, — в том, что они радуют взгляд позолотой, но не требуют взамен никаких даров. Красавица пробуждает желание одарять и жертвовать, ты блаженен возможностью дарить. Дарить, а не получать.

Пусть купаются мои красавицы в цветочном молочке. Пусть воплощают собой красоту. Пусть наслаждаются изысканными вредоносными яствами и умирают, поперхнувшись рыбьей косточкой. Они ходят в жемчуге и теряют его. Пусть теряют, жемчуг должен быть эфемерен. Они слушают сказителей и лишаются чувств от переживаний, не забывая грациозно опуститься на ту из подушек, которая лучше всего подходит к их шарфу.

Иногда они позволяют себе и другую роскошь — роскошь любить. Они продают свои жемчуга и гуляют по городу с юным солдатиком, — пусть все видят, что он — самый красивый, самый умный, самый стройный, самый мужественный . . .

Доверчивый мальчик от признательности теряет голову, он не сомневается в щедрости дара, хотя служит лишь тщеславию красавицы, — в городе о ней должны говорить.

XXXVIII

Ах как жаловалась на обидчика эта женщина:

— Разбойник, — кричала она, — тварь продажная! Греховодник! Бесстыжий лгун! Мерзавец! . .

— Ты в грязи, — сказал я ей, — пойди умойся.

Жаловался и другой на несправедливость и клевету.

Никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли. Их не поймут, но какая тут несправедливость? Справедливость — химера

и чревата несправедливостью. Ты видел моих капитанов в пустыне? Они — благородны; благородны, бедны и выдублены постоянной жаждой. Они спят на голом песке в глухой тени царства. Они добры и готовы повиноваться, хватаясь за оружие при малейшем шорохе. Такими хотел их видеть мой отец, когда позвал: «Встаньте, готовые к смерти, уместившие все свое добро в заплечном мешке! Умеющие подчиняться, великодушные в сражении, великодушные сердцем! Встаньте, я вручу вам ключи своего царства». И вот они встали вокруг моей крепости, словно бдительные архангелы. Их достоинство отлично от достоинства министерской прислуги и самих министров тоже. И вот их позвали в столицу, но не посадили во главе праздничного стола, — теперь они обивают пороги в приемных и жалуются; их, воистину достойных, унизили, отведя место слуг. «Горька участь тех, кого не ценят по достоинству», — твердят они.

Я ответил им: «Горька участь тех, кто оценен, возвышен, отблагодарен, кто оказался в чести и разбогател». Он раздулся от дешевых амбиций, променял звездные часы на магазинные покупки. Он был богаче других, достойнее, удивительнее. Для чего же король-одиночка покорился мечтам обывателя? Старого плотника отблагодарит идеальная гладкость его доски. Моего капитана — идеальный покой в его пустыне. Но в людском водовороте незаметны твои заслуги. Если тебя это обижает, значит, ты не очистился от своекорыстия. Я уже говорил: «Каковы люди, таково и царство. Каждый — частичка царства». И от каждого зависит великолепие кроны. Если этого ты видишь купцом с барышами, отправь его за барышом в пустыню и жди, набравшись терпения. Пройдет несколько лет, и купец твой станет хозяином, ровней ему будет ветер, а другой останется жалким лавочником в своей лавке.

Я покровительствую достойным. Покровительство уже не несправедливость. Не обижайся на слова. Как уродливы на песке длинные голубые рыбы с вуалевыми плавниками, как это несправедливо! Несправедливо наше суждение: рыбы созданы для воды. Они прекрасны там, где кончается песчаный берег. Капитаны песков прекрасны там, где утих шум города, крик рыночных зазывал, тщеславие и суета. У них в пустыне нет суетности.

Так пусть капитаны утешатся. Если они захотят, они вновь вернутся в свое царство, я не уничтожил его и не хочу, чтобы они страдали.

Ко мне пришла женщина.

— Я — верная жена своему мужу, — сказала она, — я послушна ему и недурна собой. Я дышу только им одним. Шью ему плащи, перевязываю раны. Все его тяготы я делила с ним. А теперь он проводит время с той, что обворовывает его и над ним смеется.

Я ответил ей:

— Ты судишь и ошибаешься. Кто знает самого себя? Каждый идет к истине, но путь души похож на горное восхождение. Вершина близка, кажется, ты добрался, но с нее видны новые вершины, новые тропы и новые пропасти. Кто может знать, что утолит его жажду? Один не может жить без плеска реки, чтобы услышать его, он готов пожертвовать жизнью. Другого греет лисенок на плече, он пойдет за ним во вражеские владенья. Может, та, о которой ты говоришь, обязана ему своим рождением. И он за нее в ответе. Ты всегда в долгу перед тем, кого создал. Он идет к ней для того, чтобы она его обокрала. Идет, чтобы она утолила свою жажду. Его не вознаградит нежность, но не ударит и упрек. Наградой ему собственная жертвенность. И еще те слова, которым он ее научил. Он похож на тех, кто возвращается из пустыни: ордена для них не награда, но и неблагодарность не обида. Ты же знаешь, дело не в том, чтобы нажить и пользоваться нажи-

тым, — в том, чтобы нажать самого себя и умереть полным собственной сущности. Пойми, единственная наша награда — смерть, в ней нет корабль. И счастье, если он полон сокровищ.

На что ты жалуешься? На то, что не в силах его догнать?

Так я понял, что существует брачный союз и существует общность двоих. «Как беден язык, — думал я, — им кажется, что они себя выразили, а они едва-едва что-то обозначили. И как тщательно они все взвешивают, меряют, меряются. Все разумней, точнее, правильней. Правильней некуда. И когда каждый остается со своей правотой — они в тупике. И превращают друг друга в мишень для взаимной стрельбы».

Да, мы в союзе, но все-таки я постараюсь тебя ранить.

XXXIX

Не уступай вымогательствам. Ты отдал малость, но вскоре отдашь и еще немного, а значит, первое отдал задаром. Не уступай своего царства.

Нужно чувствовать себя собой, только тогда ты доверяешь собственному разумению. Поэтому так горд верующий. Чужие сомнения не смущают его, они от тех, кто неспособен «понять».

Умей отличать соглашательство от любви. Тот, кто смотрит мне в рот, ожидая, когда я заговорю, мне не нужен. Я иду и ищу в людях свет, подобный моему. Петь хором — одно. Придумать песню — другое. Кто тебе в помощь, когда ты творишь?

Вот и еще одна сложность, над которой придется задуматься: для созидания, творчества плодотворно сотрудничество и совместные поиски. Если ствол дерева пронизывают токи любви — и творчество расцветает. Но это не значит, что человека нужно растворить в сообществе, нет, — речь идет лишь об общем направлении питающих соков, — благодаря им ветви дотягиваются до неба и превращаются в храм. Ошибка здесь та же, что и у логиков: выявив в произведении план, они считают, что план создал произведение, — нет, так оно себя овеществило. План — это обозначившееся лицо. Не нужно каждого подчинять обществу, пусть каждый подчинится своему делу и понуждает всех остальных расти, хотя бы из чувства противоречия. Я побуждаю всех к созиданию и творчеству. Если они будут жить только полученным от меня, они оскудеют и обнищают. Но я тот, кто готов принять их творения, и они возвеличатся в собственных глазах, глядя на мою мощь, созданную их усилиями. Я оградил своими объятьями их коз, овец, зерно и даже дома, я присвоил их и вернул им обратно, как дар моей любви к ним. Я подарил им и храмы, которые они сами построили . . .

Но как свобода — не своеволие, так и порядок — не неволя. (О свободе речь еще впереди).

Славить я буду тишину — музу плодов, жительницу полных житниц, изобильных подвалов и погребов. Восковые соты медвяного проворства пчел, умиротворенное собственной полнотой море.

Глядя с вершины, я погружаю в тебя — о тишина! — свой город. В нем остановились повозки, смолкла уличная разноголосица и звон наковален. Все бережно сложено в чашу вечера. Бдит Господь над усердными, укрыты Его плащом встревоженные и обеспокоенные.

Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине — молчание дневных сует, умиротворение жизни, собирающей дни в сноп. Тишина в женщине —

святыня и продолжение. В тишине женщины зачинается единственный путь, который непременно куда-то поведет. Она ждет ребенка, он раздвигает ей живот. Тишина — хранилище, куда я поместил свою кровь и свою честь.

Тишина в мужчине — он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Как благотворно иной раз незнание. Тишина — это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина — хранительница и русло его мыслей.

Тишина самих мыслей. Отдых пчел, они собрали мед, мед — соковище, его нужно хранить. Ему нужно созреть. Тишина мысли, растущей крылья, как она не любит тревог ума и сердца! . .

Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он — тишина вечности. В ней все уже высказано, все уже сделано.

Тишина Господа — сон пастуха, нет его слаще, хотя овцы и ягнята всегда в опасности, но как отделить пастуха от овец, когда есть только сон при свете звезд, когда только и есть что руно снов?

Ах, Господи! Перейдут времена, Ты станешь складывать в житницу сотворенное. Ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у Себя в хлеву и, как от болезни, разрешишь нас от всех вопросов.

Ибо я понял: продвинуться вперед — значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих ученых, а они — нет, не то чтобы они ответили на свои прошлогодние вопросы, они — о Господи! — рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов.

Я ведь знаю, Господи, что мудрость не умение отвечать, а избавление нашей речи от превратностей. Вот влюбленные сидят на низкой ограде апельсинового сада, они сидят рядышком и болтают ногами, они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. Но я знаю любовь, — им не о чем больше спрашивать.

Я перерастаю одно противоречие за другим, и все меньше у меня вопросов, и все ближе я к благодати тишины.

Болтуны! Сколько вреда они принесли людям!

Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их Своей рукой, как головную боль. Вот так.

Собирая в житницу сотворенное, открой нам, Господи, створки Твоих ворот, позволь войти туда, где не понадобятся ответы, где вместо ответов будет блаженная безмятежность, которая и есть конец всех вопросов и полнота удовлетворения, — ключ свода, идеальное лицо.

Вошедшему откроется чистейшая гладь воды куда просторнее морских гладей, он смутно догадывался о ней, когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада и любимая его была похожа на гавань, остановленную на бегу, и слегка задышалась.

Тишина — гавань для корабля. Тишина Господня — гавань всех кораблей.

XL

Бог послал мне обворожительную лгунью, как просто, мелодично и жестоко она лгала! Я заинтересовался ею, словно ветром, прилетевшим с далекого моря:

— Почему ты лжешь? — спросил я.

А она заплакала и спряталась за своими слезами. Я задумался: почему она плачет.

«Она плачет, — думал я, — потому что я не поверил ее выдумкам.

Я не подыгрываю людям в их пьесах. Не вижу в этом смысла. Она хочет представиться мне другой. Я не вижу тут трагедии. Трагедию переживает женщина, которой так не хочется быть собой. Я совсем не о добродетели, ее устои чтут чаще всего ханжи, а не поистине добродетельные. Добродетельной, как дурнушкой, нужно родиться. А всем остальным,— им так хочется быть добродетельными, но и любимыми тоже, они не в силах сладить с собой, а вернее, с окружающими. Они постоянно бунтуют и восстают. И лгут, чтоб оставаться хорошими».

Причина, высказанная словами, никогда не бывает подлинной. Я упрекаю мою лгунью только в том, что она все перевернула с ног на голову. Я не слушаю ее историй, не слушаю шума слов — с молчаливой моей любовью я вглядываюсь в ее усилия. Она рвется и мечется, как лисица в капкане. Птица, окровавившая грудь о прутья клетки. И я обратился к Господу и спросил Его:

— Господи! Почему Ты не дал нам языка, чтобы высказать себя. Слушай я ее не любя, я бы ее повесил. А ведь ее можно и пожалеть: окровавленной птицей мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса и не потащит его к себе в нору.

— Повелитель!— обратилась она ко мне.— Они не знают, что я ни в чем не повинна.

Но я-то знал, сколько смуты она внесла в мой дом. Но жестокость Господа терзала мне сердце.

— Помоги ей заплакать, Господи! Пусть она устанет от самой себя и затихнет у меня на плече: она еще не знает, что такое усталость.

Она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить ее. Да, Господи, я нарушил свой долг, я ее пожалел. Но разве можно пренебречь одной маленькой девочкой в слезах? Она не вся Вселенная, но она — частичка Вселенной. Она мучится, потому что не в силах воплотиться. Потому что вспыхивает и рассеивается дымок. Ее лодку перевернула река, тащит ее, и ей не справиться с течением. Но вот прихожу я, я — ваш берег, кров, суть. Я — новый язык, дом, границы, внутренний стержень.

— А теперь послушай меня,— говорю я ей.

Нужно принять и ее. И других человеческих детей, особенно тех, кто не знает, что в силах знать...

Я хочу взять вас за руку и вести вас к воплощению...

Я — время цветения человека.

XLI

Я видел людей счастливых, видел несчастных без очевидного горя смерти, без очевидной радости свадьбы, болезни или здоровья. Больного можно поднять на ноги, сообщив ему необыкновенно важную новость, например, известив о победе, он встанет и побежит в город. Я исцелил целую крепость, войдя на заре с моим победоносным войском — все были на улицах, все обнимались. Ты спросишь: «А почему бы, собственно, не поддерживать в них счастье вечно гремящими победой фанфарами?» Я отвечаю: «Потому что победа — тот же пейзаж, его не получишь в пользование, увидев с вершины горы, его создали твои ноющие от усталости ноги. Пейзаж, победа — переход от одного состояния к другому. Нет победы, которая длилась бы вечно. Дли ее, и она уже не живет, наступает лень, скука, нет победы, есть будни. Так что же? Значит, жить надо переходя от богатства к бедности и от бедности к

богатству? Нет, потому что всю свою жизнь ты можешь бороться с лишениями, с нищетой и накопить только усталость: должник, преследуемый заимодавцами, вешается: мелкие радости, кратковременное благополучие не возместят ему ночей, изношенных бессонницей. Как не живет богатство и победа, так и не живут и мелкие радости, которые бросают человеку, словно охапку сена корове.

Я хочу видеть в мужчинах пылкость и благородство, а у женщин сияющие счастьем глаза. Где мне взять таких мужчин и таких женщин? Нет их вокруг меня, нет их и для себя самих тоже. Я отвечаю: они становятся такими, когда картина мира наполняется смыслом и связями, когда ты повел солдат в военный поход, начал строить храм или одержал победу. Правда, победа — пища одного дня. Победа одержана, и теперь можно только пожинать ее плоды, но это не значит жить. Почему победа так радостна? Потому что ты рад очутиться со всеми вместе. Вчера в горе, своем или своих детей, ты был один или с немногими друзьями, но вот ты расцвел победой — и с тобой множество людей. На строительство храма нужен век, целых сто лет богато сердце зодчего. Вкладывая, растешь и растишь возможность выкладываться. Строя изо дня в день свою жизнь, ты обошел круг моего года и, оглянувшись, счастлив ему как празднику, хоть и не сделал никаких припасов. Памятуя о празднике, ты дарил и дарил и стал куда счастливее, чем если бы устроил праздник один-единственный раз. И в детей мы вкладываем себя, дети нам тоже в радость. В радость и наши груженные корабли в открытом море, им грозят опасности, они их преодолевают и вливаются вместе с командой в новый рассвет. Вокруг меня возрастает рвение, растет оно от успешных трудов. И писатель — графomanам такое не в помощь, — чем больше пишет, тем строже оттачивает стиль. Но мне не по нраву усердие, которое во что бы то ни стало хочет преуспеть. Чем больше я узнаю, тем больше хочу знать и тем больше потребляю чужого, тем больше обираю других и пожираю их, жирею. Тем скуднее у меня душа.

Одержав победу, человек хочет насладиться ее плодами и видит вдруг, что обманулся: он перепутал жар творчества со скучным присутствием вещи, которая его не греет. Конечно, завоеванным пользуются, но желательно пользоваться им, приготавливаясь к новой победе, чтобы воспользоваться вновь завоеванным. Одно должно подстегивать другое. Так танцуются танец, поется песня, так молятся, молитвы рожают рвение, а рвение приводит к молитве. И точно так же живет любовь. Но если я изменился и больше не меняюсь, если не двигаюсь и ни к чему не стремлюсь, чем я отличаюсь от умершего? Вид, открывшийся тебе с горы, в радость до тех пор, пока ноют ноги, трудившиеся ради него, пока тело радо отдыху.

XLII

Я сказал им: «Не стыдитесь ненавидеть». И они приговорили к смерти сто тысяч человек. Смертники сидели по тюрьмам с досками на груди, словно меченый скот в стаде. Я обошел тюрьмы, я смотрел на узников. Люди как люди. Я не нашел отличий. Я вслушивался, наблюдал, смотрел. Видел, что в тюрьме, как на свободе, делаются хлебом, суеются вокруг больного ребенка, укачивают его, не спят ночей. Видел, что и в тюрьмах, как на свободе, мучаются одиночеством, если остались одни. Плачут, когда в толще стен вдруг узнали любовь.

Я вспомнил рассказы моих тюремщиков. И попросил привести ко мне преступника, чей нож еще вчера обогрела кровь. Я допрашивал

его сам. Я вглядывался, но не в него, он уже обречен смерти, — в непо-стижимое в человеке.

Жизнь берет свое где только может. В трещине скалы вырос мох. Первый сухой пустыни уничтожит его. Но мох спрячет свои семена, они будут жить. Кто скажет, что он здесь вырос напрасно?

Смертник объяснил, что над ним смеялись, что уязвляли его гор-дость, его самолюбие . . . Самолюбие обреченного смерти . . .

Я видел: озябнув, узники жались друг к другу. Те же овцы, такие же, что и повсюду на земле.

Тогда я решил посмотреть на судей, созвал их и спросил:

— Почему вы отделили вот этих от всех остальных? Почему у них на груди доски смертников?

— Такова справедливость, — отвечали они.

Я размышлял: да, такова справедливость. Справедливость для су-дей — это уничтожение того, кто нарушил общепринятое. Но общепри-нятое нарушает и негр. И принцесса, если ты чернорабочий. И худож-ник, если ты чужд художеству. . .

Я сказал судьям:

— Мне хотелось бы, чтобы вам показалась справедливостью их свобода. Попробуйте понять меня. Представьте: вот узники захватили тюрьму и власть, теперь они будут вынуждены посадить вас в тюрьму и уничтожить, я не думаю, что от таких мер царство улучшится.

Так я въяве увидел кровавое безумие, причина которого — образ мыслей, и стал молиться Господу:

— Безумие владело и Тобой, Господи, когда Ты позволил им до-вериться своему жалкому лепету. Кто научит их, нет, не словам, — тому, как ими пользоваться. Ветер слов, перепутавший все на свете, убедил их в необходимости пыток. От неловких, неумелых, бессильных слов родились умелая, ловкая сила пыток.

Но в тот же миг мои рассуждения показались мне жалким лепе-том и вместе с тем желанием кого-то рассудить.

XLIII

Все, что уже не живет, превращается в подделку. Поддельна и слава прошлого. И наше восхищение давними победителями.

Нет подлинности и в новостях, потому что завтра от них ничего не останется.

Научитесь видеть внутренний стержень — наполнитель всегда под-делка.

Я выявлю тебя в тебе, как пространный пейзаж, туманная пелена над которым мало-помалу рассеивается, — из близи тебя не увидишь. Так выявляет истину ваятель. Он не лепит отдельно нос, потом подбородок, потом ухо. Творчество — всегда создание целостности, а не ме-тодичное присоединение одной части к другой. Творчество — общая ра-бота всех, кто сгрудился вокруг идеала, кто строит, кто трудится, кто спорит вокруг него.

XLIV

Наступил вечер и для меня, я спускаюсь с моей горы по склону нового поколения, — лица его я не знаю. Я заранее устал от слов; в скрипе повозок, в звоне наковален я не слышу биения его сердца, — я

безразличен к этим незнакомцам, как если бы не знал их языка, равнодушен к будущему, которого для меня не будет,—меня ждет земля. Но мне стало горько: как крепко я замурован в крепости эгоизма. «Господи! — воскликнул я. — Ты оставил меня, а я оставил людей!» И я задумался, что же меня в них так разочаровало.

Ведь мне ничего, совсем ничего от них не нужно. Моим пальмовым рощам не нужна новая отара. Моему замку не нужны новые башни — плащ мой тянется из зала в залу и кажется мне кораблем, преодолевающим морской простор. Мне не нужны слуги, я и так кормлю тех, что по семь или восемь человек выстроились у каждой двери, словно колонны, и вжимаются в стены, заслышав шорох моего плаща на галерее. Мне не нужны новые женщины, я укрыл их всех моей молчаливой любовью и не слушаю больше ни одной, чтобы лучше услышать... Я уже видел, как они засыпают, сомкнув ресницы и погрузив глаза в бархат сна... Я оставил их и поднялся на самую высокую из башен, купающуюся в звездах, я хотел узнать у Господа, что же такое сон. Вот они спят, и нет больше дрязг, мелочности, жалких уловов, тщеславия и суетности, но настанет утро, и все это проснется вместе с ними, и для каждой не будет важнее заботы, чем унижить свою товарку и занять ее место в моем сердце. (Но, если позабыть их слова, останется щебетанье птиц и трогательность слез...)

XLV

Вечером, когда я стал спускаться с моей горы по склону, где никого не знал, чувствуя себя погребенным в ангельской немоте покойником, меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал раскидистым деревом с узловатым стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить, за то, что от пергамента моих пальцев веет запахом времени, будто я успел сбыться. Вот оно мое утешение: я подумал, нет больше тирана, который устрасил бы меня, старика, запахом пытки — у пыток запах кислого молока, — ничего не изменить тирану в том, что уже состоялось, какова бы ни была моя жизнь, она уже есть у меня, она позади, словно плащ, и держится на тонкой тесемке. Люди уже запомнили меня, и отрекайся не отрекайся — ничего уже не изменишь.

Утешало меня и то, что вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут, мне казалось, что я уже обменял заскорузлую плоть на легкие неосязаемые крылья. Будто разрешился от бремени самим собой и гуляю наконец подле ангела, которого искал так долго. Словно сбросил старую оболочку и снова стал юнцом. Но не порывы, не желания сопутствуют моей юности — безмятежная ясность. Моя юность тяготеет к вечности, а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. Мне показалось, я стал вечным.

Я напоминал себе путника, который подобрал на дороге раненую ножом девушку. Он поднял ее и несет, словно охапку роз, а она без сил, без сознания, усыпленная стальной молнией, улыбается, отдыхая на крылатом плече смерти, но несет он ее к поляне, где собрались те, кто могут ее исцелить.

Задремавшее чудо, я наполню тебя своей жизнью, я простился с суетностью, вспышками гнева, гордыней и притязаниями, свойственными людям; с радостями, которые выпали на мою долю, с горестями, которые меня мучили, — есть только ты, которой становлюсь я; и, пока я несу тебя к целителям на поляне, я превращаюсь в сияние глаз, в прядь волос, упавшую на чистый лоб, ты поправишься, и я научу тебя мо-

литься, чтобы совершенство души помогло тебе выпрямиться, словно стебель цветка с прочными корнями. . .»

Я больше моего тела, оно треснуло, как скорлупа перезрелого ореха. Не спеша спускаюсь я с моей горы и плащом за мной тянутся склоны и поляны с разбросанными там и сям золотыми звездочками — огоньками моих домов. Я клонюсь под тяжестью моих даров, словно дерево.

Спящий народ мой, благословляю тебя — спи.

Пусть помедлит солнце лишать тебя ласкового крова ночи! Пусть мой город как следует выпится перед тем, как расправить пчелиные крылья и приняться с зарей за работу. Пусть те, кого постигло вчера горе и кому Господь дал сейчас отсрочку, не спешат вернуться к трауру, нищете, смертному приговору или смертельной болезни. Пусть помедлят они на груди Господа, прощенные и обогретье.

Я тебе охрана.

Я не сплю, так поспи еще ты, мой народ.

XLVI

Сердцу моему так тяжело от тяжести мира, словно я взял его весь на себя. Я стою один, оперевшись спиной на мое дерево, я скрестил на груди руки, чувствуя холод ночного ветра, и как заложников принимаю тех, кто ищет с моей помощью утраченный смысл своей жизни, свое в ней место. Нет места у той, что была только матерью и потеряла ребенка. Она стоит перед бездной как никому не нужное прошлое. Она была лесом лиан, обвивая цветущее дерево, и вот дерева больше нет. «Куда деть мне нежность? — думает она. — И молоко, когда оно прибывает? . . .»

Нет места у прокаженного, медленным огнем тлеет в нем болезнь, он обречен людьми на изгойство, он не знает, зачем ему желания сердца, которые просыпаются у него в груди. Нет места у твоего друга, он узнал, что болен раком, а у него множество работ в начале, им нужны десятилетия, чтобы осуществиться, — он похож на дерево, оно терпеливо тянуло корни, и они дотянулись до пустоты, висят над бездной. Что делать хозяину — у него сгорели амбары? Чеканщику, потерявшему правую руку? Человеку, который ослеп?

На сердце у меня тяжесть всех, кому не на кого опереться. Того, от кого отвернулись близкие, и того, кто сам от них отвернулся. Того, кто мучается на смертном ложе и со стоном ворочается с боку на бок: тело его бесполезнее сломанной повозки, он призывает смерть, а она не идет за ним. Он кричит: «За что же, Господи? За что?!»

Все они — солдаты разбитой армии. Но я соберу их и помогу одержать победу. Нет разбитых армий, каждая побеждает, но по-своему. Ведь в каждом продолжает свой путь жизнь. Цветок вянет, оставляя семечко, сгнивает семечко, пуская росток, и из каждой треснувшей куколочки показываются крылья.

Да, все вы — земля, пища и повозки прекрасного шествия Господа!

XLVII

Я спросил: «Не стыдно ли вам своей ненависти, гнева, распрь, ссор? Не сжимайте кулаков из-за пролитой вчера крови, благодаря ей в вас родилось что-то новое, ребенок рассасывает до кровавых трещин материнскую грудь, бабочка платит за крылья обломками куколочки. Чем

вы обогатитесь, ратуя за вчерашний день? Он отошел, нет в нем ни истины, ни подлинности. Опыт учит меня, что палач и жертва — любовники первого кровавого часа любви. Плод будущего рождается от них обоих. И плод этот значимей тех, кто его породил. В нем они примиряются друг с другом до того дня, когда новое поколение проживет свой кровавый час любви.

Да, роды болезненны, человек страдает и мучается. Но вот отпустила боль, и стало радостно. Человек обретает себя в народившемся. Знаете, когда каждого из вас укрывает ночь и вы засыпаете, вы все так похожи друг на друга. Все, все, и те тоже, кто спит в тюрьме с доской смертника на груди, и он тоже ничуть не отличается от всех остальных. Важно одно — отдать себя своей любви. Язык, он не подпустит меня к сути, поэтому я прошу всех убийц. Этот убил из любви к своему гнезду, ибо не жалеют жизни только ради любимого. И другой убил из любви к своему гнезду. Постарайтесь понять это — это главное — и не считайте заблуждением ценности, отличные от ваших. Не считайте истиной то, что, по вашему мнению, безошибочно. Мы во власти очевидности, и тебе, например, очевидна необходимость подниматься вот на эту гору, но помни: твой сосед тоже во власти очевидности, когда старательно карабкается на свою. Очевидная для тебя необходимость лишила тебя сна и заставила вскочить раньше всех соседа. Очевидно для вас разное, но настоятельность очевидного одинакова и для тебя, и для него.

Однако тебе кажется, что сосед каждым своим шагом попирает тебя. А соседу кажется, что ты попираешь его всеми твоими делами и поступками. Каждый из вас знает, в душе у вас, кроме холода недоброжелательства или откровенной ненависти, живет такая очевидная, такая чистая и ясная картина мира, за которую не жалко отдать и жизнь. Но друг друга вы ненавидите, воображая, что у соседа пустое сердце, лживый и неправильный грубый язык. Я смотрю на вас со своей вершины и говорю: «Вы любите одну и ту же картину, хотя, может быть, она не слишком отчетлива».

Очиститесь от крови: рабство рождает только бунт. Если нет стремления поверить, чему поможет суровость? Если вера умерла и люди ищут новую, чему поможет суровость?

Для чего вам, едва начнет светать, хвататься за оружие? Что завоюете вы в кровавых схватках, убивая и не зная даже, кого убиваете? Мне претит голос крови, он взращивает одно только братство — братство тюремщиков.

Я не советую тебе спорить. Спор лишен смысла. Твой противник, исходя из очевидной для него картины, отвергает твои истины — он не прав. Не прав и ты — ты, исходя из своей очевидности, отвергаешь его истины.

Прими самих людей. Возьми за руку и веди. Скажи им: «Конечно, вы правы, но прежде нам придется подняться на эту гору». Только так ты установишь в мире порядок, и люди вздохнут полной грудью, завоевав простор.

Когда один скажет: «В городе тридцать тысяч жителей», а другой возразит: «Нет, только двадцать пять», — они договорятся: цифры для всех одни, кто-то из них и впрямь ошибся. Другое дело, когда один говорит: «Город — творение архитектора. Город — вечен. Он — корабль и везет людей». А другой отвечает: «Город — чудесный гимн множества людей, объединенных общей работой. . .»

Один: «Благотворна свобода и противоречия, они питают новое в человеке, помогая ему родиться». Другой: «Свобода развращает. Кедр вырастает по принуждению внутренней необходимости». И вот они

проливают кровь друг друга. Не огорчайся, это родовые схватки, поиски себя и вопль, обращенный к Господу. Скажи каждому из них: «Ты прав. Потому что прав каждый». И веди их дальше, к вершине. Сами они лентясы карабкаться вверх: то у них сердцебиение, то ломит ноги, но, перестрадав страдание, они откроют для себя мужество. Если боишься хищников, ищешь места повыше. Если ты — дерево, ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебе, потому что нет на свете врагов. Враги обозначают границу тебя, формируют, уплотняют. И пусть знают все: «Свобода и принуждение — две стороны единой необходимости — необходимости быть таким и не быть иным. Ты свободен поступать так и принужден так не делать. Свободен говорить на своем языке и принужден не устраивать воляпук из разных. Свободен играть в кости, но принужден соблюдать правила игры, не портя их другими условиями. Свободен строить новое, но не вправе портить и разбазаривать старое. Писатель, добившийся скандальной славы нарочитым неумением писать, закрывает путь к успеху всем и самому себе тоже: утратив чувство стиля, читатель не найдет вкуса и в его книгах. Кража и насмешка: я назвал короля ослом, все хихикают, потому что привыкли чтить короля. Но почтение мало-помалу изнашивается, король и осел сливаются воедино, слова мои уже сама очевидность. Никому больше не смешно.

О том, что свобода и принуждение — одно целое, знают все: ревнители свободы всегда ратуют за мораль, признавая тем самым необходимость принуждения. «Полицейский надзор должен осуществляться изнутри», — вот что, по сути, заявляют они. Поборники принуждения настаивают, что главное для человека — свобода духа; сколько простора в твоём тесном доме, ты волен переходить из комнаты в комнату, спуститься в прихожую, открыть и закрыть дверь, ходить вверх и вниз по лестницам. Чем больше стен, порогов, засовов, тем ты свободнее. Незыблемость каменных стен обязывает тебя ко многому, называя свободу выбора между всевозможными способами действовать. Беспорядочная жизнь сообща не свобода, а разврат.

На деле, все мечтают об одном и том же городе. Но один требует дать возможность действовать каждому. Другой требует воспитать каждого, прежде чем тот начнет действовать. Оба пекутся о человеке.

Оба правы. Первый считает, что человек неизменен и независим. Он забыл о тех двадцати годах обучения, принуждения, тренировки, которые так или иначе сформировали этого человека. Забыл, что умение любить приходит от молитвенного состояния души, наученной молиться, а не от отсутствия внутренних обязательств перед чем бы то ни было. Если не освоить музыкальный инструмент, как играть? Если не выучиться грамоте, как писать стихи? Но не прав и второй, он полагается на поддержку стен, а не на самого человека. На храм, а не на молитву. Но не камни главное в храме — тишина, ради которой их сложили. В храме и в человеческом сердце. Сердце, исполненное тишины. Мой храм — сердце. А кто-то обожествил камень и молится ему, для того чтобы камень...

Точно так же я молюсь царству. Я обожествил его для того, чтобы оно помогало людям. Я не жертвую людьми царству. Я создаю царство, чтобы заполнить и одухотворить человека. Главное для меня — человек. Я подчиняю человека царству, чтобы он нашел себя и свое место в жизни. Я не ищу для своего царства рабов. Давай оставим свойственный нам язык, он не передает сути, разделяет причину и следствие, слугу и хозяина. Но в жизни осязаемы и реальны только связи, взаимосвязи и внутренние зависимости. Я — царь, я подчинен моему народу жестче, чем мне любой из моих подданных. Я выхожу на террасу дворца и вслушиваюсь, как они ночью жалуются, бормочут, стонут и всхли-

пывают от боли, радостно смеются. Их жизнь я превращаю в гимн Господу. Такова суть моего им служения. Я — вестник, я собрал их и помогаю переправиться. Я — раб и несу на плече паланкин. Я — толмач.

Я — узел, увязавший их в одно целое, ключ свода, преобразивший их в храм. На что роптать им? Разве унижительно для камней поддерживать свод?

Так не спорь же о путях — спор лишен смысла.

Бессмысленно спорить и о людях. Мы всегда путаем следствие с причиной. Откуда узнать людям, что пронизает их, если не существует слов, чтобы выразить это ощущение? Как капле почувствовать себя рекой? Но течет все-таки река. Как клетке дерева почувствовать себя деревом? Но растет все-таки дерево. Как камню ощутить себя храмом? Но все-таки храм сберегает тишину, словно житница.

Откуда знать людям, что они делают — никогда не поднимались они на гору, никогда не пытались обрести тебя в одиночестве и тишине. Одному Господу ведомо, каким вырастет дерево. Люди знают другое: этот тянет вправо, а этот влево. И каждый мечтает уничтожить соперника. Но никто из них не знает, куда же они все вместе плывут. Точно так же враждуют деревья в тропиках. Они теснят друг друга и крадут друг у друга солнце. А лес тем временем разрастается и одевает густым мехом гору, одаряя зарю птицами. Неужели ты веришь, что в их слова уместается вся жизнь?

Что ни год находится сказатель, что поет о невозможности войн, ведь никто на свете не хочет страдать, оставлять жен и детей, воевать за землю, на которой никогда не поселится, никто на свете не хочет умереть под палящим солнцем с вывороченными кишками от вражеского наряда. Спроси любого, хочет ли он воевать, и каждый ответит: «Нет!» Но проходит год — и царство вооружается. Все, кто не признавал войны, — ибо суть ее не исчерпать скудным человеческим — проникаются общим для всех духом, который никак не выразишь, и идут на войну, что не имеет ни малейшего смысла для каждого по отдельности. Дерево растет и ничего не знает о себе. Постичь его может лишь поднявшийся на вершину пророк. Нарождающееся, отмирающее всегда больше, чем люди, оно проходит сквозь них, но они не в силах уловить его словом. Чувство безнадежности — вот знак наступивших перемен; царство при смерти, ты узнал об этом, потому что жители его изверились в нем. Но ты будешь неправ, если призовешь неверов к ответу, обвиняя их в близкой смерти царства. Неверие — свидетельство неблагополучия. Но как узнать, что причина, а что следствие? О том, что морали больше нет, ты узнаешь, увидев министров-взяточников. Можно отрубить министрам головы, но они — только свидетельство общего разложения. Закопать покойника не значит бороться против смерти.

Но покойника нужно закопать, и я закапываю его. Министры развратились, я уничтожаю их. Но хочу сохранить достоинство и запрещаю обсуждать их. Мне претят слепцы, укоряющие друг друга за слепоту. Я не вправе терять свое время на их пререкания. Мои солдаты дали стрекача, генерал обвинил их в трусости, они стали винить во всем генерала. И сообщая, генерал и солдаты, стали ругать вооружение. Армия винит поставщиков. Поставщики ругают армию. И те и другие вместе честят систему. Я объясняю им: сухие ветки нужно обрубить, потому что они свидетельствуют о смерти, но считать их причиной смерти дерева — глупо. Дерево при смерти, поэтому ветки сохнут. Сухая ветка — знак близкой смерти.

Видя безнравственность, я караю ее, но не провинившиеся занимают

меня — другое. Плохи не люди, плохо то, что в людях сгнил человек. Меня заботит занемогший ангел. . .

Я знаю, объяснения не лечат, — излечивает поэзия. Кого спасли объяснения врача? Врач определил: «Причина смерти в. . .» Да, действительно, причина ясна: человек умер из-за больных почек. Но почки еще не вся жизнь. Мы так логично все выстроили, так аккуратно собрали керосиновую лампу, заправили ее, но света нет: не поднесли огня.

Любишь потому, что любишь. Нет доводов, на основании которых вспыхивает любовь. Средство одно — творчество, если сердца забьются в унисон, значит, люди вместе, ты помог им объединиться. И мало-помалу музыка, завладевшая их душой, станет мотивом их деятельности.

Спустя какое-то время музыка обрстет доводами, причинами, станет силой, потом догмой. Вокруг твоей статуи соберутся логики и перечислят все основания, почему твоя статуя прекрасна. И не ошибутся, она и впрямь прекрасна. Но не логика открыла им это.

XLVIII

Я знаю: нам не о чем жалеть, и это величайшее из утешений. Ни о чем не стоит жалеть и ни от чего не нужно отказываться.

— Прошлое — тот же пейзаж, — говорил мне отец, — здесь у тебя гора, там речка, по прихоти памяти ты расставляешь между ними города, которые любишь навещать. Если тебе чего-то не достало, ты строишь воздушный замок. Построить его легко: ничем не помешаешь нашему мечтанью, потому-то оно так летуче, податливо, ненадежно, потому-то оно всегда во власти случая. Но не сожалей, твердя, что лучше бы помнить другое. Воспоминания хороши тем, что они есть. В наличии — главное достоинство моего замка, его дверей и стен.

Какой завоеватель, завладев землями, сожалел, что гора поднимается здесь, а река течет там? Для вышивки необходима ткань, для пения и танцев — правила, для человеческих трудов — выучка.

Сожалеть о полученных ранах — все равно что сожалеть о том, что родился на свет или родился не в то время. Прошлое — это то, что сплело твое настоящее. С ним уже ничего не поделать. Прими его и не двигай в нем горы. Их все равно не сдвинуть с места.

XLIX

Главное — идти. Дорога не кончается, а цель — всегда обман зрения странника: он поднялся на вершину, но ему уже видится другая; достигнутая цель перестает ощущаться целью. Но ты не сдвинешься с места, если не примешь того, что существует вокруг тебя. Пусть для того, чтобы вечно уходить от существующего. Я не верю в отдых. Если мучает противоречие, недостойно закрыть на него глаза и постараться поскорее успокоиться, согласившись с первой попавшейся из сторон. Кто видел, чтобы кедр прятался от ветра? Ветер раскачивает его и укрепляет. Умудрится тот, кто из дурного извлечет благо. Ты ищешь смысла в жизни, но единственный ее смысл в том, чтобы ты наконец сбылся, а совсем не в ничтожном покое, позволившем позабыть о противоречиях. Если что-то сопротивляется тебе и причиняет боль, не утешай, пусть растет — значит, ты пускаешь корни, ты выбираешься из кокона. Благословенны муки, рождающие тебя, нет подлинности, нет истины, которые явились бы как очевидность. А то расхожее решение,

что тебе обычно предлагается — удобная сделка, снотворное при бессоннице.

Я презираю тех, кто валяет дурака, лишь бы позабыть о сложностях, кто ради спокойной жизни душист порывы сердца и тупеет. Запомни: неразрешимая проблема, непримиримое противоречие вынуждают тебя превозмочь себя, а значит, вырасти — иначе с ними не справишься. Искривляя корни, ты пробиваешь безликую каменистую землю, и питаешься ею, и творишь во славу Божию кедр. Истинна слава лишь того храма, который вытерпел износ не от одного десятка поколений. И ты, если хочешь вырасти, позволь противоречиям изнашивать тебя, они — твой путь к Господу. Нет в этом мире другого пути. Согласись, прими страдание, и оно поможет тебе подняться.

Но есть слабые деревья, они не выдерживают песчаных бурь. Есть слабые люди, они не в силах себя превозмочь. Убив в себе величие, они кроют себе счастье из посредственности. И согласны вековать на постоялом дворе. Они согласились на выкидыш, они скинули самих себя. Мне нет дела до того, что с ними станет. Они плесневеют среди скудости готового и верят, что счастливы. Они не пожелали видеть врагов в себе и вокруг себя. Они отвернулись от необходимости, неудовлетворенности и неутолимой жажды, через которые говорит с ними Господь. Они не тянутся к свету, как тянутся к нему в гуще леса деревья, — солнце не может сделаться запасом, они всегда будут гнаться за ним сквозь густую тень соседних, будут вытягиваться и расти, пока не станут ровными стройными колоннами, их породила земля, но они возвеличились, потому что искали своего Бога. Бог никого не ловит. Он существует, и человек может взрастить себя на Его просторе, как дерево с могучей кроной.

Не снисходи до общепринятых мнений. Люди сосредоточат тебя на тебе самом и помешают расти. Они привыкли считать заблуждением все, что противоположно их истине, твои метания и противоречия для них легки и разрешимы, и, как плод заблуждения, они отбросят семя твоего будущего роста. Они хотят, чтобы ты обобрал сам себя, стал потребителем, довольствовался готовым и делал вид, будто сбывается. Для чего тебе тогда искать Господа, слагать гимн, карабкаться на горную вершину, чтобы упорядочить пейзаж, который клубится сейчас перед тобой хаосом? Для чего спасать в себе свет? Ведь его не поймать раз и навсегда, его нужно ловить каждый день.

Не мешай, пусть они говорят. Легковесные души советуют тебе, они хотят, чтобы ты был счастлив. Прежде времени хотят они успокоить тебя, покой ты обретишь только в смерти, только после смерти послужит тебе накопленное. Копишь ты не запас на жизнь, а мед на зиму вечности.

Если ты спросишь меня: «Так будить ли мне спящего или оставить спать, не мешая его счастью?» Я отвечу, что ничего не знаю о счастье. Но если на рассвете заморозки, неужели ты не разбудишь друга? Неужели оставишь его без восходящего солнца? Многие любяют спать и не хотят просыпаться, но все же высвободи их из блаженных объятий сна, выгони из дома, они должны сбываться.

L

Женщина обирает тебя ради дома. Кому не желанна любовь — запах жилого, журчанье во дворе родника и едва слышный звон кувшинов, — любовь, благословленная детьми, следующими один за другим, и в глазах их покой вечера? . .

Но не пытайся выразить благо словесно и отдать предпочтение либо славе воина в пустыне, либо дарам домашней любви. Отделили

одно от другого слова. Всерьез любит воин, он узнал безбрежность пустыни, всерьез бьется за колодец влюбленный — он любит и не жалеет себя ради своей любви. Если воюет не человек, а несущий смерть автомат, то где тогда достоинство воина и честь? Битва тогда — чудовищная возня муравьев. Где величие любви, если под боком у жены сопит ленивый обитатель хлева?

Я вижу величие, если воин, отложив оружие, укачивает ребенка, муж-защитник отправился на войну.

Я не о том, что одно должно сменять другое, что значима то одна правда, то другая. Я о том, что правда всегда одна. Чем мужественней ты как воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать.

Но женщина, заполучив тебя для своих ночей, познав сладость твоего ложа, обольщает тебя: «Разве плохо я тебя целую? Разве в нашем доме мало прохлады? Разве мы не счастливы вечерами?» И ты согласно улыбаешься в ответ. «Так оставайся со мной, оберегай меня, — продолжает она. — Стоит тебе захотеть, ты протянешь ко мне руки, и я склонюсь к тебе апельсиновой веткой, полной сладких оранжевых плодов. Жизнь в разлуке сурова, она отучает от ласки. Любовь твоего сердца уйдет в песок, как вода, лишившись возможности расцвести на лугу цветами».

Но ты-то успел узнать, как безудержно влечет тебя к той, чей образ подарен тебе ночным одиночеством, как украшает его тишина...

Ты убежден: война отняла у тебя чудесную возможность любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно Ему молясь. Только так наполнишься ты, не изнашиваясь, не расплескав полноту в потоке дней, и она останется с тобой, когда дни твои кончатся и тебе позволено будет быть, ибо ты сбылся.

Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовет в ночи любимую и верит, что время течет для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутоленной жажде любви, забыв, что суть любви — жажда. Знают об этом танцующие, танец сложен из приближений, а кто мешал бы им прикинуть друг к другу?

Повторяю: драгоценна неосуществленная возможность. Нежность среди тюремных стен — великая нежность. И молитва благодатна молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь.

Так не смешивай рвение с потреблением готового. Рвение, урывающее частичку и для себя, не рвение. Дерево усердствует ради плодов, но на что плоды дереву? Так и я с моим народом. Я усердно возделываю сад, но плоды его не для меня.

Не замыкай и ты себя в женщине. Не ищи то, что уже нашел. Будь с нею время от времени, житель гор по временам нуждается в ласковом море.

LI

Как несправедлив тот, кто показывает на тесный домик и говорит: «Он построен для истинных моих друзей...»

Что он думает о людях, этот брюзгливый подагрик? Если бы я решил выстроить дом для истинных моих друзей, я бы не справился:

так он должен быть огромен: нет человека, который не был бы мне другом, хотя бы одной своей малоприметной черточкой. Тот, кому по моему приказу рубят голову, тоже мне друг, и в нем есть согласие со мной, но расчленил человека невозможно. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня, и с удовольствием отрубил бы голову мне. Не подумай, что я говорю из дешевого прекраснотушия, снисходительности или пошлого желания понравиться, — нет, я по-прежнему тверд, суров и молчалив. Но дружественное мне и в самом деле обильно, оно рассеяно повсюду и быстро наполнило бы мой дом, помоги я ему сдвинуться с места.

А ты? Кого ты называешь своим истинным другом? Если того, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя — честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь ее, значит, дружба для тебя — выгода, которую можно извлечь из него. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба — долг чести. Но я презираю арифметику и называю другом того, кого вижу внутри каждого из нас, он может спать в глубинах естества, но при моем приближении проснется, узнает и улыбнется мне, хотя, возможно, завтра этот человек предаст меня.

А ты зовешь в друзья только тех, кто выпьет вместо тебя цикуту. На такую будущность и впрямь немного охотников.

Слывущие добряками ничего не смыслят в дружбе. Мой отец был жесток, но у него были друзья, он умел любить их и не знал разочарований. Разочарование в дружбе — это обманувшееся корыстолюбие. Разочарование низко, куда же подевалось в человеке все то, что ты полюбил? Ведь и вначале в нем было то, что тебе не нравилось. Но и любимого тобой, и любящего тебя ты превращаешь в раба и, если он не выдерживает тягот рабства, казнишь его.

Друг подарил тебе любовь, а ты вменил ему любовь в обязанность. Свободный дар любви стал долговым обязательством жить в рабстве и пить цикуту. Но друг почему-то не рад цикуте. Ты разочарован, но в разочаровании твоём нет благородства. Ты разочарован рабом, который плохо служит тебе.

LII

Я расскажу тебе об усердии. Потому что со всех сторон ты будешь слышать укоры. Например, от жены за то, что не принадлежишь ей одной. Жены убеждены, вне дома ты отдаешь украденное в доме. Мы забыли о Господе и выучились торговаться. Мы забыли, что отдавая, не истощаешь, а расширяешь возможность отдавать. Любящий в людях Господа, любит любого из людей щедрее, чем тот, кто сосредоточился на любви к единственному и поселил любимого в тесном садике своего «я». Воин, преодолевающий вдали опасности, щедрее одаряет любовью любимую, хотя, наверно, она не задумывается об этом, чем тот, кто день и ночь при своей жене, но сам не сбывается.

Не экономь на душе. Не наготовить припасов там, где должно трудиться сердце. Отдать — значит перебросить мост через бездну своего одиночества.

Отдавая, не старайся узнать кому. К тебе и так придут и скажут: «Он не стоит такого подарка». Как будто ты открыл лавочку и вознамерился торговать. Знай, взявший без отдачи подарил тебе возможность бескорыстно послужить Господу. И служит Ему не тот, кто порхал над раной ближнего, — тот, кто, не медля, пустился в далекий путь по горным тропам, чтобы вылечить рану слуги своего слуги. Но если ты ждешь благодарности, ты низок, ты лакей больше чем все лакеи вместе

взятые, ведь за твое внимание не расплатиться и вырванным из груди куском мяса. Через нуждающегося в твоей помощи ты послужил Господу, так поклонись ему до земли, что он согласился взять у тебя.

LIII

Я был молод, я ждал прибытия нареченной, что предназначили мне в жены. Караван вез мне ее из такого дальнего далека, что доброй успел состариться. Ты видел когда-нибудь состарившийся в пути караван? Караванщики, что стояли перед моими дозорными на границе, не знали своей родины. За время странствия умерли те, кто еще помнил ее и мог о ней рассказать. Они умерли один за другим, и их похоронили в песках. Пришедшие к нам хранили воспоминания о воспоминаниях. Песни, которые они переняли от стариков были легендами о легендах. Ты видел чудо чудеснее, чем приближение корабля, который построили и оснастили в открытом море? Юная девушка, что вышла из золотого с серебром ковчега, выговорила слово «родник». Она знала: когда-то давным-давно в счастливые времена существовали родники, и выговорила это слово, будто молитву, но не ждала ответа, ибо и Господу молятся по памяти других людей. Еще удивительнее было ее умение танцевать, танцам ее научили среди гранитных скал пустыни, она знала, что танец — тоже мольба и молитва, что на эту мольбу может ответить царь, но в пустыне и на нее не ждала ответа. Безответно молишься и ты до самой смерти, танцуя свой танец перед Господом. И еще одно чудо: жизнь будто и не прикасалась к ней, будто только сейчас вылепили ее теплые, словно голубки, груди, ее гладкий живот, чтобы рожала царству сыновей. Да, казалось, она родилась совершенной — безупречное зернышко, принесенное из заморских стран, прекрасное, переполненное дарами, которые самому ему не нужны, — мы станем такими после смерти, собрав все свои дела, заслуги, усвоенные уроки, как доказательство, что мы сбылись. Жизнь не посягала на ее приданое, девственным было ее тело, девственными — танцы без зрителей, девственным оставался родник, которого не касались ее губы, цветы, которых она никогда не видела, но из которых ее научили составлять букеты. Совершенство моей нареченной не нуждалось в свершениях, ей оставалось одно — умереть.

LIV

Я уже говорил: благодаря молчанию Господа, молясь, ты зарабатываешь в своем сердце умение любить. Если Господь тебе откроется, ты истаяешь в Нем и сбудешься. Зачем тебе тогда расти и возвышаться? И вот тот, кто отыскал Господа, видит женщину, огородившуюся гордыней, подобно моему треугольному военному лагерю, — как спасти ее? В безнадежности он печалится о человеческом жребии. «Господи! — говорит он. — Я обо всем догадался и думал, она расплачется. Слезы — дождь, отводящий грозу, они умягчают гордость, молят о прощении. Если бы она почувствовала себя слабой и заплакала, я простил бы ее. Но она стала хищной кунницей, кусается и царапается, защищаясь от несправедливостей Твоей Вселенной, она больше не умеет не лгать».

Он пожалел ее, потому что ей так страшно. И стал рассказывать Господу о людях: «Ты внушил им страх перед клыками, когтями, шипами, ядами, острыми ракушками и скалами Твоей Вселенной. Пройдет немало времени, прежде чем они успокоятся и вернутся опять к Тебе». Он ведь знает, в каких далях плутает эта лгунья и как долго ей придется идти, чтобы вернуться!

Он жалеет людей, видя пустое пространство в их душах, отделяющее их от Господа, а они о нем и не подозревают.

Кое-кто удивлен его откровенному потаканью отвратительной распушенности. Но он-то знает, что ничему не потакает. Он молится: «Господи! Я не судья им. Бывают времена судилищ, тогда любого — и меня тоже — могут сделать судьей. Но лгунью я взял с собой, потому что она боится, а совсем не для того, чтобы наказать ее. Видано ли, чтобы спаситель, сочтя спасенного недостойным, столкнул его обратно в воду? Спасает и все. Спасает не человека, а Господа в нем. А когда спасешь, человека можно и наказать. Ведь и смертника, если он болен, лечат, прежде чем повесить. Нет права пренебрегать человеческим телом, хотя тело — возможность осуществить кару».

Тем, кто мне скажут: «Ради чего ты суетишься, надежда спасти ее так ничтожна!», я отвечу: «Царство очеловечивается не результатом поиска — усердием в поиске. Никто не требует от врача оправдания за то, что он вмешивался в жизнь больного. Необходимо предпринять попытку, пуститься в путь, цель всегда приблизительна, на дороге множество случайностей, ты не можешь знать, куда придешь. С одной вершины горы видна другая. Кроме человека, ты спасаешь и еще что-то, если воодушевлен чистой верой в спасение. Но если ты стараешься ради платы, если работаешь за вознаграждение, словно нанятый по контракту, ты — лавочник, а не человек.

Что ты можешь знать о превратностях пути? Все, что о них говорится, — слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть.

Беспутна она от безнадежности и отчаяния. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, потому что дом наш в смерти».

Беспутна она от тоски и безнадежности. Руки опускаются, когда ничего не хотят удержать. Беспутность — тоже не жизнь. И еще отчаяние: сокровища, к какому ни прикоснешься, рассыпаются одно за другим в прах. Цветок увял и оставил семечко, но ты-то думал, что он будет цвести вечно, и теперь ты в безнадежности и тоске. Я уже говорил, что зову оседлым не того, кто в молодости любил девушек, потом завел дом, женился, качал детей, учил их, растил и на старости лет оделял житейской мудростью, — этот человек всю жизнь шел и шел вперед. Оседлому хочется стоять возле женщины и восхищаться ею, как прекраснейшим из стихотворений, черпать сокровища, будто из сокровищницы, но вскоре он видит: усилия его тщетны, нет на земле неисчерпаемых источников — пейзаж, увиденный с вершины горы, радует, пока сохраняет вкус победы.

Мужчина тогда бросает женщину, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались. Они на ложном пути, в этом все дело. Невозможно любить саму женщину, можно любить благодаря ей, любить с ее помощью. Любить благодаря стихам, но не сами стихи. Любить благодаря пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Беспутство порождено тоской, человеку никак не удастся сбыться. Так мучаются от бессонницы, ворочаясь с боку на бок, ища у подушки щеки попрохладнее. Но стоит прилечь, подушка опять горячая, ее отшвыривают прочь и снова ищут прохлады. Но откуда ей взяться? Она исчезает от прикосновения.

Меняют возлюбленных и те, кто видит пустоту в людях; люди и впрямь пусты, если не стали окном, смотрящим на Господа. Вот почему посредственность любит только то, что не дается в руки: стоит насытиться — и становится тошно. Лучше всех знают об этом танцовщицы, которые танцевали передо мной танец любви.

Я хотел бы помочь стать цельной той, что обирает мир и кормится репьями,— истинные плоды протягивают нам из-за предела осязаемого, а здесь каждый играет свою игру, и стоит ее разглядеть, как остывает сердце.

Но оно просыпается, когда от человеческого существа повеет на тебя безнадежностью. Когда ты не чувствуешь в нем жизненности и видишь его заблудшей овцой, слабым ребенком или обезумевшей от ужаса лисицей, что вцепляется тебе в руку, если ты ее кормишь. Разве обидят тебя ее страх, ее ненависть? Неужели ты оскорбишься злым словом или укусом? Стоит отвлечься от слов с их бессмысленным смыслом, как сразу ты ощутишь близость Господа.

Я первый за то, чтобы отрубить обидчику голову, если этого требует мое чувство справедливости, если мне нанесено оскорбление. Но я неизмеримо больше лисицы, мечущейся в ловушке, и могу — нет, не простить, меня не достигают обиды на вершине моей горы, где я всегда одинок,— я могу расслышать в ее бессмысленных воплях глухую безнадежность.

С самой прекрасной, благородной и совершенной из девушек ты можешь оказаться вдали от Господа. Ее не нужно утешать, собирать, укреплять. И если она просит тебя позаботиться о ней и целиком принадлежать любви, она призывает тебя к эгоизму на двоих, который по ошибке зовут светом любви,— нет, это бесплодный пожар, грабеж житниц.

Я коплю себя не для того, чтобы замкнуть себя женщиной и успокоиться.

Зато распутная, лживая, неверная требует от меня столько сердца, чтобы ее любить, столько терпения и молчаливости, которые так красноречиво говорят о подлинной любви, что благодаря ей я начинаю ощущать вкус вечности.

Есть время судить, но есть время сбываться. . .

А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяге, он вошел и сел,— не распекай его за бродяжничество. Не суди. Больше всего он нуждается в приюте — наконец-то пришел и принес кому-то груз своей усталости, воспоминаний, свою одышку, наконец-то поставил свою палку в угол. Ему нужно тихонько посидеть, он глядит на твое спокойное участливое лицо, не вороша прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже о костыле, потому что ты не просишь его станцевать. Мало-помалу он успокаивается, ты наливаешь ему молоко, и он пьет, отламывает хлеб, и он ест, и твоя улыбка, обращенная к нему, становится теплым плащом, словно солнце слепому.

Почему ты решил, что он низок и недостоин твоей улыбки?

Почему решил, что дал ему что-то, если не дал главного — не принял его? Вот ты принял смертельного врага, и как благородны теперь ваши отношения! Ты хочешь выжать из него благодарность тяжестью своих даров? Он возненавидит тебя, если уйдет обремененный долгами.

LV

Не смешивай любовь с жадной завладеть, которая приносит столько мучений. Вопреки общепринятому мнению, любовь не причиняет мук. Мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви. Любя Господа, я, хромой, ковыляю по каменистой дороге, чтобы поде-

литься своей любовью с людьми. Мой Бог не раб мне. Я сыт тем, чем Он оделяет других. Истинную любовь я распознаю по неуязвимости. Умиравший во имя царства не обижается на него. Можно жаловаться на неблагодарность одного человека, другого, но можно ли говорить о неблагодарности царства? Царство создано твоими дарами, и как жалка будет арифметика, если ты потребуешь от царства возмещения почестями. Положивший жизнь на возведение храма — переливает себя в него, он любит свой храм и не видит от него ни в чем обиды. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна.

Под личиной любви вы прячете ненависть, вы сделали стойку возле женщины или мужчины, вы превратили их в свою добычу и, стоя как собака над костью, ненавидите всех, кто косится на ваше пиршество. Эгоизм насыщения вы зовете любовью. Как только вам дарят любовь, вы так же, как в ваших фальшивых дружбах, обращаете свободного и любящего в слугу и раба, присвоив себе право обижаться. И чтобы заставить его лучше служить себе, казните ежечасным зрелищем своих страданий. Да, конечно, вы всерьез страдаете. Но именно ваше страдание и не нравится мне. А что в нем, скажите мне, хорошего?

В юности и я мерил шагами террасу под полыхающими звездами: сбежала рабыня, которая казалась мне единственным моим лекарством. Я поднял на ноги всех моих воинов и послал за ней вдогонку. Добываясь ее, я бросил к ее ногам не одну провинцию, я заплатил бы ей и собственной жизнью, но, Бог мне свидетель, я никогда не называл любовью погоню за добычей.

Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным.

Когда приходят к тебе и говорят: «Брось эту женщину, она тебя обижает...», выслушай их со снисхождением и люби ее по-прежнему, ибо кто в силах тебя обидеть?

Тебе скажут: «Брось ее, ты же видишь, старания твои бесполезны». Выслушай их со снисхождением и люби ее по-прежнему: ты уже сделал свой выбор. И если можно украсть полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой отданное?

Тебе скажут: «Здесь ты в долгах. Там у тебя их нет. Здесь смеются над твоими заслугами. Там почитают их». Заткни уши, зачем тебе арифметика?

Всем ты можешь ответить: «Любить меня — значит вместе со мной трудиться».

Вот и в храм вошли только друзья, и несть им числа.

LVI

Я открыл тебе этот секрет и повторяю еще раз: твое прошлое — это медленное рождение тебя, точно так же, как все происходящее в царстве, вплоть до сегодняшнего дня, — рождение царства. Сожалеть о прожитом так же нелепо, как мечтать родиться в другом времени, в другом месте, остаться навсегда ребенком, и этими дурацкими претензиями отравлять себе жизнь. Только безумец может метаться и скрипеть зубами, глядя в прошлое; прошлое — гранит: оно

было. Прими этот день, он дан тебе, чтобы ты не боролся с непоправимым. Непоправимое не имеет никакого значения, прошлое никогда ничего не значит. Ведь не существует цели, которая может быть достигнута, периода, который завершился бы, эпохи, которая кончилась, — делят и обозначают границы только историки, — так откуда нам знать, о чем стоит жалеть на этом пути, — пути, который не кончен и никогда не кончится? Смысл не в том, чтобы нажить запасы, сесть и не спеша ими пользоваться, смысл в неостывающих стремлениях, пути и переменных. Путь побежденного, что копит силы под сапогом победителя, удачливее, чем у его хозяина, который потребляет припас вчерашней победы и близится к смерти.

Ты спросишь меня, к чему же тогда стремиться, если нет никакого смысла в цели? Я открою тебе тайну, которую прячут нехитрые, заурядные слова, которую мало-помалу открывала мне мудрость жизни, знай: приуговлять будущее — значит всерьез заниматься настоящим. Тот, кто устремлен к будущему, а оно не более чем его собственная фантазия, истает в дыме утопических иллюзий. Подлинное творчество — это разгадывание настоящего в разноречивых словах и несхожих обликах дня. Но, если ты пренебрегаешь сегодняшним из-за пустых и вздорных фантазий о будущем, ты — прожектор, который поверил, будто храм и колоннада возникнут из завитушек его пера. В мире вымысла нет врагов, но, не встречая сопротивления, как обрести форму? Вопреки чему потянется вверх колоннада? Одно поколение за другим выстраивает колоннаду, противясь изнашиванию жизни. Нельзя сочинить форму, можно ее нащупать, сопротивляясь жизни, которая хочет все сгладить. Только так рождаются великие шедевры и царства.

Приводить в порядок нужно всегда настоящее. Что толку обсуждать качество наследства? Ты не можешь предвидеть будущего, ты можешь позволить ему быть.

Конечно, у тебя будет немало работы, если сегодняшнее станет для тебя материалом для творчества. Вот и я, например, называю ячменные поля, дома, горы, коз и овец — в общем, все, что вижу вокруг, — обителью, крепостью, царством. Я превращаю их в то, чем они не были, ощущаю как единство и целостность, хотя коснись этой целостности разум, он разрушит ее, потому что бесчувственен, — так я укрепляю настоящее, так, не жалея сил, поднимаюсь на гору и складываю пейзаж: в нежной голубой дымке лежат на зеленом полотне полей, словно пасхальные яички, пестрые города. Моя картина не истинней и не лживей городов-кораблей, городов-храмов, она просто другая. В моей власти сделать так, чтобы людская жизнь помогла моей безмятежной ясности.

Знай, подлинное творчество вовсе не предвосхищение будущего, не ловля химер и утопий, оно — новая картина настоящего, а настоящее — всегда беспорядочная куча самых разнородных вещей и предметов, доставшихся тебе по наследству, доставшихся не для радости, не для горя, они — точно такие, как ты, и они и ты — есть.

Будущее? Пусть оно, как дерево, тянет вверх одну за другой свои ветви от настоящего к настоящему, дерево станет сильным и мощным, достигнет зрелости и примет смерть. Не беспокойся о моем царстве. С тех пор, как вместо дробного мира люди увидели целостную картину, с тех пор, как я взял на себя труд ваятеля и стал тесать камень, мощь моего творчества подхлестнула их судьбы. С этих пор они начнут побеждать, и мои сказатели найдут о чем слагать песни: вместо мертвых богов они будут славить жизнь.

Взгляни на мои сады: с рассветом в них приходят садовники растить весну, они не спорят о пестиках и тычинках, они сажают семена.

Так вот, отчаявшиеся, несчастные, побежденные, я говорю вам:

вы — армия победителей, вы выступаете в поход только сегодня, и как радостно быть настолько юными.

Однако не подумай, что обдумать настоящее легко. Оно противится, когда ты его обживаешь, противится так, как никогда не будут противиться твои вымыслы о будущем. Упавший на песок возле высохшего колодца изнемогает от жгучего зноя и так легко шагает в своих мечтах. Без усилий, огромными шагами торопится он к избавлению от жажды. Сладостно пить в мечтах, где шаги не потребовали усилий и одарили тебя водой, словно гибкие податливые рабыни, ты не встретил ни одного шипа, который вцепился бы в твою одежду.

Но покорное завтра не наступает, наступает агония, скрипит на зубах песок, колыхание пальм, полноводная река и пение прачек медленно уносят тебя в смерть.

Путник идет по земле, сбивает о камни ноги, кровавится о шипы, карабкаясь по склону. Ему выданы все трудности восхождения, и он должен преодолеть их одну за другой. Он создает воду напряжением собственного тела: мускулами, мозолями на ладонях, ранами на ногах. Вмешавшись в разброд противящейся действительности, он силой собственных рук выжимает воду из камней пустыни. Пекарь так месит тесто, он чувствует, как оно уплотнилось, противясь усилиям его рук, сбилось в тугую ком, который он должен разминать и разминать, но этот ком говорит: хлеб будет. Точно так же работает поэт и ваятель; как свободны они перед наплывающими строками, перед глыбой мрамора, они могут все — создать трагедию или комедию, наклонить голову вправо или влево, но до тех пор, пока у них столько возможностей, ничего не рождается. Но вот рыбка клюнула, удочка согнулась дугой. Ты не можешь сказать то, что тебе хотелось бы: поставленное слово мешает новому, но ты не хочешь вычеркнуть первое, оно тоже важно, а оба вместе не даются тебе в руки. Ты тасуешь слова то так, то этак, ты месишь глину, стараясь поймать улыбку, которая от тебя убегает. Не логика тебе в помощь, она отсечет одно в пользу другого, ты ищешь ключ свода, он объединит твои противоречивые истины, ибо ни одна из них не должна потеряться, и вдруг чувствуешь: стихотворение вот-вот появится, мрамор вот-вот улыбнется, потому что тебя стеснили возлюбленные враги.

Никогда не слушайся тех, кто, желая тебе помочь, советует отбросить хоть одно из твоих исканий. Ты угадаешь свое призвание по той неотвязности, с какой оно тебе сопутствует. Предать его — значит покалечить себя, но знай: твоя правда будет обозначаться очень медленно, ее не сведешь к внезапно найденной формуле, она будет вырастать, как дерево, и работать на нее будет только время. — А ты? Тебе надо сбыться, подняться вверх по крутому склону. Рожденная дробным миром целостность, которую ты обретишь, будет не разгадкой ребуса, а преодолением противоречий и исцелением кровотокащих ран. Обретая эту целостность, ты ощутишь и ее могущество. Вот почему я так настаиваю, чтобы ты почитал тишину и неспешность — богов, о которых успели позабыть.

LVII

Хорошо быть такими юными и неискушенными, как вы, — обделенные, несчастные, побежденные, — вы, которые из своего богатого наследства взяли себе лишь дурноту вчерашнего дня. Но если я выстрою храм, вы придете в него и я зарону в вас зерна своей веры, а вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнете неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой, то найдется ли у вас время отчаиваться? Кто из вас не помнит утро победы: умирающие на одре болезни, изъеденные заживо метастазами, калеки на костылях,

должники и судебные исполнители, узники и тюремщики превратились из врагов, потерпевших, страдальцев в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобшенная толпа — часовой в ее честь.

Кто из нас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу любовь, — любовь, которую пробудило, возможно, величайшее несчастье, ставшее ключом свода и повернувшее людей друг к другу, радуя их возможностью поделиться хлебом, потесниться у очага? Даже ты, недовольный ворчун-подагрик, в своем тесном домишке, который оказался все же слишком просторен для немногих твоих друзей, вдруг понял, что распахнулись двери храма и входят туда лишь друзья, которым несть числа.

Так есть ли место отчаянию? Вечное рождение — вот что есть. Есть и непоправимое, оно — знак свершившегося, а не причина для грусти или веселья. Непоправим факт моего рождения, раз я есть. Непоправимо прошедшее, но настоящее ждет строителя, валяясь под ногами грудой самого разнообразного материала, вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее.

(Продолжение следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Малышев

ФАБРИКА

В Нерль я приехал в пору «черемуховых холодов». Это текстильный поселок, один из многих, что лепятся вдоль дороги на Москву. Я не бывал здесь лет тридцать, а в прежние времена, в середине шестидесятых, наезжал чуть не всякий месяц.

Вроде бы ничего не изменилось. Те же долгие деревянные улицы, те же старые фабричные корпуса, те же вроде бы и люди. И все же с первых минут настырное, невнятное чувство: не так тут, не то. Не мог определить, что не так, почему не то. Лишь под вечер догадался: фабрику не слышно, не видно среди поселка ее горячих окон. Нема фабрика, мертва, нет в положенный час гудка, нет потоков людей, идущих на смену и домой, со смены. Не потому ли чуть не все нерльчане хмуро копошатся в своих огородах, не потому ли так мало прохожих и пуст двухэтажный универмаг возле станции?

Мои добрые старые друзья Акишины рассказали, что фабрика остановлена — пока, из-за нехватки сырья. Фабричным решили выплачивать две трети заработка, но тут навалилась другая нехватка — денег.

Рассказали и об одной из соседских семей: мать-одиночка, трое подростков детей, им всякий день вынь да положь хоть на хлеб. Обзанимали всех вокруг, не у кого стало занимать. Сколько таких вот бедствующих семей в поселке, в районе, в области? . .

Ночью не мог уснуть. «Да что же это делается? В войну такого не было! . .» Вспоминал свое детство в Фурманове, сопоставлял с нынешним, силился понять, не говорю уж принять, — не мог, поперек сердца. Возвращался в Иваново с готовой гневной статьей — «Ознобный май в Нерли», только сесть и написать.

А в Иваново — новости того хлеще. Останавливаются текстильные комбинаты областного центра. Из моего Фурманова приехали посланцы Первой и Второй прядильно-ткацких фабрик — пикетировать у дверей областной администрации, потому что — «Дошло до некуда!» В эти же примерно дни услышал по радио: братский Узбекистан, братский с тех пор, как после гражданской войны посланцы нашей области восстанавливали разрушенные басмачами хлопкоочистительные заводы, — так вот, Узбекистан отныне погонит свое «белое золото» напрямиком в США, ему так выгодней — за валюту!

Некоторое время спустя сообщение в газетах — руководители области отказались вносить нашу долю в российский бюджет. Что ж, все правильно: ведь доля эта за многие десятилетия, так уже сложилось, вырабатывалась на фабриках.

Нашу область называли советским Манчестером. Советский — громко сказано, но российским Манчестером она была уже с конца прошлого века, задолго до большевиков. Ведь достаток ее — пусть не ахти густой, а все-таки достаток — от фабрик. Неужели обновленной

России не нужен свой Манчестер? Убежден — насущно необходим. Почему же сегодня он принесется в жертву сиюминутной выгоде, да и выгоде ли, тут надо еще посмотреть. Сколько раз уже было: разрушат, а потом спохватятся, да поздно. . .

В тревогах и разочарованиях весны и лета, в очередях, в кухнях семей, оказавшихся вдруг нищими, родилось выразительное слово — «безнадега».

Свидетельствую: даже в годы войны в нашем краю «безнадеги» не было. Не было, потому что работали фабрики. Ивановцам этой простейшей истины объяснять не надо: они ее и знают, и помнят. Но, видимо, надо объяснить тем, кто недоброе вершит с ними со своей колокольни. С тем и посылаю свое повествование о фабрике. Авось прочитают. . .

ЦЕНА НАДЕЖДЫ

Однажды, проходя после воскресной, тихой смены фабричным двором, я заметил два пушистых, желтых одуванчика, вылезших из-под стены проходной. По одному из них уже ползала сухонькая после зимовки пчела. В ту мою девятнадцатую весну это были первые цветы, какие я увидел. Может, вообще это были первые весенние цветы в нашем городе. Они потому и проросли, опередив собратьев своих, которые только еще надувались — на сырых газонах, на замусоренных берегах Шачи и у канав, — что стена эта хорошо прогревалась солнцем.

Больше тридцати лет прошло с того полдня, и многие события моей жизни истаяли в прошлом, как дым костра в сумраке, а два обыденных весенних цветка все помнятся. Почему, кто знает, кто ответит уверенно, с какой стати мелкая подробность годы и годы светится в душе человеческой? Но я, оглядываясь на прожитое, легко нахожу их там, вдали — в сером и пыльном, мощеном лыжном дворе. . .

Наш дом, двухэтажный, фибролитовый, длинный, на три подъезда, стоял впритык к фабрике. Гул ее корпусов, привычный и почти не слышимый днем, по ночам был нашим покоем, тишиной и безмолвием. В послевоенные годы с жилых кварталов города по ночам часто «сняли свет», чтобы побольше дать электроэнергии фабрикам. Вдобавок без конца перегорали пробки — от потайных электроплиток и самодельных обогревателей. А заново снабжать их «жучками» смел один лишь человек — фабричный электрик Мишка Комиссаров. Он был молод, нравился женщинам и, если не работал в ночную, пропадал на Голубевом хуторе или в Фотеихе, у молодых горьких вдов и заждавшихся невест. Ему и заботы не было, что я боюсь темноты, особенно когда остаюсь один, а мне приходилось ночевать одному примерно неделю-две в месяц. Помню, как я завидовал Дольке Смирному, квартира которого смотрела на фабрику и ночью так была светла от фабричных огней, что хоть букварь читай. Но и на стены нашей комнаты падали тени оконных переплетов и дрожащее желтовато-лунное фабричное сияние. Оно же наполняло и нашу кухню, так что хорошо было видно и плиту, и чугуны, и оставленное на табурете корыто, и даже ребристую стиральную доску в нем.

Сколько долгих, тягостных и тревожных ночей смотрел я из кухни на слегка замутненные окна фабрики, в которых вместо выбитых стекол там и сям темнели прямоугольники фибры, картона или фанеры. За окнами сновали тени работниц, в каждой из которых я узнавал свою маму. Откуда мне было знать тогда, что это прядильный корпус, где мамы просто не может быть, потому что работает она сновалем в przygotowательно-ткацком, окна которого обращены внутрь фабричного двора. Открылось мне это позже, когда я стал фабричным подростком,

а тогда, в детстве, даже если б сказали, что мамы за окнами теми нет, не поверил бы. Существенна была тогда, в одинокие мои ночи, не правда факта, а вот эта самая вера, что мама там, ее можно увидеть сквозь пространство ночи, в котором затонули и кирпичный тротуар, и деревянные особняки дореволюционной фабричной администрации, ныне перенаселенные семьями рабочих, и старый тополь, крона которого в отсветах окон прядильного корпуса выглядела осенней даже летом.

В теплые ночи я уходил из дома. Я сходил по покряхтывающей лестнице во двор, пробежал мрачное ущелье между глухой стеной и низкими сараями и вступал в разреженный, негаснувший свет от окон большого, длинного корпуса, и все, что встречалось ему на пути, начинало волшебю, как будто само по себе, светиться, а особенно — опрысканная розовой или белой известкой пятнистая стена нашего дома.

Спотыкаясь о булыжники и осколки кирпича, я шел мимо восьмой школы, в классах которой опять стояли парты, но от которой еще исходил запах госпиталя — запах эфира и кровавых тампонов, в которых рылись большие сварливые крысы. Покончив с одним пиршеством, они бежали в фабричные склады, где вспарывали мешки с крахмалом : мукой, в цеха, где слизывали натекшую под машины клейкую шлихту...

Здесь, в самом сердце Нижнего двора, была своя проходная — для жителей пятой и седьмой казарм, фибролитового дома, Лопатина и Девьей горы — маленькая, деревянная, похожая на сарайчик, а возле нее фонарь: это чтобы охранник видел, с чем въезжают в ворота телеги и машины и — особенно важно — что увозят.

Сколько же ночей, сколько томительных часов провел я у проходной, под фонарем или у ворот! Эти глухие весенние и летние ночи в фабричном городке, где все спало, кроме цехов и меня, навсегда вошли в мою жизнь, в то, что называют душой человеческой. Помнится, я ждал чуда, в общем-то обыкновенного: чтобы там, в глубине фабричного двора, из моего ожидания, из любви моей возникла чуткая тень мамы, чтобы она почувствовала — я тут, рядом. Или пусть охранник снимет трубку, висевшую на стене — возле аппарата и связанных тесемкой батареек, и скажет:

— Позовите Попкову. Тут, у второй проходной, ее сынок дожидается...

Но охранник не снимал трубку, и светлая мамина тень, спешившая ко мне, таяла, едва я начинал вглядываться в темноту.

— Чего крутишься? — хмуро говорил охранник. — Иди, иди домой, спи. До смены не скоро...

И уходил за перегородку, оставляя дверь открытой, словно бы искушал меня зияющим проемом — запахами пыли, хлопка и машинного масла. В действительности, не было ничего искушающего. Просто охранник не такой человек, чтобы захлопнуть дверь перед носом одинокого мальчишки. А кроме того, мы оба с ним знали: я не посмею перешагнуть порог. Боюсь себе, тогдашнему, приписать излишнюю проницательность, но сегодня мне думается, что я и сам не верил в сказку, которой завораживал себя. Если б исполнилось мое желание, если бы тысячи матерей, работающих в ночную, откликнулись на тоскование детей, оставленных в совмещенных квартирах, казармах, дряхлых избах, если бы подчинились этому призыву, — погасли бы окна фабрики...

Может, я понимал это и тогда, во всяком случае, принимал и смирялся, как смиряются с холодами — зимой, мухами — летом и дождями — осенью. Словно зарядившись у фабрики терпением, я медленно возвращался домой, ложился, с головой накрывшись одеялом, и засыпал.

Фабрика определяла весь уклад нашей жизни, все наши будни и праздники. Это по ее велению, опережая гудок, в домах и каморках взрывали тишину полуразбитые будильники (их иногда ставили на сковородки, громче звонили), ведь если не встанешь так вот, сразу, можно опоздать на работу, а это дело страшное. Во имя нее, Работы, и Нижний двор, и Лопатино, и Девья гора, и Фотеиха в долгие осенние ночи, далеко до рассвета, возжигали огни, часто тусклые, свечные и керосиновые, и выгоняли из постелей зябко поеживающихся, полусонных людей, все больше женщин, подростков, стариков. Цепочки одиноких серых фигур приближались к фабрике, обращались в ручьи, а на главной улице, в торце которой были ворота и проходная, сливались в поток. Прошумев в проходной, поток терялся среди раскаленных фабричных огней, растекался, ветвился, медленно иссякал. Новая, утренняя смена заступала на работу, а усталая, ночная, спустя полчаса вытекала из проходной, чтобы разделить на перекрестках — на ручейки, цепочки, одинокие тени. Там и тут хлопали калитки, двери, опять, на минуты, рассыпались в темноте освещенные окошки. Потом гасли, но ненадолго. Ночная смена, прикорнув часа на два, опять поднималась: собирать детей в школу и садик, приниматься за домашние дела — стирку, уборку, варку. . .

Тогда работали шесть дней в неделю, по восемь часов, и в три смены (утреннюю называли «заработкой»); в каждую — по неделе. В тех неполных, многочисленных после войны семьях, где не с кем было оставить детей-дошкольников, их отдавали в сады на «круглосутки». И я побывал в круглосутчниках и помню, как долго тянулись дни от воскресенья до воскресенья, как скучал я не только по матери, а и по нашей каморке, по похожему на цыпленка пятну на стене, возле печки-столбьянки, по своему угревному лоскутному одеялу.

После, когда я пошел в школу, меня, как и многих, мать оставляла дома за хозяина. Будила меня соседка. Я вставал, а меня ждал чайник, завернутый в старую фуфайку, в которой мама ходила в сарай и на речку — полоскать белье, да чугунок с кашей в полуостывшей печи. Днем, когда я возвращался из школы, мама обыкновенно была уже дома и первым делом подавала «гостинец». Это были или блинчики, купленные в столовой и сбереженные для меня, или кубик барины, облепленный зелеными лоскутками кисленицы, тоже из столовой, или конфетка, которой ее угостила «поручница». Но, пожалуй, самым желанным лакомством для всей ребятни Нижнего двора были белые, вкусом напоминавшие рис, шарики, которые чья-то добрая душа («дядя Вася», «дядя Коля» — кто помнит сегодня, как их звали?) готовила из фабричного крахмала и муки, предназначенной для варки шлихты. Время было скудное, полуголодное, и до чего же сладки были для нас эти «фабричные гостинцы» — слаще всего на свете.

Однажды мама пришла печальная и сказала, что крахмально-тестяных шариков больше не будет.

— Почему?

— Дядю Колю забрали.

— Забрали?

— Ну да, пришли милиционеры и увезли. И кто только его оговорил? Ладно бы — воровство, а то ведь за доброту пострадал человек. Он-то, одинокий, о детишках думал, детишек жалел! . . .

Такова была горькая стоимость сладких фабричных гостинцев, полуиспеченных на толстой трубе, в которой ухал и шипел отработанный, но еще сильный пар; таково было время, не только полуголодное, но и строгое.

Случалось, охранник — может, недобный охранник, они ведь были разные — остро поглядывал по сторонам, оказалось, искал еще кого-то, кроме меня, нюхал воздух, потом возвращался в проходную и

запирал наружную дверь на крючок. Рассказывали, что в дневную смену тоже вот какой-то пацан крутился у ворот, отвлекая охранника, и, пока охранник прогонял его, рядом, в том месте, где фабричный забор заслонен старыми густыми тополями, кинули со двора кусок бязи.

Время было трудное, и всяк старался пережить его по-своему, как умел. Одни все больше сил отдавали фабрике, чтобы взамен получить лишнюю красную десятку — на дрова, на обувку детям, на кусочек мяса в супе; были и такие, что норовили взять с фабрики или с людей побольше, взять любыми способами, а дать — сколько сочтут нужным, то есть как можно меньше. Но не эти последние были основой нашей тогдашней жизни. Основой был честный, ржавый, кровью и потом добытый рубль, и каждой рабочей семье, кроме общих, календарных, выпадало еще два праздника: «дача» и «аванс».

В дни дачек и авансов мама приходила домой веселая, с необычной для нее уверенностью в глазах, голосе, каждом жесте. Она в эти дни как бы забывала о неотступной, томившей ее сердце бережливости, бережливости за счет самоограничения. Казалось, пачка истертых бумажек, вложенная в расчетную книжку, обладала магической способностью оттеснять все те смутные тревоги и беспокойства, что точили ее даже во сне, особенно обостряясь к зиме. «В чем тебе, сынок, ходить, чем печку топить? Дрова-то на базаре как дороги. Купить — на жизнь ничего не остается...»

Сейчас я думаю: если б не дни дачек и авансов, тревога сокрушила бы мамино сердце, слившись в одно — беспросветное — вместе со всеми нашими бедами: стыдной, не такой, как у всех, утратой отца (после войны он не вернулся к нам, завел новую семью), смертью бабушки — единственной жалельщицы моей матери, кражей дров из нашей сарайки, наконец, с неженской, тяжелой работой у сновальной машины. Но каждый месяц были у нас два дня получки, два дня передышки.

В эти дни мы «транжирились». Мы шли в магазин и покупали что-нибудь вкусненькое: немножко колбасы, немножко сливочного масла, кулек конфет-подушечек, разноцветных, как елочные украшения, трески — прежде, рассказывали, она шла на корм свиньям, и, которой ныне — увы — наищешься, розовой сладкой помадки...

Господи, как же мы жили! Сейчас, когда я вспоминаю это наше «соренье деньгами», эти наши тихие, благоговейные пиры в дни получки, пиры, на которых решительно нарушалось обыденное «меню» — картошка во всех видах: суп картофельный, кисель картофельный, оладьи из картошки, — горячие, горькие слезы закипают во мне и усмешка примерзает к губам. Как умудрялись не то что греться, одеваться и выживать, но еще и «транжириться», устраивать свои бедные одинокие праздники? Но и мать моя, и все взрослые знали времена и похуже.

— Теперь не война, — говорила мама, вздыхая, — теперь все полегче. А к маю, глядишь, снижение цен опять будет... Только бы Бог здоровья дал...

Она почти не притрагивалась к лакомствам и все, бывало, смотрит на меня, на то, как я без особой охоты уплетаю черный хлеб, чтобы поскорей перейти к тонкому, матерчато сгибающемуся на вилке ломтику колбасы... Она радовалась, глядя на меня, и, казалось, сыта была этой радостью.

Похожие на матрасы, в белых и красных поясках «ракковые шейки», с коричневой мягкой начинкой в леденцовом, хрустящем панцире; эти искусительные минуты в магазине, когда смотришь сквозь стекло витрины на все сокровища ее и знаешь, что любое из них может стать твоим, стоит только сказать: «Мам, купи...»; красивые яркие жестянки из-под американских консервов (из них, как из вагончиков, мы состав-

ляли в детсаде целые поезда); пресные, солено-сладкие колобки, украшенные простеньким узором «в клеточку» — он наносился обыкновенно вилкой, по сырому еще тесту; серенькие книжки с удивительными сказками; доброе тепло от самовара на столе; особый, замкнутый уют каморки, когда печка натоплена, под дверь подложен свернутый в трубку половик, а прогнившее, сырое, обросшее льдом окно завешено одеялом . . .

Разве это была плохая жизнь, а? Плохие праздники? Да мое сердце и поныне скучает по ним . . .

«Было бы здоровье», — говорила мама. Она не добавляла «Была бы фабрика», — это само собой подразумевалось, это вошло в плоть и кровь Нижнего двора, Лопатина, Девьей горы, «казарм» возле железнодорожной насыпи — до революции там квартировала казачья сотня. В войну, когда зыбилась и ломалась земля, разломленная на «тыл» и «захваченную территорию», когда почтальоны не стучались в двери, а виновато совали в дверные ручки казенные конверты и уходили поспешно; когда ни один человек не был уверен в судьбе своей, — фабрика была единственно надежным, неизменным: опора в бедах, малых и страшных, и хлеб насущный, и детство, пусть сирое, но со своими медными праздниками. Опорой оставалась она и многие годы после.

Мы, дети Нижнего двора, не были столь прямо связаны с ней, как наши матери, но мы росли возле ее красных старых стен, росли — вопреки войне, вопреки голоду и холоду. Мы были согреты ее напряженным теплом, обнадежены ее дельным шумом. Трудно и назвать такую сторону нашей жизни, которая, если не явно, то глубинным каким-то, корневым волоском, не соединяла нас с фабрикой.

Фабрика определяла и выбор друзей. Поскольку жители фибролитового дома работали в разных сменах, само собой выходило, что товарищем твоим становился мальчик, который одновременно с тобой оставался дома один. Например, Долька Смирнов, живший через лестничную площадку от нас. Мы вместе листали книжки с картинками, поджаривали ломтики сырого картофеля на железной печке, слушали оперы и спектакли, которые передавались по радио. У Смирновых репродуктор висел, кажется, с довоенных времен. В нашей каморке он завелся куда позже. Я очень любил радио, музыку и голоса; будто частый дождь, барабанили они в жесткий бумажный ратруб репродуктора . . .

Фабрика добавляла свою толику к тем бедным игрушкам, которыми мы забавлялись. В особой цене были небольшие, но увесистые железные волчки, — позднее я узнал, что это были наконечники изработавшихся челноков. Такой волчок, запущенный на сковороде, издавал чугунный, гудящий звук. Из тонких стальных ламелек мы мастерили вертушки. Зброшенная в небо, вертушка жужжала, как пропеллер, и летела высоко и красиво. А были еще отработавшие свое веретенные гнезда, формой напоминавшие противотанковые пушки. Были и желтые, деревянные, с перепялинками, цевки, годившиеся для прикручиванья коньков. Были эластичные валики и детали из вытяжных приборов прядильных машин, похожие на стульчики, маленькие блестящие «бегунки», напоминавшие букву «с» . . . Позднее, когда я пришел на фабрику, я узнавал эти бывшие игрушки, видел их в работе и испытывал такое чувство, как будто встретил давних друзей . . .

То же самое было с запахом фабрики, с воздухом ее цехов. Запахи клееного дерева и работающего металла, машинного масла и женского пота обитали в наших домах и квартирах. Их приносили наши матери на своей рабочей одежде, на запушившихся дымноседых волосах и козыньках. Фабричный пух липнет ко всему на свете. Не спаслись от него ни мое школьное пальто, ни первый, штапельный костюм, в котором я стал ходить на танцы в Летний сад и клуб. Как ни мочил я щетку спи-

тым чаем, как ни старался — пух на суконных брюках, на фуражке и даже в карманах выдавал во мне жителя Нижнего двора...

«Было бы здоровье», — говорила мама, но было не здоровье, а какая-то особенная, казалось, бесконечная выносливость и способность перенести на ногах любое недомогание, кроме смертельно опасного. В дни войны и после, если матери наши попадали в больницу, то чаще всего из цеха и на носилках.

Не только люди, но и фабрика, все станки, машины, моторы ее работали тогда на износ. Бесконечно это и с ней, каменной, железной, не могло продолжаться. И вот — то ли перепревший провод подвел, то ли искра родилась в иссохшем веретенном гнезде, — но фабрика загорелась.

Случилось это погожим весенним днем. Тот самый длинный и высокий, стококонный корпус, что стоял напротив нашего дома и окутался пегим дымом, задышал на весь Нижний двор едкой гарью горящего хлопка. Свидетели рассказывали, что это было похоже на взрыв. Всего один миг они видели ту прядильную машину, с которой «побежал пожар». Она вдруг вся, сразу, обросла оранжевыми лоскутками и визжала, гудела, шевелилась под ними, как живая. Еще миг — и в костры обратились уже десятки машин, и гул пламени перекрыл собственный их шум. Это было так страшно, что люди опрометью кинулись вон из цеха, высыпали во двор и здесь только опомнились...

О пожаре потом говорили в каждой семье, так что при желании я мог бы подробно, час за часом рассказать, что, где, с кем и как было. Но для моего повествования важен не сам пожар на фабрике, а отношение людей к нему. У проходных, на улицах, во дворах «казарм» — везде, откуда видна была фабрика, стояли встревоженные толпы. Наверное, все бы они кинулись на пожар, выручать кормилицу, ну, хоть ведро воды принести. Но в их пропусках были обозначены номера смен, а охранники строго следили за тем, чтобы лишний народ не толкся на предприятии. Кто мог пройти на фабрику в любое время суток — мастера, наладчики, подсобники, — те давно уж все были там — у пожарных машин. Толстые водяные жгуты хлестали по багровым пятнам, посвечивающим в удушливо дыме, и пятна эти взрывались тугими клубами, шипели и свистели, увертываясь. Там, точно в аду, метались надрывно кашляющие тени.

Всякий фабричный знает, как горит хлопок или производное от него. Комкастый валик, казалось бы, насквозь пропитан водой, плавает в ней. Отпихни его в сторону, но поглядывай, будь настороже. Может, в сердцевине этого валика тлеют искры нового пожара. Огонь забирается внутрь, как червь в яблоко, и там, среди мягких и белых, сухих волокон набирает силу и прет дальше. Не просто его поймать, не просто уничтожить окончательно. Смерд от горящего хлопка тяжел, горек, удушлив. Тот, кто хватил его хоть раз полной грудью, всю жизнь будет об этом помнить...

Люди стояли во дворах и на улицах, смотрели на фабрику и сухо-вато, серьезно, изо всех сил сдерживаясь, говорили о пожаре, о близких и соседях, что сейчас там, в самом пекле. Они упорно делали свое, и пожар фактически был уже потушен, во всяком случае, не было видно, чтобы он разрастался. И тут на крыше прядильного корпуса появился человек. Он вылез через чердачное окно и неловко, короткими цепкими шажками пошел по кровле, сутулясь и растопыривая руки. Стало так тихо, что и во дворах казарм, и на улицах слышали, как прогибается и хлопает под его ногами железо. Он был маленький, обникший, черный и, остановясь, некоторое время дышал, просто дышал и смотрел в провал фабричного двора, на пожарные машины и толпу возле них, на дома, огороды и пустыри Нижнего двора, в котором жил и он сам. Потом медленно, осторожно, полуобернулся и крикнул что-то высоким,

хрипнувшим голосом людям у чердачного окна. И его тут же, мгновенно узнали.

— Директор, — выдохнула толпа.

Кто-то рассмеялся:

— Теперь уж горелый директор.

— Не горелый — паленый. Фабрика-то жива.

— Да там ра-бо-ты...

— Ничего. За неделю, за две свернут, и опять будем пряжу мотать.

— И не такое бывало. Вспомнить только, как размораживали родимую.

— Чай, в самое пекло полез.

— А как же, за все ответчик...

Отвечать, действительно, пришлось, и по всем статьям, но всякому было ясно, а рабочим тем более, что фабрика на пределе. Кое-что, самое уж насущное, откровенно грозившее бедой, подлатали: сменили электропроводку, отдельные перекрытия и дряхлые искрящиеся моторы. Но оборудование, латаные-перелатаные, не только морально — физически устаревшие станки и машины английской системы «платт»; хлопающие шкивы и сочащиеся черным маслом трансмиссии остались, чтобы дожидаться нас, детей, родившихся перед войной. Казалось, кто-то, может быть, сама фабрика, хотел, чтобы мы своими глазами увидели, где и как работали наши матери.

Через неделю-две прядильный цех был отскоблен от копоти и грязи, оштукатурен и побелен.

И опять в зимние, осенние, летние ночи пылала фабрика рядами окон, четкими и плотными, как воинский строй, так пылала, что желтый нимб стоял над корпусами, и они рисовались на этом нимбе строгими башнями подъемников; опять ее мягкий гул обволакивал весь Нижний двор, почти физически осезаемый, мохнатый и теплый, и в гуле этом, прерываемом лишь выходными и праздниками, длились наши жизни, выходили, вырастали из детства в новую, тревожную, юношескую пору.

...Мне было шестнадцать лет, когда однажды, золотым сентябрьским утром, мать провела меня через проходную на серый, булыжный фабричный двор. Мы прошли этим двором до ткацкого корпуса, поднялись по чугунной темной лестнице на второй этаж. Гул станков звучал здесь все еще мягко, но густо и туго. Казалось, мы идем возле огромного, тяжелого, бьющегося сердца. На пороге цеха мать потянула меня за руку, потому что я остоленел, растерялся от шума, забившего мне уши, от бесконечности цеха, где все ходуном ходило. Она так и вела меня как по тропе — вдоль окон и станков — до самого кабинета заведующего ткацким производством, даже и там, в кабинете, не выпускала моей руки.

Вышел я из кабинета фабричным мальчишкой, курьером планового отдела ткацкого производства, гордый тем, что добавил свою небольшую получку к зарплате матери. Я еще не осознавал, не мог тогда осознать, что я отдаю и некий нравственный долг фабрике — за тепло, за свет в черные осенние ночи, за детство, в котором много было всего, доброго и тяжелого, но не было безнадежности.

ПРИОБЩЕНИЕ

Одно дело — догадываться по отяжелевшим шагам матери, по рукам ее, обессиленно упавшим в подол, что там, в фабричных корпусах, за работа, и совсем другое — на себе ощутить всю ее тяготу, ее едучую соль.

Мне это выпало в шестнадцать лет, многим моим сверстникам, а особенно сверстницам — в пятнадцать и даже в четырнадцать. Я застал еще женщин — возниц товара и утка, жилистых, потных, с глазами запаленных лошадей; женщин — «подмастеров», в черных шароварах, с гаечными ключами на поясе, мужеподобных, с зычными, не женскими совсем голосами. Я застал грохочущие «платтовские» станки, обросшие грязным промасленным пухом. В мутно-желтом от электрического света и водяной пыли увлажнителей воздухе, в банной духоте сновали женщины: старухи — многие тогда выглядели старухами уже в сорок лет, щупленькие девчонки. Я и теперь не разберу, за кого из них сердце мое болело больше: за тех, в ком легко узнавал я одиноких матерей, таких же, как моя, или за ровесниц, сплошь бедолажек, сплошь из детских домов, то есть полных сирот, из нищих многодетных деревень Костромской, Орловской, Псковской и прочих областей. Детское и раннее, слишком взрослое — забота, усталость, тревоги, боль за меньших братьев и сестреночек, тоска о родном, хоть и нагом доме — странно смешивались в их осунувшихся, поблекших мордашках в нечто безвозрастное, щемящее. К слову сказать, тогда и в сиротских домах, и в захудалых сельсоветах в обычае было прибавление лет в документах. Закончила девчоночка семь классов — и отпускали ее в мир, на фабрику, деньги живые добывать, а чтобы могла она устроиться и начать содержать себя своим трудом или своим рублем крестьянской семье помогать, писали в справке, что ей шестнадцать, а то и семнадцать. Никаких тогда законных поблажек подросткам не было, и пахали девчонки наравне с опытными двужильными ткачихами все шесть ночных семичасовых, все шесть утренних и все шесть вечерних восьмичасовых смен, и спрос за опоздание на работу, за брак был столь же неумолим, как и с тех, двужильных.

За пять лет побывал я на разных фабричных должностях: и на конторских, чистеньких, и на тяжких, грязных, но стыдился именно чистеньких, в частности, обязанностей хронометражиста. Последних я стыжусь и поныне.

СОГЛЯДАТАЙ И ПОДНАДЗОРНАЯ

Как-то нормировщица Тамара, перезревшая девица, грудастая, носатая, с выпуклыми полусонными глазами, наказала мне хронометрировать целую смену ткачихи, чем-то похожей на мать моего фабричного друга Валерия Соколова, тоже ткачиху, — такая же сухонькая, нервная, хлопотливая.

Восемь часов я стоял и сидел возле ее восьмерки, монотонно, минута за минутой, щелкая нагретым в ладони, скользким от пота секундомером, тесно записывая на листках копеечного блокнота: «пуск ст. — 5 сек., перезарядка челнока — 10, устр. обрыва, пуск ст. — 20, по л/н (личным надобностям) — 7 мин.». Мне казалось, ткачиха нервничает из-за меня, рвется. Оно ведь и понятно: появление хронометражиста в цехе не сулило хорошего. Кто-кто, а работницы знали, что высятся за ними нормировщицы, плановики, счетоводы отдела труда и зарплаты, те, кто, сидя за конторскими столами и болтая о последнем фильме, равнодушно гоняют косяшки счетов или крутят ручки тяжелых железных «феликсов». Раз хронометражист в цехе, значит — идет охота на остатние, потайные твои минуточки, приберегаемые на то, чтобы дух перевести, присесть, дать отдых ногам или распрямить усталую спину; значит — жди повышения норм. Не решаясь откровенно не любить начальство, они не скрывали своей неприязни к нам, «шестеркам».

Я все это знал, спиной, казалось, чувствовал недобрые, презиращиющие взгляды. А ткачиха-то попалась добрая, сердечная. Стыдно было сидеть, когда она — матерью мне могла бы быть или старшей сестрой — на полминутки не присядет, не остановится. Часа полтора или два я столбиком торчал возле ее крайнего, расхлябанного станка. А она улучила секундочку, смахнув серый пух с основы на другом, крайнем станке, подскочила близко и крикнула мне на ухо с жалывливой, сквозь напряженье, улыбочкой: «Чай, устал стоять?» И минутоу спустя ногой в фабричной запыленной тапочке толкнула ко мне перевернутый, чернйй, помятый в работе ящик из-под утка. Мало того — еще и поощряюще закивала: мол, садись, не стесняйся. А я растерялся, забыл нажать кнопку секундомера, и стрелка его отскакала целых двадцать секунд, прежде чем я сообразил, как отразить их в хронометраже. В конце концов я торопливо написал: «осм. пол. (осмотр полотен)».

А она и еще улучила минуточку — скатала два шарика из путанки и протянула на сухонькой ладони: «Возьми, а то оглохнешь!»

Душой я засуетился много раньше, может, во втором часу смены. Как упредить худые последствия хронометража, причем не только для нее — для всех? Если, скажем, подкидывать ей секундочки на выполнение обязательных рабочих приемов и этим накопить (для всех) минуточки на то, чтобы перевести дух, распрямить спину, даже и присесть, — там, в плановом отделе, могут решить, что она лишку времени тратит на рабочие операции — еще, пожалуй, принудят заново осваивать передовые приемы. А ежели отражать как есть, кто поручится, что ее нормы, довольно высокие, не навяжут остальным?

Я казнилса все восемь часов, все восемь часов металса, то подкидывая ей, а значит, и всем, минуточек на «л/н», то в панике урезая их — а вдруг Тамара проверит мои записи на своем «феликсе»?

Восемь часов в грохоте, банной духоте и многолюдье цеха, где каждый обособлен, отделен этим грохотом, работой и своим «производственным участком» от всех других, дорогого стоят. Тут не говорят — кричат друг другу на ухо, да и то по неотложной необходимости. Но ведь есть еще глаза, есть такие выразительные губы, есть все успевающие удивительные руки, и разделенных станками и грохотом людей соединяют, сливают, будто капельки дождя на оконном стекле, мимо-летняя улыбка, быстрый взгляд, жест между перезарядкой челнока и пуском его в батан. Да и сама работа, разделяя вроде бы, на самом-то деле единит, потому что обща и едина. И мы — соглядатай и ткачиха — все восемь часов точно переливались, перетекали друг в друга думами и сердечными токами. Мне под конец чудилось, что я давно и хорошо знаю ее, так хорошо, что при первом же побуждении могу представить, как сидит она дома, в комнате или каморке, за столом, накрытым аптечной клеенкой, и делит очередную получку, дачку или аванс, на «за квартиру», на «долг отдать», на «обувку, одежду» и «на житье», все точь-в-точь как моя мать, и вздыхает при этом так же устало и обреченно. Не в ее натуре поддаваться, сникать, и она, чуть не вслед за вздохами, бодрит или себя, или тех, кто с ней рядом, откладывая в кошелек деньги на близкие траты, а остальные убирая в комод, на-верняка в верхний правый ящик: «Ничего, живы будем — не помрем, надо будет — опять займем!» Жизнь взаимы, с растратами наперед, такими же, как у нас... Я мысленно видел и тех, кто ждет ее дома: мальчишку вроде меня, но помладше: он уже выскреб из чугунка сохлые остатки пшенной каши и, глотая слюнки, гадает, что вкусенького принесет мамка из фабричной столовки, или девочку, тошенькую, белесенькую, как цеховой сверчок: она сначала слизывает сыроватый, сахарный песок с хлебного ломтя, а потом уминает медленно, покорно и сам этот ломоть, и от нестерпимого одиночества разговаривает, будто с живой, с тряпичной куклой...

Ткачиха, сдав станки сменщице, неожиданно плавно, с тихой спокойной усталостью во всех движениях, приблизилась ко мне и сказала участливо, с материнской улыбкой:

— Вот и отработали мы с тобой. Все. Пойдем отдыхать.

Дома я пересчитал все отмеченные секундошки и минуты. Вышло чуть больше семи часов, а должно быть восемь. Я стал накидывать то тут, то там, а она, ткачиха, словно стояла рядом и спрашивала сожалеюще: «Что, не получается?» Я опять пересчитал — а она все как будто стояла передо мной и смотрела небольшими своими, глубокими глазами. А напротив ткачихи все резче обозначалась нормировщица Тамара и тоже смотрела — презрительно. Наконец все сошлось, но как сдавать правленные-переправленные записи? И стыдливо, точно подлость делая, я выдрал из блокнота листы, заполненные в цехе, и — переписал все наново.

Отдавая Тамаре эту свою полулипу, я чувствовал себя лжецом и сообщником ткачихи, всех ткачих, а Тамара словно бы и подозревала это: слишком долго листала блокнот, придиралась то к одному, то к другому и наконец протянула мне школьную тетрадь в клеточку: «Вот, перепиши, да как следует».

Не сразу после той смены, но вскоре я взбунтовался, стал кое-как и явно нехотя выполнять задания и — доигрался. Вскоре меня перевели в ремонтно-механический отдел, на грязную и честную работу — на чистку деталей. Конечно, приходилось тяжело, порой и унижительно, но я опять был в ладу с собой, а это все оправдывало. Или почти все.

БРИГАДА «УХ»

Началось еще летом. Во внутреннем дворе фабрики, том, где среди пустырей и плешин стояли приземистые склады, а из земли вылезало ржавое железо — какие-то колеса, обломки труб, шестерни, — появился автокран. К нему стали подъезжать машины, груженные большими, сколоченными из шершавых досок ящиками. Автокран выстроил из них одну двухэтажную стену, начал другую, закончил ее, заложил третью. . . Из этих ящиков в фабричном дворе образовался целый город со своими массивами, узкими улочками и перекрестками. Доски ящиков были пригнаны неплотно, в щели выглядывали, поблескивая, какие-то валы, станины, рычаги, высывалась коричневая промасленная бумага, тек нагретый на солнцепеке солидол.

Я ходил мимо ящиков, с любопытством заглядывал в их щели и знать не знал, что тут припасена работенка для меня, да такая — всю жизнь ее не забуду.

Зимой, когда лопухи и крапива, густо обложившие ящики, порыжели и пожухли, а сами они стали сизыми, как старые деревенские заборы, и открылись сугробиками, в прядильном корпусе, в нижнем этаже, начали выколупывать выборочно то одну машину, то другую. И наконец собрали со всего ремонтного отдела учеников слесарей, токарей, наладчиков и коротко объяснили, что все мы пока переводимся из бригад на чистку деталей. Происходи это, скажем, в шестидесятых годах, нам бы, наверно, крепко подсластили эту пилюлю: мол, смена оборудования — великое дело, и многое в нем будет зависеть от нашей добросовестности. Но тогда, в конце 1957 года, еще отзывались на фабрике прежние, суровые порядки, пышные словеса считались излишними и о том, что касается работы, говорили скупо и сухо.

В пролете под лестницей установили старый железный ларь для цевья и просунули в него паровую трубу. Нам выдали нарядные, сшитые из лоскутков рукавицы и — «За дело, ребята».

Ящики взламывали на дворе, и к нам привозили уже детали и части будущих машин, вмерзшие в коричневые и желтые глыбы солидола. Мы их заваливали в ларь, закрывали досками, железными листами и поворачивали горячий вентиль в трубе. Пар начинал фыркать, пар лез из-под досок, железных листов и мешковины и оседал на чугунном лестничном марше, сетке подъемника, на фабричных стенах. Мы в это время или сидели возле, нахохлившись, словно зимние воробьи, или бегали по сортировке, искали обтирочный материал.

И в самых трудных и кислых днях бывают минуты, а то и часы облегчения, покоя, когда душа, преодолев одну тяготу, набирает силы и готовится к новой,— совсем как грузчик хлопкового склада, который свалил с плеч кипу и идет за другой. Для нас, мальчишек, брошенных на самую неблагоприятную работу и униженных ею, это были те полчаса или час, когда детали и узлы новых машин купались в обжигающем пару.

Сегодня, глядя на себя и товарищей своих там, под лестницей, возле парившего железного ларя, я понимаю, что причин ощущать себя униженными было у нас немало, и главная — наш возраст, то особенное состояние юного человека, когда он стремится выглядеть перед девушками и женщинами как можно привлекательней, достойней. Это состояние обострялось тем, что мы выростали возле одиноких матерей, учились в мужских школах, а на фабрике вдруг оказались в атмосфере, буквально перенасыщенной женским — откровенным, преобладающим. Откуда нам было знать, что снисходительные усмешки девушек вызваны лишь тем, что мы ни то ни се — в кавалеры не годимся, но и не дети уже. В школьных классах, в пору детства завязались в нас мечты о прекрасном и героическом, о жизни-подвиге. А тут — на тебе: тряпки, липкие и вонючие от солидола и пота, волдыри на разбухших, как у прачек, руках. Я читал книги о художниках, о великолепной эпохе Возрождения, а потом будто в яму спускался в этот темный угол под лестницей. То же самое происходило и с Володей Мироновым, сыном одинокой учительницы из пятого дома. Узковатое смуглое лицо его, такое ясное в выходные или по вечерам, на фабрике тусклоело, обрезалось, делалось несчастным. Как часто в его близоруких глазах, увеличенных очками, я ловил ту безнадежную тоску, какая бывает у собак, посаженных на цепь. Нет, ни гордого, ни героического, ни достойного не видели мы в своей работе, куда там. . .

Об этом мы и думали, дожидаясь, пока «поспеют» детали, но вслух никогда не говорили. Говорили о фильмах, о книгах и девушках. Леша Мазур, черноглазый цыганенок из большой, безалаберной и шумной семьи, осевшей в городе на зиму, в те дни, когда нам приходилось особенно безрадостно, запальчиво, точно споря, уверял нас, что он тут только до тепла:

— Летом я в Москву уеду, в ансамбль. У нас там родные есть. Меня возьмут — пляшу хорошо. Будут у меня красные сапоги с набойками, поясок шелковый и рубаха — синяя, такая, что переливается вся . . . Может, и сюда с концертом приедем . . .

Мы не очень верили Леше, но втайне завидовали ему. Мы выросли возле фабрики и побаивались отрываться от нее. Да и родственников в Москве у нас нет. . .

Разговоры разговорами, а время было рабочее, и трату его оправдывала лишь необходимость ждать, покуда пар сделает свое. Дождавшись, мы поднимались, заворачивали вентиль, сдвигали «крышку» и вслепую выхватывали деталь за деталью. На них — в углублениях, изгибах, гнездах, задерживался солидол, стекший с верхних деталей. Его надо было «изъять» из всех этих углублений и гнезд. Детали же были разные — и мелкие, и такие, что пуп надорвешь. Особенно тяжелы были валы чесальных машин. Представьте себе металлический ци-

линдр, плотно, по всей длине обвитый сизо-черной, с косыми, акульными зубами, пилой. А еще представьте, что зубастая эта штука и скользкая от распаренной смазки, так и норовит шаркнуть тебя всеми зубьями по запястьям. Если мы знали, что там, в ларе, есть чесальный вал, мы принимались за работу с таким чувством, словно нам надо распутать клубок ядовитых змей.

Чем глубже ларь, тем больше солидола, а к тому времени, когда мы доходили до нижнего слоя, проклятая эта, стынувшая, смазка была уже и на рукавицах, и на рубашках, и на брюках — тяжелые детали мы чистили, прижимая их к животу. Наказанье, а не работа! Не скрою — каждый из нас не раз прикидывал, как бы увернуться от нее. Варианты предлагались самые фантастические. А вот простейший — подать заявление на расчет — не пришел в голову даже Леше Мазуру. Это бы значило — навсегда опозориться, лишить поддержки матерей своих, отречься от фабрики.

Монтажники, приехавшие на установку нового оборудования, помощники мастера и слесари, помогавшие им, прозвали нас «бригада «Ух». Была в этом прозвище и добродушная фабричная усмешка, было в ней и тайное уважение.

Со временем мы ввели некоторые усовершенствования. Чтобы детали не вязли в собственной смазке, мы стали их укладывать на подмостья из досок, регулярно соскребывали с днища ларя толстый желтый слой солидола. Наконец сделали нечто вроде брандспойта и направленной жесткой струей пара очищали от смазки крупные, неразборные узлы машин.

А ящикам, казалось, конца не будет. Точно из чудовищных орехов, из них извергались все новые детали, узлы, валы, станины... Грязней и замотанней нас были на фабрике только обметчицы оборудования да рабочие «пыльных волчков», где подметь перерабатывалась в орешек.

Весной нас из-под лестницы перевели во двор, к стене котельной. Работать стало полегче, но здесь и детали остывали быстрее.

Порой мы ходили через тот цех, где монтировалось новое оборудование. Там грудями лежали знакомые, слишком знакомые нам детали, кожухи, станины. Лежали и обрастали тонким ворсистым налетом. Странное дело, нас брала досада, что они так вот лежат и пылятся. Так и хотелось подойти и бережно оттереть их.

Но вот настал день, когда эти разрозненные части стали собираться в целое, и началась обкатка новых машин. Они процеживали сквозь себя толстые хлопковые холсты и белую, гладкую ленту, и мы увидели, для чего предназначена та или другая деталь, и в никелевом, свежем, праздничном блеске их как будто засияли прикосновения наших обожженных, распаренных рук, вся наша стыдная, неблагодарная, черная работа.

ОЛОВЯННОЕ КОЛЬЦО

Сколько себя помню, полвека уже, я вижу его на такой надежной прежде и такой ныне дряхлой, усталой, дрожащей руке матери. В пору моего детства и отрочества мать иногда натирала его наждачной бумагой, заодно с вилками, ножами и ножницами, и тогда оно обретало почти серебряный, правда, тускловатый блеск: в ноябрьскую пору похоже просвечивает небосвод за нагими иззябшими деревьями. А обыкновенно оно не светилось, а темнело, как все последние годы: сумрачно, безнадежно и одиноко.

Не знаю, было ли другое, золотое или серебряное. Если и было, то

наверняка пожертвовано на войну или отдано за мешок картошки, именно такая участь постигла наш самовар да и все мамино приданое.

Тогда, в пору моего детства и отрочества, у всех женщин, даже и тех, что жили с мужьями, темнели на руках оловянные кольца — не столько украшение, сколько символ.

Тем, кто растил и поднимал нас на ноги, всякий день принося себя в жертву (хоть вошли они в свой век с песней «За землю, за волю, за лучшую долю!»), выпала тяжкая судьбина и скудная, бедная — оловянная жизнь, оловянная едва ли не в буквальном смысле. И не случайно тогда и присказка ходила «Слово — олово!» Означала она, судя по всему, надежность данного слова или обещания, и они в самом деле были таковыми — надежными, обязательными, куда обязательней тех словес, что все последующие да и тогдашние годы разрастались на плакатах и лозунгах, теснились в газетных столбцах и лились из репродукторов. Между прочим, олово — плохой металл, мягкий, но в дни войны и долго еще после оно было в цене: ведь именно им лудились проржавевшие, прогоревшие ведра и кастрюли. И нарасхват в городке были лудильщики, и работы им всегда хватало.

Взрослые приняли эту оловянную жизнь как должное, как выкуп за нас, детей своих. И не судья я им, не судья — должник вечный, и долг этот мне всей жизнью своей не выплатить, и только ли мне, не всему ли нашему поколению?

Обездоленные святые наши матери, как, кому судить вас? Кому камни бросать в великое ваше терпение и непобедимую — победительную вашу веру? Чтобы решиться на такое, надобно совсем уж беспмятное, неблагодарное сердце, надо возвыситься над вами аж под самые небеса. Увы, претенденты находятся, и ладно бы — лишь из тех, кто горя не знал, кто будто в теплице вырос. Нет, есть и такие, что сродни мне, — дети и внуки сельских, фабричных, заводских трудяг. Вот уж поистине иваны непомнящие. У меня, слава Богу, сердце памятливое на добро, и не знаю я равных вам душой, а значит, и достойных судить вас. Пусть пройдут самозванные судьи через ваше самопожертвование, пусть хлебнут из чаши горестей ваших, пусть поймают вас сначала — нет, не рассудочно, не умозрительно, не с аптекарскими весами в руках, а сердцем, и потом уж, потом... Но понадобится ли тогда Суд?

г. Иваново

Элла Никольская

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ НА ИТОН-АВЕНЮ И ОБРАТНО

Всю жизнь, сколько себя помню, хотелось побывать в Англии. И вот виза получена, билет на самолет куплен и даже проблема проблем — кто останется с кошкой — решилась наилучшим образом: у живущих по соседству, на Тверской, родственников как раз в день моего отъезда начисто сгорела квартира, и погорельцы с радостью согласились пожить у нас, присмотреть за Топси и заодно за моим вечно занятым по горло мужем, которому и самому-то поесть некогда и негде, а тут еще кошка с ее капризами. . .

Словом, все устроилось, и только одно облачко омрачает сияющие горизонты: вот уеду и так и не узнаю, чем там закончился увлекательный мексиканский телесериал «Никто, кроме тебя». Антонио похищен, Ракедь ждет ребенка, Максимилиано плетет свои дьявольские козни: неужто добьется своего? — а я уезжаю. . .

Ну да, ну да, это все шутки — и насчет пожара (хотя он и вправду случился), и насчет Ракедь. Кто ж всерьез признается, что смотрит из вечера в вечер мыльную оперу, да еще с удовольствием? Положено снисходительно, с пониманием улыбнуться, если уж зашла о ней речь, можно посетовать на низкий уровень культуры общества и рассказать что-нибудь забавное: у соседской, к примеру, бабушки сердце схватило при виде очередных страданий Марианны, скорую вызвали, еле откачали. . . Ну еще можно заметить негромко, что хватит, мол, смеяться, сколько можно, в конце концов это социальная терапия в особо трудное время. Не для меня, конечно, не для меня, для других, не столь тонких, не столь искушенных. . .

Но, видно, даже недолгое — всего-то три недели — пребывание на родине снобизма, в стране, где чувство собственного достоинства разлито в воздухе, — не позволяет мне унизиться до подобного лукавства: снобизм, если он настоящий, избавляет человека от некоторых постыдных и мелких грешков. И я честно признаюсь: да, бродя часами по всемирно знаменитым и невыносимо прекрасным лондонским паркам — они показались мне самым ярким проявлением английского достоинства, — топча шелковистую траву, сидя над прудом, где плавают среди золотых осенних листьев откормленные гуси, наблюдая за озорными белками-попрошайками, которым тут несть числа, я то и дело вспоминала жгучего красавца Антонио с его необузданным нравом и прекрасную золушку Ракедь — тоже, надо сказать, не ангел, чуть что — так на обидчика с кулаками. Снедаемые любовью и ревностью, терзаемые гордыней каждый на свой лад — как они мечутся в прекрасных киношных интерьерах, среди великолепных, таких удобных даже с виду диванов — нет, какие диваны, а?

Диваны, впрочем, в тех домах, где мне пришлось побывать, оказались вполне сопоставимы с этим кино. И вообще убранство комнат выглядело не хуже, хотя несколько однообразно: неизбежный камин, над ним зеркало или старинный (или как бы старинный) портрет, часы с фигурками и прочие безделушки на каминной доске, искусно подобранные сухие букеты и живые герани в горшках, вышитые мел-

ким-мелким крестом подушки, коврики и сиденья стульев, скамеечки для ног, на белых стенах — картины в гладких рамах, затянутые бобриком полы...

— Нет, это не викторианский стиль, — объяснили мне, — викторианский — это ситцевые обои, и на них места живого нет: дагерротипы, акварели, пастели, миниатюры, медальоны — словом, все, что только можно повесить на стену. Это горки с фарфором, кресла с высокими спинками, замысловатые подсвечники и канделябры, ковры...

Весь этот набор я и увидела собственными глазами в доме Дикенса, в поместье Киплинга, а явственней всего — в смешном, придуманном музее на Бейкер-стрит, где самым удивительным образом ощущается присутствие хозяев: мистер Шерлок Холмс, доктор Ватсон, миссис Хадсон — квартирная хозяйка, они только что были здесь, они сию минуту вернутся...

Но гораздо раньше и совсем в другом месте — в старых московских квартирах — я встречала этот темноватый, тесный, немного пыльный уют. У одних моих родственников в арбатской коммуналке стояли вот такие же резные шкафчики и на темных обоях, в простенке между окнами, висело узкое зеркало в бронзовой раме. У других так же поблескивали за стеклами книжных полок красные и черные с золотом переплеты, а чай подавали в тонких, почти прозрачных чашках с розой на доннышке. Поумирали наши старики, исчезли с ними, расплозились, истлели обломки некогда сокрушенного быта. А теперь вот объявления повсюду: «Куплю старинную мебель, посуду, книгу, любые предметы старины — дорого и за СКВ». Поди купи — ишь какой умный выискался!

А еще мне случилось однажды пожить у одной гостеприимной старой русской дамы в предместье Парижа, — так вот, ее дом выглядел именно так, однако те, кто сживал в ее ветхих, но все еще удобных креслах, единодушно утверждали, что это настоящий русский дом, — может быть, потому что с фотографий на стенах смотрели сплошь русские лица, в том числе и Бунин Иван Алексеевич, питавший некогда к хозяйке нежные чувства...

Так что викторианский стиль, о котором столько читано-перечитано, оказался как бы старым знакомцем. Не совсем, конечно: камин — это уж точно не с нашими холодами, хотя, говорят, и вошли они сейчас в моду где-то в роскошных, загадочного происхождения загородных каменных дворцах, что растут, будто грибы, в подмосковных дачных поселках, оттеняя их деревянное убожество. Но главное, английский дом — что старомодный, что новый — это всегда вертикаль. Из спальни в ванную поднимаешься, в столовую спускаешься или наоборот, но движешься обязательно по вертикали, а если дом городской, то за стеной точно так же вверх—вниз ходят соседи, поскольку дома часто стоят вплотную или, вернее, представляют собой одно, какой угодно длины, здание, аккуратно порезанное на одинаковые ломти, каждый ломоть — со своим номером, с собственной дверью и крыльцом...

Английские друзья, пригласившие меня к себе, милая немолодая чета, — собираются расстаться с Лондоном: «слишком шумно, транспорт — чистое бедствие», так они считают, — и подыскивают новое жилье, в провинции. А пока обитают в северной стороне, в Хэмстеде, на красивой и тихой Итон-авеню. Деревья тут почти смыкаются кронами над мостовой, а вдоль тротуаров — невысокие, красного кирпича, однообразно-разнообразные здания: каждое старается выдать себя за небольшой старинный замок и демонстрирует собственного фасона башенки, балконы с узорчатыми решетками и дымовые трубы. За нашим замком — ухоженный садик в английском стиле, то есть попросту подстриженная лужайка, пара высоких деревьев и цветущий кустарник

вместо изгороди. И точно такие же невидимые миру зеленые дворики угадываются позади остальных домов.

В первое же утро я проснулась очень рано от цоканья копыт и, выглянув в окно, увидела всадника: юное создание непонятного пола (светлые волосы по плечам, как известно, ничего еще не доказывают), красиво покачиваясь в седле, не спеша двигалось по улице посреди спящих, уткнувшись носами в тротуары, машин. И скрылось за углом, оставив ощущение сказки.

— Ничего особенного, — возразили хозяева, выслушав меня за завтраком. — Многие в Лондоне ездят верхом. Когда наши девочки были еще не замужем, мы специально держали лошадь.

А через несколько дней мне посчастливилось убедиться, что романтический уют, словно перетекающий из квартир на лондонские улицы и площади, затопляющий его бесчисленные скверы и парки, уходит дальше, дальше, в провинцию, в графства. Меня пригласили участвовать в поисках нового дома, по этому поводу где мы только ни побывали! На всем, будь это короткая, в три улицы деревушка в Кенте, прятный провинциальный городок Эссекса, пейзаж с овцами в Дорсете, знаменитый университет Кембридж или легендарный курорт Бат — на всем лежит печать уюта, покоя и любви, все — здания, деревья, реки, кладбища, мосты и сады — кажется естественным, будто выросло из земли, и даже как будто не требует особых забот, чтобы оставаться в том виде, в каком оно есть. Что, разумеется, вовсе не так.

Не претендуя на полное раскрытие темы, расскажу отдельно о богатстве и о бедности — о том, какими они представляются заезжему гостю. Если принять благосостояние моих друзей за исходную точку, за нечто среднее (они, как видите, не бедны, раз покупают дом, однако оба до пенсии работали и поныне, кстати, сохранили привычку вставать по утрам в половине седьмого), то мне довелось побывать и в более богатом доме, и в таком, что победнее. И по чистой, конечно, случайности в первом царит тщательно замаскированное, мужественное, я бы сказала, женское одиночество, во втором же дружная и неподдельно веселая семья мужественно старается свести концы с концами.

... На выставке цветов к моим приятелям с радостным восклицанием бросилась не по-английски грузная, тяжело, к тому же, хромающая дама, старинная, как выяснилось, знакомая, академик медицины или что-то в этом роде, там звания другие. И — что интересно — титулованная особа. За чаем в здешнем буфете, внутри ослепительного, всех цветов радуги, благоухающего живого ковра леди Джен смешно выговорила несколько русских слов — «спасибо», кажется, и «до свидания», добавив уже по-английски, что она — русского происхождения, поскольку ее покойные родители еще до революции эмигрировали из Одессы.

Собственно, ни на кого другого она и не походила, эта славная леди Джен, с выражением безграничной доброты и юмора на мясистом пухлощекоем лице, как на тех одесских евреек, что затевают шумные, но не злые, как бы ритуальные перебранки на Привозе и так искусно готовят «синенькие» с перцами и помидорами, что аромат на весь двор. Титул же у нее — по мужу (бывшему), а тот сподобился этой чести за научные заслуги. И обращаться к ней надлежит «миледи», чего она, конечно, не требует. Леди Джен, где же ваша голубая цапля? Всех можно встретить в этой волшебной Англии, даже сиротку из забытой, в Лету канувшей детской книжки — серия «Золотая библиотека», твердый, — кожаный, и что ли? — переплет, на картинке девочка в шляпке с прямыми полями и с бантом на поясе. Это она?

Через несколько дней мы оказались ее гостями. Джен с юных лет живет в Кембридже, знает каждый камень в этом знаменитом на весь мир университетском городке и каждый куст в его окрестностях и по-

казывала нам достопримечательности, лихо управляя своей не знаю уж какой марки, но явно дорогой, очень большой машиной. «А инвалидом, знаете ли, быть большое преимущество: никаких проблем с паркингом, для нас специальные места...» Из осмотренного на меня почему-то наибольшее впечатление произвел весьма скромный, неказистый даже домик, в котором Джен и ее муж, еще студентами, незнатными и небогатыми, снимали комнату. «К тому же, тогда и удобств не было, сейчас, кажется, есть...»

Теперь же в ее бескрайней гостиной с двумя противоположными стеклянными стенами, так что сидишь будто прямо в саду, прекрасная мебель, и картины не оставляют сомнений в их подлинности, и концертный рояль «Бехштейн», на котором хозяйка, после долгих наших уговоров согласилась сыграть — «Шопена, хорошо, мы как раз его проходим, учительница музыки — моя соседка, тоже пенсионерка...» И звучит, несколько спотыкаясь, знакомая мелодия — «О, айм сорри, тут, кажется, немножко не так...»

В отведенной мне спальне наверху, с видом на тоже всемирно известную лабораторию Кэвэндиша, мне подумалось, что дом великоват и что хозяйке, должно быть, одиноко. Впрочем, в углу на обшарпанном игрушечном автомобильчике восседает пожилой, выдавший виды плюшевый медведь — видно, в этой комнате ночует внук, когда его привозят к бабушке из Лондона. То-то, наверно, праздник...

Спустя неделю я гостила на тройном празднике: у старшей дочки моих приятелей трое детей, а живет она в графстве Уилтшир, в прикнущейся к старинному аббатству музейной деревушке, по которой толпами бродят туристы.

Большой — комнат десять-двенадцать — дом с садом достался им по случаю: организация «Нэйшнл траст» — «Национальное доверие», ведающая всеми старыми постройками, будь то храм, замок или просто жилой дом, и не допускающая к ним случайных, безответственных людей, столько раз уценила эти почти уже руины, отпугивающие претендентов еще и своими размерами, что в конце концов они оказались по карману художнице без постоянной работы и ее мужу — музыканту, чья специальность — старинные инструменты, тоже, понятное дело, практически безработному.

Нет, они не купили дом — «Национальное доверие» ничего не продает, поскольку никому не доверяет драгоценную, невосполнимую старину, — а сняли его на двадцать лет за бесценок, но с условием, что реставрируют дом и сад. Не будучи обремененными ежедневной работой и пробавляясь случайными заработками, молодые люди за три года сумели своими руками привести в порядок и вернуть первоначальный облик пока только трем комнатам и доброй половине сада — такого огромного, что по нему протекает река. На берегу реки мы увидели нарядного, но печального селезня — его подругу похитила лиса, поселившаяся в саду. За ужином — на столе сплошь продукция собственного огорода — обсуждалась проблема, покупать ли ему новую супругу или оставить в холостяках. Бедняга еще молод, однако, с другой стороны, за утку придется выложить порядочную сумму, денег же в доме явно не водилось, судя хотя бы по тому радостному гаму, который ребяташки подняли при виде привезенных пирожных. Однако здешние обитатели явно не унывали по этому поводу.

На второй день, прикончив покупные сладости, дети — рассеянный, с вечным компьютером в руках Генри, ласковая и смешливая Теодора и проказливый до всеобщей мигрени Берти — объединили усилия, намесили теста и испекли нечто вполне съедобное.

Вечером семейство музицировало. На фоне старинного убранства рыженькая, с распущенными волосами Теодора за фортепьяно смотрелась в раме дверей, ведущих в музыкальную комнату из темной гости-

ной, будто на полотне старого мастера. Ранним утром, выйдя пройтись по деревне, я за решеткой аббатства увидела двух собак, то выбегавших из тумана, то вновь пропадающих в молочно-белой мгле, и неясную фигуру их хозяйки — нынешней владелицы причудливого серого каменного дома, и сада, и луга, уходящего за горизонт. . .

Этот коротенький и, как уже сказано, не претендующий на глубину рассказ о бедности и богатстве завершается столь же, вероятно, поверхностным выводом: не зависит красота от денег. По крайней мере в Англии.

Подыскивать новый дом — на редкость увлекательное занятие, особенно если тебе его не покупать. Предназначенные к продаже дома оказывались то большими, то маленькими, сад — непременно условие — потрясал меня своей красотой, я соглашалась на каждый вариант, считая, что уж этот-то — настоящая находка. Но всякий раз мой энтузиазм оставался непонятым. Разве я не заметила, какие низкие потолки на верхнем этаже, там, где спальни? А неудобный гараж? И сад слишком запущен — где взять силы, чтобы привести его в должный вид?

Основной критерий выбора, о котором мы дружно умалчивали, лежал на поверхности: настанет день, и он, увы, недалек, когда моим милым хозяевам придется отказаться от машины: зрение, знаете ли, вообще возраст. И взамен нынешней свободы наступит зависимость — от соседнего рынка или супермаркета, от близости врача, от многих вещей. . .

Размышлять на эту тему было грустно, и я спросила:

— А может, поближе к детям?

Обе дочери давно живут своими семьями. В ответ прозвучало:

— Это как раз не обязательно.

И такой ответ тоже показался грустным. Хотя почему, собственно? При наилучших отношениях с детьми — кому же хочется попадать в зависимость от них? И у нас так, и повсюду.

А поиски продолжались, и все больше названий попадало в мой блокнот. Дорсет — что-то знакомое. Ах да, отсюда, кажется, пошел род Форсайтов.

. . . В чистенькой квартирке (не коммунальной, слава Богу) провинциальных родственников, к которым меня однажды отправили подкормиться, книги были уложены в высокий кожаный сундук — по ночам он служил мне постелью. Утром, как только все уйдут на работу, откинешь тяжелую крышку, а оттуда пара-тройка крупных черных тараканов, и кошка кидается их ловить, считая — чисто условно, конечно, — мышами. Моя же законная добыча — разрозненные томики в довоенных бумажных переплетах, которые читать почему-то не разрешалось. Это потом уж вышла полностью «Сага о Форсайтах» — рядный белый двухтомник большого формата, и все ею зачитывались. Мне же досталось читать «Сагу» вразнобой, в случайной последовательности, с пропусками, и события соединялись с трудом. Но какое это было незабываемое чтение и тогда, и много раз позже!

Богатые Форсайты тоже плакали, еще как плакали! Теплые волны читательского сочувствия омывали стены их прочных, респектабельных, великолепно обставленных жилищ, — как зримо, кстати, описаны интерьеры, ей-Богу, их видишь почти как на телеэкране. Бродя по Лондону, выбирая много раз мысленно проделанные «форсайтские» маршруты — от Монпелье-сквер через Гайд-парк на Парк-лейн, Бэйсуотер-род, на Стэнхоуп-гейт и Грин-стрит, я обошла фешенебельные кварталы Белгрэви, Мэйфэйра и Челси — в Челси, кстати, поселилась, скрывшись от мужа, красавица Ирэн в убогой, как сказано в романе, квартирке, — и как жалели бедную беглянку ее простодушные сестры, обитательницы московских коммуналок! Какие горькие слезы лили над судьбой

старого Джолиона, такого одинокого в огромном поместье. А за стеной буянил сосед — и как же он раздражал именно своей непохожестью на Форсайтов, ну ногу потерял на войне, а другие и вовсе полегли, так чего этого пьяницу жалеть!

Меньше всего на свете я хотела бы исследовать данный социальный парадокс или, сохрани Бог, осуждать тогдашних читателей. Просто хочу сказать, что все уже было — хоть и быльем поросло, вытесненное новыми реалиями.

Наоборот, хочу восславить «Сагу» и ее героев. Мы пережили вместе нелегкие времена: отстояли в многочасовых очередях, проехали тысячи километров в битком набитых трамваях и электричках. Помню себя в те годы: как я сидела возле своего дома во дворе, где идиллически цвели «золотые шары», и, уткнувшись в книгу, покачивала детскую коляску. Сын похныкивает, просыпаясь, кормить его пора, но, Боже, как неохота возвращаться из красивого дома Флер на Саут-сквер к себе на кухню, где стоят четыре стола, и глухая старуха-соседка каждые полчаса истошно вопит в телефон: «Мотя, ты ел?», и под окнами грохочет трамвай, и сахар дают со двора, а муку по талонам, и без муки, пожалуй, обойдусь, а за песком придется идти, а как идти, если там толпа такая, что во двор не войдешь...

А нынче с телеэкрана твердят об особо ужасных временах, исправно перечисляют захватными голосами грядущие бедствия. Кровь, и правда, льется, цены растут... А тогда процветал тайный убийца — ГУЛАГ, потом — психушки, и в какую цену обходилась столичная колбаса пассажирам недавних «колбасных» электричек — в какие инфаркты и инсульты, в какие утраты человечности?

Так что спасибо старым друзьям Форсайтам, которые и поныне для меня живее всех живых, особенно здесь, в Лондоне. И это ничего, что мы, к сожалению, не встретились, мы просто разминулись во времени. Да простит меня моя учительница литературы — они, с их выдержкой, приличными манерами, хорошим вкусом и, главное, с простыми, вечными и понятными чувствами, оставили в моей душе куда более яркий след, чем Павел Власов и Павка Корчагин. И мне приятно думать, что телеэкранная Марианна забывает сегодня по рейтингу популярности (читай — любви) всех до одного политиков, рвущихся устроить всенародное счастье.

— А кого еще вы читали из английских авторов, кроме Голсуорси?

То ли от неожиданности, то ли от едва заметной насмешки в голосе спросившего я растерялась. Шекспира, Стерна, Диккенса, Теккерея, еще десятка два имен я, правда, назвала после неловкой паузы, во время которой собеседник явно оценивал мой культурный багаж. Недорого, кажется, оценил. И, по правде сказать, дальнейший разговор вряд ли поправил дело. Голсуорси? Его мало кто помнит и во всяком случае мало кто принимает всерьез. Второстепенный автор, бытописатель. Старшее поколение, впрочем, вспоминает телефильм — двадцать с чем-то серий, вся Англия сидела у телевизоров, великие актеры. У вас он тоже шел? И тоже все смотрели? Замечательно! Мыльная опера? Ну нет, ничего похожего, другой жанр...

Спорить не берусь — действительно, «мыло», говорят, жанр своеобразный, требующий исключительного и особого профессионализма, там много импровизации и вообще свои законы. Что бесспорно — это его право на жизнь. В Англии, кстати, мыльные оперы можно посмотреть каждый день — и на любой вкус: комические, с визгливым многоголосым смехом за кадром, криминальные, мелодрамы. Известно, что один из сериалов — под названием «Истэндерс», из жизни рабочих кварталов Лондона, — обожает королева-мать. И мои хозяева, которые вообще-то предпочитают хорошую книгу, по вечерам неизменно усаживаются в гостиной — ах, диваны, не по стенам, а посреди комнаты, уг-

лом друг к другу, красивая светлая обивка, большие мягкие подушки... На одном из них я каждый вечер засыпала, честно собравшись посмотреть новости, но за три недели ни одного (ни одного!) сюжета из России, зато усыпляющие беседы по поводу событий из жизни де-нег — «темна вода во облацех» и парламентские дебаты, а уж потом — очередная серия чего-то там такого, чего так и не дождалась ни разу, и не могу сказать, каковы они, тамошние Марианны и Изауры, помогающие англичанам коротать их по-своему трудные времена.

— А ваш муж — он, наверно, в ваше отсутствие завтракает в кафе? Есть у вас хорошее кафе поблизости?

Как объяснить, что ни поблизости, ни в отдалении в Москве нет кафе, где обычный москвич мог бы позавтракать перед работой? Следует непрременное «но почему?» — и с чего тогда начинать, с семнадцатого года?

— Но если у вас нет того, нет этого — почему вы не бастуете, не ходите на демонстрации? Мы в молодости всегда ходили, мы сами добивались...

Как ей возразить, моей милой, культурной, доброжелательной приятельнице? Она ведь «Архипелаг ГУЛАГ» читала раньше, чем я. Но прочитанное никак у нее не связывается с отсутствием в России, скажем, «мусли» — таких вкусных и полезных хлопьев, которые во всем цивилизованном мире едят на завтрак.

— А муж помогает вам со стиркой?

— Я сама отлично справляюсь.

Сейчас мне скажут, что это несправедливо, а я отвечу, что у нас есть стиральная машина. Не такая, правда, как на кухне, где мы сидим (но об этом умолчим, если не спросят), — тут запихнешь кучу белья, подсыплешь горстку порошка, нажмешь кнопку-другую, и через час получишь все чистое и сухое. У меня же простая электрическая тарактелка, такие здесь были, наверно, в начале века, но и на том спасибо, «Вятка»-автомат в мою кухню, а также в ванную все равно бы не влезла...

— А посудомоечная машина у вас есть? Это большое облегчение...

Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да, здесь живут прекрасные, но все же чужие господа, и чужая вода плещется в замечательной посудомоечной машине (нажал кнопку — и привет!), и чужая светится звезда. Ничего они про нас не поймут — опыт разный. Здесь так красиво, уютно, нормально, их многочисленные, тяжкие, порой неразрешимые проблемы нормальны и человечны, не то что наш жутковатый театр абсурда. Так что не надо, не надо ничего объяснять. Просто наслаждаться тем, что видишь вокруг, как делали это многие до тебя.

Отдыхая от бесконечного кружения по улицам в тени высоких деревьев на Беркли-сквер-гарденс, я прочла на медной дощечке, привинченной к спинке скамейки: «Подарено американцем Мелвином Блумом, который надеется, что каждый, кому доведется здесь сидеть, почувствует магию этого места и услышит соловьиное пение». Ах да, была ведь такая джазовая песенка: «Поют соловьи на Беркли-сквер» — спасибо вам, заокеанский незнакомец, за прекрасное воспоминание и за удобную скамью.

Последний же свой вечер в Англии я провела в Примроуз-Хилл — небольшом парке по соседству с Итон-авеню. Солнце садится, прорезая темно-фиолетовую тучу, под его почти горизонтальными лучами подстриженная трава становится неестественно яркой. Модное нынче сочетание — фиолетовое с зеленым. Собаки носятся по лужайкам, хозяева терпеливо ждут, пока наиграются друг с другом их питомцы. Настоящий собачий рай — этот Примроуз-хилл. Вот, кстати, и англичан

иной раз понять трудно. По всему городу расклеен плакат с прелестной собачьей мордой и надписью, которую мне так и не удалось истолковать: «Каждые восемь лет вам приходится заменять незаменимое». Что это — отговаривают меня заводить собаку или, напротив, рекомендуют, или напоминание о краткости собачьего века — своеобразное «emento mori» для прохожих?

Ну вот и исполнилось самое давнее, самое заветное мое желание — побывала я в Англии. Чего теперь желать, что дальше делать? Сидя на вершине холма, на одной из двух заботливо поставленных тут лавочек, я в последний раз разглядывала темнеющую панораму лежащего внизу гигантского города — и не чувствовала себя ни Воландом, ни кем-нибудь из его свиты. Было немного грустно и как-то не думалось ни о чем. На соседней скамье белобрысая девица в плотно облегающих рейтузах, с рюкзаком — «Холли Голайтли; путешествует» — достала из кармана широоченной куртки банку кока-колы и пачку галет, принялась за ужин. Где-то она окажется завтра, эта странница? А я завтра, Бог даст, окажусь дома. Лондон для жизни гораздо лучше Парижа, если бы мне пришлось выбирать, я бы... Забудь немедленно эту дурацкую фразу, а то ляпнешь где-нибудь. Главное — не сказать это людям, которые ни в Париже, ни в Лондоне не были и не будут. Неловко, стыдно даже быть везучим в стране неудачников.

Сейчас, когда ОВИР выдохся, сдался и дает выездные визы практически всем желающим, свято место занял Аэрофлот. Цены на билеты заоблачные, а сравнительно доступные, им же, Аэрофлотом, установленные по мировым образцам льготные тарифы, от простых смертных тщательно утаиваются и отгораживаются весьма отличными от мировой практики хитроумными правилами. И опустился новый железный занавес, и каждая зарубежная поездка — как последняя, цены поднимаются все выше. Так что — прощай, Лондон, фэауэлл, май Пикадилли, не знаю, увидимся ли еще.

В аэропорту Хитроу не было суеты. По табло бежали куда-то вверх, сменяя друг друга, названия городов и номера рейсов, плясал красный огонек, показывая, чья очередь улетать, люди всех оттенков кожи степенно шествовали на выход с вещами — и улетали в свой Гонолулу, Вальпараисо, Акапулько, в Сидней и Торонто. Только родное до боли слово «Москва» застряло на своей строчке, застыло, мешая другим, и красная искорка обегала его, приглашая тех, кто собрался в Австралию, Мексику, на Острова Зеленого мыса. Постепенно в зале ожидания выпала в осадок группа пассажиров Аэрофлота — нервничаем, то и дело смотрим на маленькие табло, светящиеся в каждом углу, терзаем вопросами вежливого молодого человека в синей форме «Бритиш эйруэйс». Москва начинается в Хитроу: единственный опаздывающий самолет — наш! Расхаживает по залу с банкой пива в руке человек, удивительно похожий на известного артиста, — впрочем, это он сам и есть, раз битых два часа расхаживает.

В Москве — прилетели все же — дождь, холод, тьма крошечная. Все знакомые болеют — у кого грипп, у кого бронхит. Зато по Санкт-Петербургской программе все еще показывают кино про Ракель. И некий композитор, сраженный ее божественной красотой, исполняет по радио собственного сочинения песню на собственные же слова, мастерски зарифмовав «Ракель — постель». А дома все в порядке, И, стало быть, можно жить дальше.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Зоя Свинарская О МИХАИЛЕ ЧЕХОВЕ

Двадцать первый год. Время, во многом схожее с нынешним. По окраинам России еще катится гражданская война, льется кровь в Кронштадте и Тамбове. Экономика развалена, политика нестабильна. Власти пытаются спастись реформами — скрепя сердце дают разрешение на частный капитал.

Время похожее, а мировосприятие — иное! Людям той поры, кажется, неведома наша подавленность, оцепенение, растерянность перед днем завтрашним. Культура остается частью их жизни, независимо от смены властей и форм собственности. Заводы разрушены, но книги издаются, картины пишутся, в театрах аншлаги. Голодные актеры играют для голодных зрителей, в неотопливаемых залах.

Может, они были просто непугаными, не догадывались, чем чреватые подобные переломы, а нас угнетает знание, что впереди мало радостей? Ведь никто пока не сосчитал, сколько революций можно пережить без ущерба для «исторического оптимизма».

Предлагаемые читателю заметки дают возможность присмотреться к опыту наших старших соотечественников. Автор этих воспоминаний — Зоя Владимировна Свинарская, актриса, недавно ей исполнилось девяносто лет. Творческая судьба Зои Владимировны складывалась в целом счастливо, хотя и непросто. После Чеховской Студии работала у Попова в Ярославле. Затем были Москва, Кострома, опять Москва (на сей раз у Дикого). В Рязани она встретила с молодым тогда Эфросом, и этот последний период в ее артистической карьере оказался одним из наиболее успешных. Репертуару ее можно позавидовать: Анна Каренина, Кручинина в «Без вины виноватых», Елена в «Дяде Ване», Раневская в «Вишневом саде».

Сейчас Зоя Владимировна заканчивает серию воспоминаний о знаменитых театральных режиссерах, с которыми ей довелось работать.

Валентина Гридасова

Театр был моей мечтой с детских лет. В Варшаву, где я жила с родителями, приезжали на гастроли труппы Московского Художественного и Малого театров, петербургская Александринка. Родители брали с собой нас, детей, почти на все спектакли. Я видела таких корифеев русской сцены, как Ермолова, Савина, Станиславский, Качалов, Москвин, Варламов, Давыдов. Помню в «Огнях Ивановой ночи» Веру Федоровну Комиссаржевскую. Разобраться в тайнах театрального искусства я, конечно, не могла, но все увиденное ошеломило меня и оставило след на многие годы. Я уже тогда решила стать актрисой. К тому же, мое постоянное участие в детских спектаклях, гимна-

зических вечерах, любительских кружках сопровождалось успехом и признанием артистических способностей.

Первая мировая война и обе революции застали мою семью в Москве. Здесь я закончила гимназию, переименованную после Октября в советскую трудовую школу. Училась я в тот год «чему-нибудь и как-нибудь», но зато мы, юные энтузиасты, организовали драматический кружок, которому отдавали все свое время — к большому неудовольствию родителей.

После окончания школы мы даже умудрились открыть маленький театрик миниатюр и почему-то назвали его «Зеленым паучком». Заключили договор с какой-то мебельной артелью, предоставившей нам клубное помещение на Сретенке, и играли там три раза в неделю. Руководителем нашего театра был молодой сотрудник Художественного Театра Б. Тамарин. Но через два месяца наш «Зеленый паучок» с треском прогорел.

А время тогда было сложное. Особенно для интеллигенции. Мои родители решили уехать из России. Я же наотрез отказалась ехать с ними. Никакие уговоры, мольбы на меня не действовали, и, как это ни удивительно, родители в конце концов махнули рукой на мое упорство. Так я осталась в Москве почти без средств, без жилья, брошенная на произвол судьбы. Приютили меня на время две школьные подружки — сестры Коммар. И началась моя привольная самостоятельная жизнь. Днем, для заработка, я стучала на машинке, а вечера посвящала зрелищам и развлечениям. Сестры Коммар были девицы рано созревшие, давно оставшиеся без родительского присмотра, вели весьма свободный образ жизни, при постоянном окружении поклонников, в атмосфере флиртов и романов. Естественно, они и меня втянули в свои компании. Была я веселой и хорошенькой, знала это и умела обращать на себя внимание. Появилось много знакомых. И кто знает, чем обернулось бы это времяпровождение, если бы не одолевала меня «одна, но пламенная страсть» — Театр.

За короткий срок я познакомилась со всеми драматическими театрами Москвы. Больше всего полюбила 1-ю Студию МХАТа. Ее спектакли я видела еще в доме на Скобелевской площади (теперешней Советской), в маленьком помещении зрителей на сто. Вся обстановка этого театра была строгой и скромной. Стены в мягких сборках сурового полотна. Такой же занавес. Подмостков не было, сцена располагалась прямо на полу, вровень со зрителями. Эта близость уже создавала интимную атмосферу. Артисты разговаривали «как в жизни». Поведение их было естественным и достоверным, исполнение ролей — таким глубоким и искренним, что стиралась грань между зрителями и актерами и забывалось, что ты в театре. Много прекрасных актеров было в 1-й Студии: Хмара, Вахтангов, Дикий, Болеславский, Дурасова, Гиацинтова, Сухачева... Но истинным чудом был гениальный артист МИХАИЛ ЧЕХОВ!

Чем же он поразил меня, в сущности, еще девчонку?

Маленький, худенький, невзрачный, с глухим голосом и некоторой шепелявостью — он обладал удивительной силой воздействия: восхищал и подкупал своими глубокими правдивыми переживаниями (именно переживаниями, а не игрой), человечностью и добротой. Порой даже что-то детское было в нем. Словом, это трудно передать. Он представлял так сопереживать ему, что даже скептически настроенные зрители подчинялись магии его огромного таланта. Что же говорить обо мне? Спектакли 1-й Студии и Чехов стали для меня откровением. Я по нескольку раз смотрела «Сверчок на печи», «Потоп», «Гибель «Надежды». Уходила со спектаклей просветленной, хотелось быть лучше, добрее, глубже и жить иначе, чем до сих пор. Я поняла, что прикоснулась к тончайшему, истинному искусству театра. Мои первые выступления на

сцене, приносившие успех, казались теперь фальшью. Я почувствовала себя ничтожной букашкой, ничего не знающей, ничего не умеющей. Сколько же мне надо узнать о жизни, о людях, какой культурой овладеть, чтобы хоть немножко подступиться к такому и только такому театру высокой правды!

Учиться, учиться, учиться!

В те двадцатые годы в Москве открылось множество театральных студий: Вахтанговская, «Габима», Шляпинская, Студия молодых мастеров под руководством Певцова, Горьковская, Армянская и другие. У каждой из них было свое лицо, свои поклонники, свои поиски. Но почти все эти студии были объединены учением Станиславского. Молодежь, мечтавшую, как и я, о театре, неудержимо влекло в новые студии. Слухи об их существовании доходили и до меня, но куда именно пойти учиться, я не могла решить.

И вот совершенно случайно, проходя однажды августовским вечером мимо дома на углу Кисловского переулка и Арбатской площади, я увидела на низкой, так называемой парадной двери объявление, написанное от руки: «Производится прием желающих поступить в драматическую Студию артиста Художественного театра Михаила Александровича Чехова. Запись для экзаменов проводится от 5-ти до 7-ми вечера ежедневно у дежурного по Студии в квартире М. А. Чехова».

Да ведь Чехов мой самый любимый артист! Я и не знала, что у него есть Студия. «Это моя судьба!» — подумала я и сразу же поднялась по лестнице в указанную квартиру.

А через два дня я пришла на экзамен к самому Чехову. Когда назвали мою фамилию, я вошла в студийный зал, сразу напомнивший мне 1-ю Студию ее ранних лет. Освещенная сцена в суровом полотне, у противоположной стены, в полумраке — длинный стол, за которым сидела приемная комиссия. И вдруг я увидела Михаила Чехова! В первый раз я увидела Чехова без грима. Какое же у него удивительное лицо! Совсем некрасивое, но прекрасное в то же время! Глаза! Острый, испытующий, пронизывающий твою душу взгляд умных и лучистых глаз! «Таким глазам не соврешь», — подумала я и не могла оторваться от его лица.

Михаил Александрович это заметил. Кончики его красивого рта улыбались. Меня спросили, что я приготовила для экзамена, и предложили пройти на сцену. И тут меня охватил какой-то необыкновенный внутренний подъем! Нет, я не оскандалюсь перед Чеховым! Не оскандалюсь ни за что!

Я прочла, как мне казалось, с вдохновением стихи Бальмонта.

Потом читала басню Крылова «Кот и повар». Моя басня! Так часто она потешала моих сестер, когда к нам приходили гости и я выкладывала им свой репертуар. Читала я, сидя на стуле, нудно и монотонно отчитывая противного облезлого кота, которого ясно видела. Видела, как он, «мурлыча и ворча», трудился над курчонком. И только потом я входила в раж, потрясая кулаками. Я чувствовала, что моя басня вызвала одобрение.

Михаил Александрович предложил мне сделать этюд: «Вы с кавалером на балу, болтаете с ним после танца, и вдруг сзади вас падает огромная китайская ваза!»

Мне дали партнера — старшего студийца (Н. О. Фрид). Я и сейчас вижу его отчетливо. Сажу с ним, разгоряченная от танцев, обмахиваюсь платочком и кокетничаю вовсю. Вдруг чувствую, как новые туфли, в которых я так лихо отплясывала, — жмут. Я вытягиваю кончик одной ноги, потом другой, чтобы немножко размять стиснутые пальцы. Мой кавалер это замечает и с любопытством смотрит на мои ноги. Я, не смущаясь, подтягиваю их под стул и продолжаю кокетничать.

Вдруг... Хлоп—трах!.. Я в ужасе, с криком вскакиваю и совершенно явственно вижу черные лакированные осколки с нежно-розовыми цветами... И совсем уж неожиданно для себя, глядя на партнера с укоризной, чуть не плача, говорю: «Ну что вы наделали!» В комиссии рассмеялись.

— Вы свободны.

Я вышла в переднюю. Здесь толпились юноши и девушки в ожидании окончательного приговора. «Вы, конечно, приняты! Комиссия так смеялась...» — болтали они, окружив меня. Я была в сильном волнении, которое только теперь ощутила. Вскоре объявили перерыв. Все замолчали и притихли. Вышел Миша Малинин со списком в руках. Почему-то взгляд его сразу остановился на мне. Улыбаясь, Миша сказал: «Поздравляю вас, вы приняты!»

Это было настоящее счастье!

Когда через год я стала секретарем Студии, ко мне, среди прочих документов, попал конверт с отметками экзаменационной комиссии. Все экзаменаторы против моей фамилии поставили «да», а рукой Михаила Александровича было написано: «Внешность! Стихи не без тонкостей. Басня смешная. Да, да!»

Столько лет прошло с тех пор, а я не могу себе простить, что не взяла на память эту записку: тогда — не смогла, совесть не позволяла.

Итак, я ученица Чеховской Студии. На первых занятиях среди поступивших вижу Олю Ефимову, участницу нашего школьного кружка. Как же мы обрадовались друг другу! И надо сказать, что с этого дня мы вместе сидели на занятиях, делились студийными радостями и печалью, вместе ходили в театры и вместе, рука об руку, прожили два года преданными и верными ученицами Чеховской Студии до самого последнего дня ее существования.

Кроме Оли и меня, в Студию были приняты Бабочкин, Мескатинов, Вовси, Вараксин, Пищиков, брат и сестра Лебедевы, Баранович, Гильфердинг, Макаревская и Ада Книппер. Мы сразу почувствовали себя легко и просто в уютной, домашней и доброжелательной обстановке Студии. Старшие студийцы отнеслись к нам с большим интересом и вниманием. Это была дружная артистическая семья, связанная неразрывным авторитетом Чехова, которого мы все боготворили.

В тот год Михаил Александрович был очень занят, репетировал Хлестакова в Художественном театре и Эрика XIV в 1-й Студии. Со старшими учениками занимался иногда по ночам, ставил сказку Толстого «Первый винокур». А в дальнейшем собирался создать собственный театр сказки и фантастики. К нашему великому огорчению, на младших у него почти не оставалось времени. Занятия по системе Станиславского, которые считались основой актерского мастерства, он поручал своим ассистентам — Громову, Татаринову, Николаевскому, Кудрявцеву. Сам же приходил только на контрольные уроки.

Училась я усердно, все брала на веру и бесконечно уважала педагогов. Но мне редко удавались этюды. Я не всегда воспринимала тему и оттого не могла быть органичной и смелой. Мешала мне и прежняя любительская «школа» — я чувствовала себя как та сороконожка, которая вздумала осмысленно передвигать свои многочисленные ножки.

Больше всего я не любила «звериные этюды», задаваемые обычно Татариновым. То вы попадаете в клетку к тиграм, то оказываетесь в лапах у льва, то на вас обрушивается коршун. Моя Оля Ефимова, исполняя нечто подобное, всегда кончала истерикой, и ее затем долго приводили в чувство.

Нравилось мне, как делал этюды Борис Бабочкин. Загорался он моментально и заряжал своей игрой окружающих. Выглядел он в ту пору каким-то неухоженным, запущенным. Семнадцатилетний, ху-

дой, с маленькой головкой и коротко стриженными, как после тифа, волосами. Ходил в потертом, мышиного цвета френче с чужого плеча, в немислимых галифе, а на ногах — обмотки и старые-престарые башмаки. Однако носил он все это с гордым, независимым видом, как бы подчеркивая, что не одежды для него главное.

Приблизительно через месяц после поступления в Студию Борис пригласил нас с Олей Ефимовой к себе в гости. Жил он вместе с братом, кажется, в Козихинском переулке, в прежней буржуйской квартире. Входим в комнату: высокий потолок с лепными украшениями, мрачно, неуютно, холодно, как, впрочем, всюду в то время. Бабочкин стоит, облокотившись на старинный камин, в картинной позе, а нас сажает перед собой на дырявые стулья.

— Я пригласил вас, господа, для того, чтобы объявить вам пренеприятное известие: я ухожу из Чеховской Студии!

Мы, конечно, приняли все это за шутку, но он категорически заявил, что здесь ему делать нечего: Чехов с нами не занимается, а его ученики, которые заставляют нас часами разглядывать спичечные коробки, потеть над упражнениями и этюдами, — скучные люди, неинтересные и неталантливые. «Я уже поступил в Студию молодых мастеров к Певцову и советую вам обеим, пока не поздно, последовать моему примеру. Там первоклассные мастера занимаются с учениками постановкой голоса, дикцией, пластикой». Он закончил свою горячую речь, а мы пытались не менее горячо возразить ему, защищая наших педагогов, убеждая его в необходимости делать упражнения и этюды, на что он ответил: «Вы — просто ничего не понимающие дети»... На этом наша встреча закончилась. Шли мы от него убитые, решили никому ничего не рассказывать. Но Бабочкина в Студии мы больше не видели.

Ушел от нас и Василий Лебедев-Кумач, уже тогда довольно известный поэт. В Студии он учился вместе с сестрой: она высокая, он низенький, оба рыжие, некрасивые и очень похожие друг на друга. С Васей, как мы все его звали, было всегда весело и просто. Оля Ефимова и я часто бывали у него дома, где он читал свои стихи, а заодно и старался нас подкормить. Он с самого начала говорил, что пришел в Студию не затем, чтобы стать актером: его интересовала система Станиславского, которая, как он был уверен, много дает смежным искусствам. За братом вскоре последовала и сестра.

Как-то я возвращалась домой с Верой Бендиной, которую Михаил Александрович перевел к нам из старшей группы. Вера была расстроена и говорила о неуравновешенном, вздорном характере Чехова. Поначалу он ее хвалил, но внезапно переменял свое отношение, стал придирааться. «Это у него не первый случай. Он очень увлекается каким-нибудь человеком, а потом беспощадно его от себя отбрасывает». Правда ли это? — думалось мне... Через несколько дней после нашего разговора Вера перешла учиться к Вахтангову.

Тогда же оставила Студию Марина Баранович — самая культурная, образованная и развитая девушка среди нас. Увлекалась Марина поэзией, часто читала стихи. У нее было чисто русское, прелестное лицо с чудесными голубыми глазами и очень розовыми щечками. Этюды никогда не заканчивала, смущалась, была скованна. О ней в журнале «Новый мир» за 1980 год поэт Андрей Вознесенский писал: «Все его (Пастернака. — З. С.) вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокурренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы — как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцево-оранжевые, изумрудные и кирпично-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнуром».

Но вернемся к занятиям в Студии. Говорят, что гений подавляет другого человека. Но он может и вдохновить его! Возможно, это нескромно с моей стороны, но, когда на урок приходил Михаил Александрович, я тут же обретала уверенность и желание действовать. Я, конечно, знала, что всякая нерешительность, боязнь, излишняя стеснительность в ученике раздражали его. В жизни я очень боялась Михаила Александровича, и, наверно, если б он тогда заговорил со мной — я смущенно молчала бы и язык прилип бы к гортани. Но на его уроках я чувствовала себя по-другому.

Помню такой этюд, тему которого дал мне Михаил Александрович. «Вы — шансонетка. Делайте что хотите. Долго не думать».

Я молниеносно вспомнила одну шансонетку, которую увидела в детстве, в солдатском клубе, куда завела меня нянька. И почему-то шепотом, глядя в упор на Михаила Александровича, я пропела — наверное, не очень разборчиво:

Дамочки, мужичонки!

Все вы как картиночки!

Я вас обожаю,

Это не скрываю. . .

Потом я вышагивала вдоль сцены, задирала ноги и посылая воздушные поцелуи Михаилу Александровичу. Он и окружавшие его ученики хохотали. . .

Я села на место и заплакала. Оля Ефимова сжимала мою руку: «Не плачь! Все хорошо!» Хорошо ли, я не знала, но мне было невероятно стыдно за свою неприличную шансонетку.

На контрольном уроке, который должен был определить дальнейшее пребывание в Студии нас, младших, Михаил Александрович дал мне такой этюд: «Вам пятнадцать лет. Вы сидите за пианино и играете вальс. Около вас стоит муж такого же возраста. Вы чувствуете схватки в животе, вот-вот должны родить». О ужас! Право, я не помню, как выполняла этот этюд. И сразу же Михаил Александрович говорит мне: «Теперь вы — Бобчинский. Только не готовьтесь! А теперь вы Добчинский! А сейчас вы фонтан, сверкающий всеми цветами радуги! А теперь вы на вас падает дождь роз». Все это я выполняла как в тумане и лишь когда услышала голос Татаринова: «Очень хорошо, только ваши розы были без шипов» — почувствовала свой полнейший провал.

Но нет, провала не оказалось. После того контрольного урока многие покинули Студию, а оставшихся прикрепили к педагогам, которые назывались «няньками». Моей «няней» стал В. А. Громов, любимый ученик Михаила Александровича. (А любимой его ученицей была Мария Осиповна Кнебель.)

Нам, младшим студийцам, не разрешали заниматься побочными видами искусства. Поэтому я бросила занятия в музыкальной школе, бросила рисовать. Рассталась я и с сестрами Коммар, считая это общение несовместимым с моей новой жизнью. Я хотела очиститься от пошлости, хотела углубиться в тот духовный мир, который открыла для себя в Студии, и со свойственным мне максимализмом отметала все, что мешало на этом пути. Ночевала я где придется. Милая и отзвучившая Анна Макаревская, тоже младшая ученица Студии, предложила мне поселиться у нее. Она заведовала детским домом для беспризорных на Поварской улице, недалеко от Студии. Жила она в огромном зале, ширмой отделив свой угол. Там она поставила и вторую койку — для меня. Зал не отапливался, ночью мы укрывались тюфяками, чтоб не замерзнуть. Анна заставляла питаться с нею. Тарелка какой-нибудь похлебки, а в лучшем случае лепешки из картофельных очисток, перловая каша или чечевица. Это было для нас роскошной пищей, и мы не сетовали на недостаток вкусовых ощущений — лишь

бы не быть голодными. «Детки» из детского дома, естественно, проникали в наше отгороженное жилище, шарили в моей картонке и умыкали понравившиеся вещички. Меня пропажи волновали мало, Анна же относилась к кражам болезненно и наказывала своих воспитанников. Но вещички тем не менее продолжали убывать. В Студии знали, в каких условиях мы живем, хотя и я, и Анна старались все представить в юмористическом свете.

Но вот я заболела испанкой (так именовался теперешний грипп), заболела тяжело. Вся в жару, голова и тело разламывались от боли. В Студию ходить не могла и была в отчаянии. Анна прибежала с занятием, чтобы покормить меня и проверить мое состояние. Не помню, на который день болезни, поздно вечером... Единственная лампочка на выключенном потолке тускло освещала зал... Лежала я в забытьи... Открываю глаза и вижу: из дверей направляется ко мне — Михаил Александрович в сопровождении Миши Малинина и Анны! Может быть, мне почудилось? Нет! Живой, живой Михаил Александрович подходит ко мне! На его лице ужас — при виде меня, лежащей под тремя матрацами. Необычно строго и делово приказывает Анне одеть меня. «Я беру ее к себе домой». Он и Миша Малинин буквально тащили меня через Арбатскую площадь, а сзади шествовала Анна с моей картонкой...

Михаил Александрович поместил меня в своей квартире на антресолях. Семья его приняла меня как родную. Уложили в постель, накормили, напоили каким-то снадобьем из трав. Михаил Александрович ежедневно поднимался на антресоли, следя за моим выздоровлением. Какая же у него была отзывчивая душа и щедрое сердце, если он, будучи бесконечно занятым, мог уделять мне столько заботы, участия и внимания.

Я чувствовала себя счастливейшей в мире. Наверно, Чехову было жалко меня, беспризорную девчонку, оставшуюся без родителей. Может быть, ему нравился мой жизнерадостный, веселый нрав? Теперь он часто шутил со мной, называл Свиначкой.

Организм у меня был крепкий, болезнь я быстро поборола, но еще некоторое время жила на антресолях. Однако злоупотреблять добротой Чеховых я не могла и решила вернуться к Анне Макаревской. Узнав об этом, Михаил Александрович воспротивился и, понимая мою стеснительность, переселил меня в кабинет, находившийся за студийным залом. Здесь стояла печка-буржуйка, отопливавшая кабинет и зал. Михаил Александрович иногда заходил ко мне, сам топил печку дровами и всякими деревянными отходами, которые мы доставали где придется и тащили в Студию.

В своем всегдашнем коричневом халате и в валенках сидел Михаил Александрович на маленькой скамеечке перед печкой, разгребал горящие головешки и задумчиво смотрел на фантастические огоньки. Если я собиралась уйти, чтобы не мешать ему, он заставлял сидеть рядом, на кончике дивана. Конечно, я никогда не позволяла себе нарушать его молчание, да и он не заговаривал со мной. Я с болью смотрела на его скорбное лицо, он казался мне таким одиноким и несчастливым. Я знала, что весь он заполнен не только мыслями об искусстве, но и философскими идеями, связанными, в частности, с антропософией.

Он не принимал материализма, жил отчужденно от окружавшей его действительности, боялся ее, и, несомненно, страх вообще был у него болезненным явлением. Но при этом он был великим фантазером, и чудачком, и озорником. Не зря его сценический диапазон уже в то время простирался от трагического Эрика XIV до Хлестакова. О смешливости Чехова в театральном мире известно достаточно. Я же хочу

писать только о том, чему свидетелем была сама и что, возможно, неизвестно другим.

Некоторые любопытные воспоминания связаны у меня с «Эриком XIV», где мы, студийцы, были заняты в массовых и шумовых сценах. Однажды художник 1-й Студии Михаил Либаков предложил мне из-за кулис посмотреть эпизод отравления Эрика XIV — сцену, которую без слез я видеть не могла. В ней Эрик-Чехов, повернувшись спиной к зрителю, принимал из флакона яд. И вот я стою за кулисами и с трепетом наблюдаю эту сцену. Михаил Александрович замечает меня, глаза его становятся хитрыми, и вдруг он показывает мне язык! А затем — без паузы — поворачивается к зрителю в состоянии человека, пораженного смертью. Зритель потрясен. Потрясена и я. Да, только великий талант мог позволить себе такое моментальное переключение и такое озорство. Михаил Александрович нередко озорничал на сцене и в других ролях, не выпадая из образа. Но в «Эрике XIV» — это непостижимо!

Я упомянула о Либакове. Вот в связи с ним Михаилу Александровичу пришла этакая фантазия — выдать меня замуж!

В Студии устраивались вечера, на которых старшие и младшие показывали свою самостоятельную работу. Михаил Александрович всегда относился к ним с интересом, приходил посмотреть сам и приглашал своих друзей, среди которых был Либаков.

К одному из таких вечеров я и Борис Мескатинов подготовили отрывок из пьесы Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Сыграли его легко, с упоением, нам долго и дружно аплодировали. Правда, старшие студийки Кравчуновская и Богословская сказали мне: «Вы нам очень понравились, хотя, наверное, такие роли вам не суждено будет играть». Почему, они не сказали, а спросить я, как всегда, не решилась. Вечер окончился. Я уселась на любимое место в конце зала, смотрела на сцену, переживала свой успех и обдумывала слова старших студийек.

Подошел Либаков, стал говорить комплименты, а потом читал стихи Блока — на приглушенном звуке, монотонно, скучно! Либакова я побаивалась, а его недвусмысленное внимание было мне неприятно. Я тогда переживала свою первую любовь, хранила ее в себе как тайну, и никто другой для меня не существовал. Малейшее ухаживание за собой я отвергала.

В зал вошел Михаил Александрович и, увидев нас вдвоем, сказал: «Вот замечательная пара!» А Либаков с того дня заметно зачастил к Чехову, но меня не заставлял, так как я, завидя его, убегала из Студии.

Как-то вечером меня позвали к телефону. Позвонил из театра Михаил Александрович. Я перепугалась. «Свинарочка, немедленно приходи ко мне в гримировочную». Я даже не осмелилась спросить за чем. Прибегаю в театр. В антракте прихожу в гримировочную Чехова и вижу за спиной Михаила Александровича — Либакова. Я остолбенела. А Михаил Александрович торжественно заявил: «Я решил вас поженить! Вы великолепная пара. Что скажешь, Свинарочка?» «Нет! Нет! Нет!» — в ужасе вскрикнула я, разревелась и выбежала из театра. Ни разу, ни намеком, ни одним словом не напоминал мне Михаил Александрович об этом случае с Либаковым.

Хочу рассказать эпизод, связанный с моею жизнью у Михаила Александровича.

В Студии он приютил не только меня, но и такого же бездомного Бориса Бибикова (впоследствии профессора ГИТИСа), которого он называл Бибом. Бибиков ночевал в студийном зале, приходил на ночь поздно. Когда он звонил, я всегда открывала ему входную дверь.

Однажды вечером я услышала звонок, зажгла свет и в одной ночной рубашке побежала открывать Борису дверь. «Борис, это вы?» —

спросила я. «Да, да, я!» — услышала в ответ. «Дайте мне уйти, не входите сразу» — и, повернув ключ, отправилась к себе в кабинет. Но как-то был мой ужас, когда через несколько секунд дверь открылась, и на пороге оказался совершенно незнакомый мужчина, огромного роста, с горящими глазами и черными торчащими усами. Он заплетаясь языком произносил: «Сказка моя!» и протягивал ко мне руки, пытаюсь обнять. Не помня себя от страха, я как-то сумела выскочить из-под его рук и опрометью бросилась на половину Михаила Александровича. Вся семья сидела за ужином и страшно всполошилась, а особенно Михаил Александрович. Он схватил половую щетку и, возглавив «боевой отряд» домочадцев, двинулся спасать меня от непрошеного гостя. Но по мере приближения к кабинету Михаил Александрович все отступал назад, пока совсем не спрятался за наши спины. Потрясающей щеткой, он как-то странно взвизгивал: «Вон! Вон! Вон!». . . Когда мы вошли в кабинет, то увидели такую картину: усатый незнакомец в одном нижнем белье сидел на моих простынях и глупо смеялся. Муж родственницы Чехова, бывший военный, не растерялся и предложил мужчине покинуть кабинет. Единственный храбрец вытолкнул его на лестницу и там задержался. А мы отправились в столовую, взволнованные происшедшим. Когда наш спаситель вернулся — выяснилось, что этот черноусый тип в сильном подпитии ошибся этажом. Мы развеселились. Ксения Карловна мягко подсмеивалась над «храбростью» своего мужа. Милый, дорогой Михаил Александрович! Он сидел смущенный, по-детски трогательный и беспомощный от сознания собственной вины. Какой вины? Страх — вот чувство, которое часто его преследовало. . . даже в этой, почти комической ситуации. . . Но вдруг лицо его изменилось, в глазах загорелся такой знакомый мне смешливый чертик! Михаил Александрович стал хохотать, и, указывая на меня, пролепетал сквозь смех: «Вы посмотрите на Свиначку — она в одной ночной рубашке!» Тут только я спохватилась, что в суматохе ничего на себя не накинула, и побежала из столовой под общий хохот.

После сдачи «Ревизора» Михаил Александрович стал усиленно готовиться со старшими студийцами к показу «Первого винокура» и даже сам помогал художнику оформить спектакль. Решал он эту сказку как лубок. Костюмы, сшитые из туго накрахмаленной рогожки, были разрисованы орнаментом. В круглой комнате Михаил Александрович показывал мне и Оле Ефимовой, которых выбрал своими помощницами, как лепить лапти из папье-маше.

Я плохо помню весь спектакль. Главные роли в нем исполняли Громов и Макаревская. В сцене в аду запомнилась маленькая, юркая Кравчуновская — потешный чертенок, сидевший на спине у старшего черта, которого играл Фрид. Очень смешной была Зочка Бажанова в роли девочки лет десяти. В сарафанчике, с торчащей сзади косичкой, она выбегала на сцену, уморительно всплескивала ручонками и восклицала испуганно, но с каким-то юморчиком: «Ой, сколько вас много!» Ефимовой и мне достались маленькие роли в массовых сценах. Мы были деревенскими девчатами, несли на плечах коромысла и пели старинную русскую песню «Со вьюном я иду, я не знаю, куда вьюн мне положить. . .» Каждому надо было придумать свою интересную характерность в массовке. Я нашла для себя характер девки-кокетки: правой рукой с оттопыренными пальцами держала краешек сарафана и с важным видом смотрела на своего ухажера, проходя с ним в деревенской кадрили. . .

Вот, пожалуй, и все, что я запомнила об этом спектакле. За него Студии присвоили звание Академической, но сыгран он был раза два-три, не более.

Старшие студийцы надеялись, что присвоение Студии звания Академической и успех спектакля вдохновят Михаила Александровича. Но

спектаклем своим он остался недоволен, совсем остыл к Студии, большую часть времени отдавал работе в 1-й Студии. А уж к нам, младшим, и вовсе потерял интерес, так как мы тогда были порядочными несмышленишками и он не мог проводить с нами свои сценические эксперименты. Охладел он и к идее создать театр сказки и фантастики.

Студию лихорадило. Многие студийцы от нас ушли. Оставшиеся всеми силами старались сохранить ее, уберечь. А Михаил Александрович окончательно отказался от руководства.

Попробовали объединиться со Студией молодых мастеров под руководством Певцова, но очень скоро стало ясно, что у этих двух студий разные пути. Раз в месяц Станиславский встречался с учащимися «Габимы», Вахтанговской, Чеховской и Армянской студий, проводил с ними занятия (нас, младших, туда не допускали и, как правило, упрекал студийцев в недостаточной пластичности и речевых недоработках. Поэтому в Студии были введены занятия для всех: по движению и пластике с Румневым, по дикции с Юзвической. Постановкой голоса с нами занималась Сарычева. Но все это велось несистематично, а затем и вообще прекратилось.

Уже приближалась весна. Михаил Александрович, как и в прошлом году, заглядывал в кабинет, грелся около печки. Однажды он пришел взволнованный и даже сердитый. «Они все пошли на просмотр «Великодушного рогоносца» к Мейерхольду! Ведь это же профанация искусства (его подлинные слова — З. С.). Зачем я их воспитывал?» — задыхаясь, говорил он. «Я запрещаю тебе идти туда!» Я, конечно, не пошла. И потом так и не посмотрела этот спектакль, очень шумевший в Москве, во многом благодаря превосходной игре Бабановой и Ильинского.

А то как-то пришел печальный, угрюмый, видимо, очень страдающий. Даже не поздоровался со мной. Печка горела, и он молча разгребал угли. Я не выдержала и спросила его: «Михаил Александрович, что-нибудь случилось?» Он взял мою руку и молчал. А потом сказал: «Заставили меня играть в антирелигиозной пьесе этой сумасшедшей Бромлей — «Архангел Михаил». Не хочу, не могу играть эту роль!» (Спектакль так и не вышел, его запретили. Но мы были на генеральной репетиции, и опять Чехов нас потряс). Мне, конечно, очень хотелось поговорить с ним о нашей Студии, но я этого не могла сделать, не решалась, да и вообще не заговаривала с ним на серьезные темы.

А положение в Студии становилось все более безнадежным. Как последнее средство сохранить ее — была предпринята постановка «Тартюфа». Спектакль, однако, успеха не имел, прошел где-то в клубах несколько раз и на том закончил свое существование. А с ним закончилось и существование Чеховской Студии.

Как раз к этому грустному финалу, который мы все тяжело переживали, приехал из Ярославля Владимир Платонович Кожич и по поручению Алексея Дмитриевича Попова, ушедшего в то время из МХАТа, отбирал молодых актеров для его нового театра. Меня, Олю Ефимову, Мескатинова, Поселянина и Громова пригласили к Попову в Ярославль. По решению худсовета все имущество Студии, включая костюмы «Тартюфа», было передано нам по наследству.

Из Москвы мне уезжать не хотелось, но уехать надо было из-за моих чисто личных обстоятельств. Когда я сказала Михаилу Александровичу, что уезжаю к Попову, он не одобрил моего решения. «Ярославль — провинция. Подожди немного, я для тебя что-нибудь придумаю». Я поблагодарила его, но твердо ответила, что должна уехать. Михаил Александрович помолчал и немного обиженно сказал: «Тебе виднее!» И ушел из кабинета.

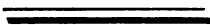
Через четыре года я приехала в Москву. Мне очень хотелось встретиться с Чеховым. Я позвонила ему, и он пригласил меня на

спектакль «Петербург» Андрея Белого, где играл Аблеухова. Попросил зайти к нему в антракте. 1-я Студия уже называлась МХТ-2 и помещалась в здании теперешнего Детского, а когда-то Незлобинского театра. В антракте я вошла в гримировочную Михаила Александровича. Он поднялся мне навстречу, усадил рядом с собой. «Как вы живете в театре?» — спросил, теперь уже на «вы». Я ответила: «Живу не так, как хотелось бы» — и... полились слезы. Михаил Александрович тяжело вздохнул и с грустью сказал: «И я живу не так, как хотелось бы». Разговор наш не клеился. Я не смела его задерживать. Он крепко пожал мне руку. Я ушла и с тех пор никогда больше не видела Михаила Александровича Чехова...

За два года в Чеховской Студии я познакомилась с системой Станиславского под контролем Чехова! Два года я жила в атмосфере искусства, расширила свой кругозор, обогатила свой духовный мир — у меня как бы открылись клапаны, которые были закрыты до тех пор. Я стала воспринимать сложнее и глубже искусство и жизнь, приобрела требовательность и вкус, впитала в себя много добрых мыслей и чувств. Два года я была вблизи гениального актера и оригинальнейшего человека — Михаила Александровича Чехова, который относился ко мне с симпатией и участием!

И это — на всю жизнь.

г. Минск, 1981



Александр Кустарев

ИСПОЛНИТЕЛИ

По Правилам безопасности (неписаным) при публикации материала — «как бритва обоюдоострого» — принято предупреждать читателей: редакция, дескать, с некоторыми положениями (оценками) автора не согласна. Каюсь, в случае с Александром Кустаревым и нам хотелось бы прикрыться фиговым листком, поскольку наперед знаю, какой будет реакция подавляющего большинства на «Исполнителей»: гнев, недоумение, «лепет оправданья». Да и был бы сей лист не таким уж и фиговым... Но не прикроюсь, и вот по каким причинам.

Во-первых, потому, что за всю мою жизнь не довелось, увы, увидеть в лицо того, с кем бы «полностью согласилась». Во-вторых, потому, что количество «протестантов», в одиночку восстающих «против мнений света» — и всегда-то невеликое, — сокращается с ужасающей быстротой, а А. Кустарев, к его счастью-несчастью, как раз из этого вымирающего, исчезающего рода. И наконец, потому, что автор «Исполнителей», при всей его внешней лихости, а местами он, точно, не только смел, но и лих — «зачем ты лих?» — обнажает самую суть нынешней литературной ситуации, ее, так сказать, «сокрытый движитель»: не борьба правых и левых сил, а роковой — поскольку не обещает окончательной победы ни одной из противоборствующих сторон — поединок Слова и Слова: Слово — как товар; Слово — как знак, в том числе и знак личного достоинства, Слово — как художественное произведение.

Итак, мы решили оставить на совести автора лихость его оценок. Однако кое-какие соображения в связи с тем, о чем А. Кустарев либо промолчал, либо выразился слишком уж бегло, считаю все-таки нужным высказать.

Прежде всего, не совсем понятно, почему список тех, кто и в эмиграции греб против течения, вышел у А. Кустарева таким коротеньким. И почему там не оказалось, скажем, Бориса Парамонова, Андрея Синявского, Бориса Хазанова, Бахыта Кенжеева, Юрия Кашкарева? (Называю только тех, чьи фигуры, по причине их крупности, и нам отсюда давно и хорошо видны.)

Не ясно также, где, по А. Кустареву, пролегает граница, разделяющая истинное подполье и фрондирующий «салон», первых мучеников-диссидентов и «перебежчиков из истэблшмента»? Если вторые — перебежчики — это те, кто сумел добиться «стандартных» благ, то ни Вл. Максимов, ни Вл. Войнович, ни даже Вас. Аксенов (поры «Ожога» и «Железки») к ним не относятся, не говоря уж о С. Довлатове...

И вот еще что. Да, антисоветизм — тема-позиция-идея фикс — исчерпал себя. Но ведь было время, когда он был не только ходовым

товаром и знаком принадлежности к определенной касте, но и мукой, примиряющей и объединяющей все стили и все вкусы.

Больше того: диссиденты, в том числе и диссидентствующие ту-совки-салоны, по сути дела всего лишь открыто называли по имени то, что скрытно происходило во всей империи — и по горизонтали, и по вертикали. Лев Тимофеев (в недавней статье в «Известиях») формулирует так: «... Всеобщее, всенародное, поголовное неприятие самих законов, самой коммунистической доктрины, многолетнюю борьбу народа за выживание, — борьбу, в ходе которой здравый смысл и народная экономическая традиция на свой лад переиначивают, ломают или вовсе отвергают коммунистические доктринальные порядки.

В полной мере этот процесс охватил и структуры власти».

В этом заединстве верха и низа, в общем их нехотении жить по-старому и заключается существенное отличие последней русской революции от предшествовавших реввозмущений.

Разумеется, рядовые диссиденты, и явные, и скрытые, об этом как бы и не догадывались, искренне полагая, что Система, как Брестская крепость, будет стоять до последнего патрона и что только их голоса способны поколебать крепостные стены, хотя, как утверждает тот же Лев Тимофеев, мысль, что империя капитализируется с головы, — высказывалась в серьезной подпольной публицистике.

Что же касается оппозиционных столичных салонов, не вызывающих у А. Кустарева никаких чувств, кроме иронии, то позволю себе одну историческую аналогию — ссылку на «Черную книжку» Зинаиды Гиппиус, хозяйки самого модного в предреволюционном Петербурге литературного салона. Во что писала «декадентская Мадонна», объясняя чрезмерную заполитизированность своих Дневников 1914-1919 гг.: «Разделения на профессиональные круги в Петербурге почти не было. Деятели самых различных поприщ — ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, — все они так или иначе оказывались причастными политике. Политика — условия самодержавного режима — была нашим первым жизненным интересом, ибо каждый русский культурный человек, с какой бы стороны он ни подходил к жизни, — и хотел того или не хотел — непременно сталкивался с политическим вопросом».

Да, сегодня мы в большинстве и как-то вдруг, разом, сильно охладели к политическим вопросам; борьбу народа за выживание могучий инстинкт самосохранения сдвинул в иное измерение. Но это уже иной сюжет, в отношении которого мне нечего добавить к тому, о чем, применительно к рынку культуры, — размышляет автор «Исполнителей».

Алла Марченко

Andre Zeiten, andre Vögel!
Andre Vögel, andre Zieder!
Sie gefielen mir vielleicht,
Wenn ich andre Ohren mätel!

Hiene*

Считается: гласность изменила вкус, цвет и запах российской словесности, мотивы литературной деятельности и даже способы «живописного соображения». Однако — на самом-то деле — и этот новый

* Век другой, другие птицы,
А у птиц другие песни.
Я б их, может быть, любил,
Если б мне другие уши!

Г. Гейне (пер. В. Левика)

ландшафт, и новый «климатический стиль» стали складываться задолго до «перестройки», в середине 70-х. И когда некоторое время спустя за рубежом оказалась достаточно большая и крайне активная литературная масса, выяснилось: переменился и тип литератора, и преобладающий тон вербального поведения.

В культурном отношении это очень любопытное — многозначное и многозначительное — явление, в некотором роде прообраз (или репетиция) тех трансформаций, какие происходят ныне в культурных слоях постимперского русского общества; поэтому-то мне и захотелось всмотреться в него повнимательней.

Начну с первых впечатлений. Попав за рубеж (в самом конце 1981-го), я, как и все новоприбывшие, накинулся на вольную русскоязычную прессу. Глотал все подряд — газеты, книги, журналы, нью-йоркские, тель-авивские и т. д. и т. п. — и пару месяцев «имел кайф»: было приятно увидеть набранными типографским шрифтом слова, известные мне лишь в устном исполнении. . .

Затем, переместившись в Калифорнию, я познакомился с начинающим бизнесменом, задумавшим издавать реферативный журнальчик русских зарубежных публикаций, и, будучи энтузиастом реферативного дела, с удовольствием примкнул к нему. Не бескорыстно, каюсь, — в надежде на «дополнительную кормушку».

Короче, случилось так, что в течение полутора лет мне пришлось читать и систематизировать практически все, что публиковалось по-русски за границей; разумеется, я продолжал следить за русскими публикациями и позже. (Останавливаюсь на этих биографических подробностях для того только, чтобы иметь право сказать: и мои наблюдения, и выведенные из них обобщения основаны на детальном знакомстве с тем, что я называю «самодокументацией оппозиционной русской субкультуры».)

Об этой субкультуре и пойдет речь, и говорить о ней я буду «огоульно», но так как читателям, как правило, скучно «без имен», назову несколько фигур первого ранга — Максимов, Войнович, Аксенов, Коротич; прибавлю, пожалуй, еще три — помельче и поглуше: Восленский, Шляпентох, Зубов. . . Но дело, подчеркиваю и настаиваю, не в личностях, ибо меня интересует не тот или иной — конкретный автор, а тип среднего литератора-эмигранта, рядовое действующее лицо в трагикомедии «Третья волна».

Помните бородатый режимный анекдот? Приехал советский товарищ за границу. Зашел в пивную. Подбегает человек. Советский просит кружку пива и коммунистическую газету. Человек приволок кружку, а про коммунистическую газету говорит: не держим.

Товарищ кивнул, выпил и опять заказывает: кружку пива и коммунистическую газету. Человек повторяет: коммунистической газеты не держим.

И так еще несколько раз. Наконец официант не выдержал: коммунистической газеты не держим, сколько можно это повторять?

И тогда товарищ, как и следовало ожидать, мечтательно пропел: а вы повторяйте, повторяйте. . .

И повторяем, повторяем. . . Советская власть бяка и бука. . . Ленин сифилитик и гангстер. . . Тоталитаризм. . . Империя зла. . . Партийные — непорядочные, а мы — порядочные. . .

Повторяйте. . . повторяйте. . . Для Вас, господа, для нас, господа. Для самих себя — господ, поскольку тут у нас, за бугром, — самообслуживание, и роли официанта и клиента сплошь и рядом исполняет один и тот же актер.

Итак, реферируя (в 1982—1983 гг.) литературную продукцию русской диаспоры, я опознал уже знакомый мне интеллигентский фольк-

лорный набор «тем и рифм», который начал складываться в некую предсистему уже в конце 50-х.

Но почему я так раздраженно все это комментирую? Неужели не понимаю, что регулярная, или, как говорят в России, текущая, словесность невозможна без тиражирования общих мест — языковых, эмоциональных, политических? И что эта ориентация на общее всем, эта заклиншированность необходимы?

Ведь ежели, к примеру, лондонская «Индепендент», которую я по служебной надобности читаю ежедневно, — начнет экспериментировать и опубликует «сегодня» или «завтра» нечто решительно не похожее на вчерашнее, я ее читать не смогу, технически не смогу, поскольку должен осилить ее за четверть часа, во время завтрака. И ежели мне попадутся материалы, плохо распознаваемые, с элементом новизны, я просто-напросто через них не продерусь.

А коли так, что же тогда дурного в том, что русское зарубежье в течение двадцати лет, покорное общему закону, тиражировало хорошо-расознаваемые «чувства и мысли»?

А вот что: в «Индепендент» клише воспроизводятся бесстрастно и без претензии на оригинальность, а в русской вольной прессе они произносятся с харизматическим пафосом: гоня, по сути дел, «массовку», авторы ведут себя так, словно они — Томасы Манны или Цветаевы.

Это — во-первых. Во-вторых: воспроизводство интеллектуальных банальностей — дело газет, а действующие лица русского литературного зарубежья работали не для газет. По всем параметрам (тема, формат, стиль) они ориентировались на традицию «толстых журналов». А публикуемое в толстых журналах, согласно русской иерархии, имеет другой статус: предполагается, что толсто-журнальная литература более высокого разряда, или, как принято говорить в России, — «настоящая литература».

Скажем, романы Войновича или Максимова. Критика неизменно преподносила их публике «всерьез», этим отчасти, убежден, и объясняется их популярность. Публика ведь тоже приучена почитать только «настоящее»; без справки от «экспертов» она и внимания к автору не проявит, и хвалить его побойтся.

Нет-нет, я не упрекаю эмигрантскую литературу в циничной само-рекламе. Если б было так просто, то и думать о ней было бы неинтересно. Интерес именно в том, что активные агенты этой литературы (включая активных читателей), переживая свою значительность как подлинную, были вполне искренни и сами не понимали, что происходит.

Антисоветский культурный набор зафольклоризировался и заклиншировался еще в подполье. И если бы не заклиншировался, не выжил бы в том виде, в каком выжил, поскольку для хранения устной информации нужна масса хранителей, а масса запоминает и передает только клише; клише же нужна репутация: непрестижное сообщение никто повторять не будет.

Вот так, по велению и хотению исторических обстоятельств, и возник тип литературного поведения, для которого характерно сочетание элитарной позы с элементарностью языка, бедностью фактуры и содержания.

«Аристократический апломб» и важничание при повторении общих мест предполагает уверенность произносящего их в том, что он произносит нечто ведомое ему одному и, следовательно, вполне оригинален.

В науке это называется неотрефлексированным тривиальным фольклором. На простом же языке ему, думаю, соответствует понятие

«пошлость» (пошляк не тот, кто говорит общеизвестное, а тот, кто говорит это с видом оригинала).

Но зачем было зарубежным русским «истэблшменам» присваивать туземный фольклор оппозиционного подполья? На этом «зачем» у меня есть два ответных предположения.

Первое. Русские литераторы оказались пленниками той функциональной роли, какая была им отведена на западных литературных рынках. Амплуа это выглядело примерно так. Русский писатель: жертва властей. От него ждут: «мрачной правды» о советском режиме. Он должен быть: моралистом.

Второе. Привязанность «постпредов» великой литдержавы за рубежом к туземному фольклору была следствием их непроходимого провинциализма, в самом универсальном смысле этого слова, то есть полной погруженности в «свое» и почти патологического безразличия к «чужому».

Во всем, что производилось русской диаспорой, независимо от качества выделки и функционального назначения, легко и сразу узнавалась прародина, то есть культура самиздатовского салона 60-х годов, самозащитно уверенная в том, что на Западе ничего заслуживающего ее внимания уже не существует. Это изначальное убеждение при перемещении салона на Запад и «подтвердилось», и затвердело, ибо и быт, и бытие Запада оказались куда более «социалистическими», чем предполагало русское подполье 60-х годов. Однако вместо того, чтобы заинтересоваться, почему это так, стандартный русский эмигрант проникся еще большим презрением к Западу. Ухватившись за мелодраматическую формулу: «мы не в изгнание, мы в послание», быстренько убедил себя в том, что его задача — просвещать Запад, а не просвещаться самому. За десять лет жизни на Западе я не услышал ни от одного российского человека и не увидел ни в одной русской публикации имя Джона Мейнарда Кейнса. Хотя именно Кейнс был ключевой фигурой в процессе оформления того общества, куда, отсеенная ситом ОВИРа, «элита» попала. И то, что ее в западном обществе так восторгалось (потребительский рай), и то, что ее так возмущало (высокие налоги и социализм), имеет прямое отношение к Кейнсу. Прожить 10—20 лет на Западе и не заметить Кейнса и кейнсианства — это все равно что жить в России в 60-х годах и не заметить Хрущева...

Кстати, это можно было сделать еще и в СССР, ибо главные работы Кейнса были переведены на русский язык в середине 70-х. Почему их не комментировала (не пережевывала) русская общественность, надеюсь, понятно. Но ведь ее элитарному ответвлению за рубежом было вольно делать все, что уму угодно? А оно даже в справочник не заглянуло...

И еще один пример. Как-то раз, просматривая коллекцию журналов «Время и мы», лежащую штабелями в квартире одного моего американского приятеля, и пролистав впустую штук пятьдесят, — я таки наткнулся на интересное. Это была глава из книги Якова Тальмона «Происхождение тоталитарной демократии». По логике вещей и этот автор, и эта его работа имели шанс стать популярными, но... Камень брошен в воду, а вода не шелохнулась. Почему? Да потому, что переводчик Тальмона выбирал понаслышке: имя было известно в университетских кругах Израиля — пишет, мол, что-то такое «про тоталитаризм», а слово это — ТОТАЛИТАРИЗМ — словно змея, заморозило советскую интеллигенцию. Вот журнал и подбросил Тальмона как полено в яркий, но холодный костер стандартных разглагольствований «про тоталитаризм».

Между тем, Тальмон предложил нестандартную, парадоксальную концепцию тоталитарной демократии, куда более сложную, чем облюбованный журналистами «тоталитаризм», неудобным образом соединя-

ющую в одном понятии «хорошо» и «плохо». Но интеллектуальная элита не выносит парадоксов, противоречий и вообще — непонятного. Ее самосознание стремится к комфорту очевидного. Зачем ему умники вроде Тальмона?

Похожая судьба постигла и Ханну Арендт. Ее имя привязали все к тому же пресловутому тоталитаризму. Поэтому в потребительскую корзину средне-русского эмигранта Ханна Арендт попала, но, увы, только для того, чтобы превратиться в пусто-престижный знак, в интеллектуальный шиболет. Все богатство ее мысли было успешно проигнорировано. Даже любимцы умствующей русской эмиграции Милтон Фридман и Фридрих Хайек, которых принято считать наиболее последовательными идеологами капитализма, русской публицистикой стерилизованы и превращены в догматиков...

Как всякий экстремальный провинциализм, провинциализм русской зарубежной интеллектуальной общины убежден в своей столичности. Подобно присноизвестной мадам Соловейчик из Жмеринки, он искренне, почти наивно полагает: в десяти верстах от нее начинается пустыня.

Для проживающей в «парижах» и «нью-йорках» русской интеллигентской «жмеринки» даже Москва — пустыня. Увезя из нее все бывшее там «на слуху» 30—20 лет назад, она «позабыла», что подобрала свою премудрость в подпольных салонах. Москва продолжала трудиться, рождалась свежие идеи, худо-бедно, но шло освоение интеллектуальных накоплений Запада. Эмигрантский же истеблишмент продолжал вариться в собственном соку.

Когда же вскормленные и взлелеянные в совсем других коридорах «гласность» и «перестройка» вышли на открытый воздух, эмигрантский салон растерялся. Во-первых, сценарий этого не предполагал. Во-вторых, отпала надобность в героизме. В-третьих, вполне обнаружилось: общие думы — это общие думы, а те, кто вещал общие думы как свои, лишились монополии и патента на оригинальность.

И вот еще что надо отметить. Для прозы и публицистики русского зарубежья характерна удивительная сосредоточенность авторов на своем личном опыте. Они верят в чрезвычайную значительность своего опыта и пытаются внушить это другим. Забавно и парадоксально, что этот опыт чаще всего и в самом деле может претендовать на значительность в силу своей стереотипности. Но никто не хочет считать свой опыт стереотипным; все хотят быть уникальными.

Когда я приехал на Запад, я обнаружил в печати великое множество такой документалистики или прозы, автобиографический характер которой лежал на поверхности. Как видно, для авторов самым важным было — показать, что все это произошло с ними.

Если человек занят исключительно тем, что тиражирует общее всем, то такая литературная работа вполне может быть названа «исполнительством».

В музыке фигуры композитора и исполнителя соперничали уже давно. Но в прошлом веке на сцену вышел исполнитель — каким мы его знаем теперь — и постепенно, в глазах публики, почти заслонил фигуру композитора.

Теперь почти то же самое происходит в литературе.

В литературе это даже легче сделать, чем в музыкальной практике. Какими бы большими буквами ни писали на афишах имя Яши Хейфеца и какими бы маленькими ни писали имена Моцарта и Брамса, последних двух все же не удастся полностью вытеснить из поля зрения потребителя. В литературе же такое вполне возможно, поскольку исполняется не какой-то конкретный образец, а литература вообще, поэзия вообще; критики в таких случаях говорят о «подделке». Они

легко разоблачают фальшивомонетчиков мелкого калибра, но не отдадут себе отчета, что подобное имеет место и на вершинах литературы. Исполнители высокого класса так умело создают свой (биографический и словесный) имидж, что их трудно отличить от творцов.

Общеизвестно: связывая себя с теми или иными идеями и фактами, писатель характеризует себя так же, как человек толпы — с помощью одежды. Это своего рода литературный перформанс, главная цель которого — обозначить себя как носителя определенной «информационной одежды».

В обществе же всегда циркулируют наборы идей и примыкающих к ним культурных знаков (шиболетов). Они действуют как знаки достоинства.

Одним из главных атрибутов личности, претендующей на духовный аристократизм, еще недавно был антисоветизм. Эту позу демонстративно выбирали почти все, действуя по готовой железной формуле: ежели автор — талантлив, он обязательно пишет что-нибудь антисоветское.

Эта формула только теперь стала ржаветь, поскольку всякий мало-мальски чуткий человек начал подозревать, что антисоветизм инфляционируется. В условиях гласности русские издания оказались битком набитыми антисоветизмом и антисоциализмом. Если так и дальше пойдет, то в скором будущем можно ожидать лавинообразного перехода общественного мнения; по неизбежности обратного толчка, к советизму. Со всеми вытекающими отсель последствиями...

Демонстрация таланта — основное содержание салонной жизни, так как в салоне собираются (или созываются) люди, чье главное достояние — предполагаемый талант. Богатых (хозяева салона) «таланты» (бедные) развлекают, а друг друга утешают, поскольку считается, и это тоже формула, что дар ставит бедного выше богатого. В советских условиях экзальтированное отношение к дароносителям было явлением массовым, поскольку предполагалось, что советская власть враждебна таланту. Масса претендентов оказалась, таким образом, втянута в перманентный спектакль и пребывала в заблуждении насчет собственной талантливости.

Но заблуждение насчет собственного таланта — вещь сравнительно безобидная. Куда коварнее ложная социальная самоидентификация, потому что язык писателя и есть его «шкура»; «шкура», естественно, особого рода, поскольку она же и «нутро», — разумеется, если оно, нутро, есть. Однако шанс сохранить это «нутро» у писателя тем меньше, чем больше его тянет напялить на себя уже готовые, чьи-то, социально легко опознаваемые, а главное — престижные одежды. Но подлинное социальное нутро неустранимо, и оно конфликтует с напяленной шкурой.

Это значит, что подлинный, «урожденный» язык такого писателя-«исполнителя» хаотично комбинируется с тем языком, точнее, элементами того языка, который он хочет присвоить.

Этот характерный показушный стиль и этот тип литературного поведения сложились в 60-х и 70-х годах, когда легальные литераторы отработывали сигнальный язык, позволяющий продемонстрировать социальному заказчику (не властям, нет, другому заказчику!), что они не какие-нибудь Бабаевские, Бубенновы и Кочетовы; в эмиграции тип этот оказался господствующим; господство было обеспечено еще и тем, что активные литературные исполнители прибыли за границу не все сразу. Они прибывали волна за волной, и каждая новая волна приносила новых «аристократов духа». Они привозили с собой «писанное в стол», не подозревая, что из других столов уже извлечены точно такие же сокровища.

Вырваться из этой ловушки нелегко, поскольку речь идет о литературной норме, в сохранении которой заинтересован (если угодно, материально) не только исполнительский истеблишмент, но и его социальный заказчик, остро нуждающийся в социальной лестнице, особенно в условиях убогого материального состояния.

Во избежание недоразумений напоминаю, что все мои выводы носят принципиально «огульный» характер, что я хотел уловить лишь самую общую тенденцию литературного процесса за рубежом, самое характерное и многозначительное в культурном и социальном отношении. Всякая же обобщенная картина грешит упрощениями, иногда довольно серьезными. На эти упрощения я пошел с легким сердцем, поскольку (честно сознаюсь), меня больше занимает литература в целом, нежели отдельные авторы. Я понимаю, однако, что у многих такой подход вызовет раздражение, особенно у тех, кто считает, что литература — это только ее вершины, а все остальное — неинтересно. Поэтому добавлю к своим рассуждениям о литературной массе несколько замечаний о «вершинах».

Согласно существующей табели о рангах, высшая точка русской литературы в эмиграции — Солженицын. Это робко признавали даже те, кто его, по разным причинам, терпеть не может.

Солженицын, конечно, стоит в стороне от тенденций, которые я обозначил как преобладающие. Прежде всего, он — настоящая личность, а не актер на площади. Он доказал это своей биографией, грандиозностью замыслов и, между прочим, очень характерными нападками на тех, кого так неудачно назвал «образованщиной». Его моралистический пафос намного серьезнее, чем патетический морализм тех, кто исповедует морализм потому, что это популярно. Он не плывет в потоке стандартного ролевого антисоветизма — он сам мощно гонит волну. Его война с советской властью напоминала единоборство титанов, и он, пожалуй, единственный, кто имеет право считать себя победителем.

Все это придает его огромному литературному труду монументальность, хотя, быть может, несколько избыточную и даже, в силу этого, слегка карикатурную. В любом случае, Солженицын стоит особняком.

Но даже у него можно найти то, о чем я толкую. Уже притчей во языцех стало его вымученное словотворчество, причудливая и неудобочитаемая фразеология. Эти элементы его стиля вызывают или веселый смех, или злорадные издевательства. Но спросим себя: откуда это и зачем?

Можно предполагать, что Солженицын таким образом инстинктивно защищается от соседства с серой антисоветской жвачкой. Его стилистические эскапады носят полемический характер (стиль в руках сознательного писателя вообще полемичен, о чем, к сожалению, редко пишут критики). При этом Солженицын ведет полемику на два фронта: с виртуозами исполнительского антисоветизма и со старым добрым соцреализмом, от которого его романы были бы неотличимы, если бы не этот стилистический налет.

Как видим, настоящей личности нелегко. Про Солженицына можно сказать словами Генриха Гейне: *Kein Talent, doch ein Charakter**.

Когда стандартные исполнители муслируют свою воображаемую нестандартность, отличаться от них трудно: тут мало силы характера; нужно еще и специфическое дарование (или хорошая тренировка), делающее человека чувствительным к смысловым ресурсам разных литературных техник. Солженицын же не нашел адекватной техники: придуманные им языковые трюки скорее сближают его с теми, от кого

* Нет таланта, но есть характер (нем.).

он так настойчиво хочет отмежеваться. В бочку величия попадает, таким образом, ложка суетности.

Второй автор, конкурирующий с Солженицыным по частоте упоминаний, — это Бродский. Про него, поменяв местами те же слова Генриха Гейне, можно сказать: Ein Talent, doch kein Charakter*. В отличие от Солженицына, Бродский полностью принадлежит литературе, о которой мы говорим. Благодаря незаурядному таланту версификатора и, по-видимому, страстной любви к версификаторству, он — виртуоз исполнительства. Он сочиняет буриме, куда ухитряется втиснуть намеки на все темы стандартных интеллигентских «застольных бесед». Его тексты — своего рода кодификация престижного словаря салонной интеллигенции Ленинграда 60-х годов. Слабость его творчества — это слабость культурной среды, которой он принадлежит. Интеллектуально Бродский чрезвычайно пассивен: заимствуя тему у публики, воспринимая ее на слух, он возвращает ее публике в разукрашенном, но несколько не обогащенном и не развитом виде.

На коротких промежутках (две-четыре строки) Бродский может выглядеть (не совсем без оснований) оригинальным и глубокомысленным, но в сущности он топчется на месте, в лучшем случае предлагая нам длинные коллекции метафорических миниатюр, а то и просто захлебываясь в чисто механических вариациях. Один английский критик сказал по поводу техники Бродского: «беспорядочная груда метафор».

У Бродского характерная интонация: мучительная серьезность все время оттеняется необязательной иронией — на всякий случай, чтобы не обвинили в ходульности. Высокопарность — идет от сердца; ирония — навязана нормой языкового поведения той среды, которая с помощью рутинного и механического иронизирования пытается поднять себя над действительностью.

В общем, Бродский в основном интонационное явление, как и Высоцкий, но, в отличие от популиста Высоцкого, интонация Бродского (собственно, интонация его культурной общины) социально скорее неприятна и стерильна.

Не случайны и его привязанность к слову «элегия», и частые намеки на Баратынского. Бродский помещает себя вне и выше интеллигентской толпы, и это почти смешно, потому что выбранная им позиция фактически ничем не подтверждается.

Еще один писатель, который приобрел почти репутацию классика, — это Зиновьев. На счету Зиновьева одна безусловная удача — «Зияющие высоты». Как общественный поступок начала 70-х годов эта книга сопоставима с «Одним днем Ивана Денисовича». У нее есть и определенные литературные достоинства, хотя в этом отношении она не дотягивает сотни километров до того же «Ивана Денисовича».

Все остальные трактаты, романы и полуроманы Зиновьева как литература бесцветны до такой степени, что бросают тень и на его опус магнум, заставляя нас если не пересмотреть, то скорректировать отношение к «Зияющим высотам». Все же сперва воздадим должное «юношескому» произведению Зиновьева-романиста, потому что, уяснив, в чем его сильные стороны, мы сможем лучше понять, почему его литературные инициативы в дальнейшем оказались столь бесплодными.

Согласно легенде (вполне правдоподобной), Зиновьев писал «Зияющие высоты» в страшной спешке. Каждые десять страниц уносились и прятались в безопасном месте, и больше он их не видел, а стало быть, не редактировал. Другая легенда гласит, что Зиновьев более или менее беспорядочно переносил в книгу заметки из своих записных книжек.

* Есть талант, но нет характера (нем.).

И это тоже похоже на правду, потому что книга очень фольклорна, причем фольклор совершенно не отрефлексирован и не обработан.

Тем не менее это все-таки настоящая литература. Беспорядочность и непомерные размеры «Зияющих высот» доведены до такого абсурда, что неожиданно происходит чудо: вещь приобретает жанровую самобытность; начинает казаться, что хитроумный и технически умудренный автор изобрел прием, адекватный тому, что вертелось у него на уме.

Если бы Зиновьев не стал писать дальше по книге в год, высокая репутация, возможно, закрепилась бы за «Зияющими высотами» навсегда, а ее очевидные недостатки были бы истолкованы как достоинство — слишком уж они были очевидны. Но Зиновьев писал и писал...

Можно предположить, что он остался не совсем доволен «Зияющими высотами», поскольку обстоятельства, как он думал, не позволили ему по-настоящему поработать, и, оказавшись на Западе, решил, что вот теперь-то и напишет роман «как полагается». Однако его представление о том, «как полагается» писать романы, оказались на уровне школьного литкружка, где учили соцреализму.

Арнольд Хаузер, мне кажется, толково и просто разъяснил, как получается плохая литература. В художественном произведении, писал Хаузер, всегда комбинируются элементы, которые изготавливаются бессознательно, и элементы, которые делаются в высшей степени сознательно. Так вот, продолжает Хаузер, плохой автор полагается на интуицию там, где надо быть расчетливым, и рассчитывает там, где надо отдаться на волю чутья. Именно это и происходит с Зиновьевым.

Создав непродуманную смесь социологии и беллетристики, Зиновьев не преуспел в беллетристике и профанировал социологию.

Так обстоит дело на вершинах русской литературы, долгое время существовавшей за рубежом и прославившейся поэтому эмигрантской. Что она представляет собой в общем и в среднем, я уже говорил. Как же так? — спросит удивленный читатель. — Так-таки ничего?

Разумеется, нет. Люди все же не только бились в политической истерике, снимали пенку и торговали собой, не только занимались престижным выступательством и сведением личных счетов. Многие работали и кое-что наработали, но никто на них не обратил внимания. Я называю некоторых по своему выбору и объясню, почему я думаю, что они кое-что для нас сделали.

Марк Гиршин написал роман «Брайтон Бич» о жизни русско-еврейской общины в Нью-Йорке. До этого он опубликовал другую прозу, написанную, в сущности, так, как полагается писать среднему эмигрантскому автору, каким я его изобразил. Резкая перемена стиля в «Брайтон Бич» свидетельствует о незаурядной технической сознательности и тематической гибкости Гиршина. Начав как все, он, так сказать, «исправился». Книга Гиршина, я боюсь, единственная из написанных на зарубежном материале, читая которую, не чувствуешь фальши и не испытываешь неловкости. И это, я думаю, еще и потому, что автор думал не столько о себе, сколько о тех, кого видел вокруг.

Это особенно бросается в глаза, если сопоставить «Брайтон Бич» с «Иностранкой» Довлатова. «Иностранка» — бледная тень «Брайтон Бич» (не имеет значения, которая была написана раньше). Отмечу, однако, что в одном газетном эпизоде именно Довлатов защищал Гиршина от нападок русских нью-йоркцев, которые сочли, что Гиршин их оклеветал. Обиженные, естественно, называли Гиршина графоманом и попали, конечно, пальцем в небо. Вина Гиршина на самом деле была в том, что он им не польстил. Довлатов же льстит всем — отсюда его популярность.

Хочу вспомнить и Николая Бокова. Боков начал в эмиграции, очень

давно, пытаюсь собрать вокруг своего журнала «Ковчег» свежие силы, не желавшие участвовать в хоровом перформансе литкружковских эстрадных площадок. Журнал долго не просуществовал, но Боков успел опубликовать в нем свои «Приключения Вани Чмотанова» — травестию советской ленинианы. Замысел не Бог вещь какой оригинальный, но на фоне уныло-однообразной антиленинианы книжка Бокова выглядела достаточно зрелой.

К сожалению, Боков оказался не боец и перестал писать, во всяком случае публиковаться. Истэблшмент его задавил.

Я не думаю, что Боков так уж сильно отличался от среднего писателя-интеллигента 70—80-х годов по своему психическому складу. Он тоже, как и все мы, был сильно персонцентричен: сам образ жизни в России толкал к сосредоточенности на самом себе и своей участи. Но Боков оказался чуть ли не единственным, кто почувствовал этот сюрэгоизм как тему, что и превращает его из носителя сырой фактуры в человека, как-то к этой фактуре относящегося, то есть в настоящего писателя, как я это понимаю.

Еще один писатель, извлекий из своего эгоцентризма серьезный литературный эффект, — это Игорь Померанцев. Он обязан своей удачей прежде всего тому, что не стал заниматься морально-политическими причитаниями. Он ни на кого не набрасывается, никому не мстит и не изображает себя жертвой. Зато он подтверждает свою языковую индивидуальность — она литературный факт. Проза Померанцева довольно эффективно «подключает» читателя к действительно богатому, хотя и очень центрированному эмоциональному опыту. Это, пожалуй, лирическая проза, некоторая элегичность которой — не социальная поза самоутверждения (как у Бродского), а простое свойство авторского темперамента.

Леонид Гиршович долго трудился над большим романом «Прайс». Только сейчас он начинает его понемногу публиковать. Пока трудно сказать, хорошая ли эта проза. Он был слишком молод, когда начал роман, и, вероятнее всего, там есть сильные реликты того, о чем я говорил. Но более поздние работы Гиршовича позволяют предположить, что уже в «Прайсе» есть и серьезные попытки борьбы с материалом и с самим собой. Последняя его вещь «Обмененные головы» весьма удачно комбинирует элементы личного опыта с очевидной выдумкой. Для нынешней русской литературы это просто подвиг, поскольку требует и психологической зрелости, и интереса к чисто техническим проблемам.

Но еще интереснее беллетристическое эссе Гиршовича «Чародеи со скрипками». Это — об исполнительстве. Гиршович сам опытный и образованный музыкант. Его наблюдения точны и содержательны, интерпретации не поверхностны и красноречиво изложены. Гиршович разрабатывает свежую тему большого общественного значения. Напомню, что «исполнительство», вероятнее всего, становится самой распространенной ролью в обществе, а возможно, и платной профессией.

Я назову еще Михаила Федотова. Его роман «Соотечественники» — очень интересен. Автор пошел на риск, неслыханный в русской любительской литературе за рубежом. Он ведет повествование от лица нескольких персонажей. Прием, разумеется, известный, но дело тут не в технической новизне. Это еще один пример попытки вылезти из собственной шкуры, свидетельство сомнений в достаточности собственного опыта и взгляда на вещи. И хотя все персонажи Федотова более или менее однотипны в социокультурном смысле (говоря проще, все более или менее «на одно лицо»), симптоматичная попытка сделана.

Любопытно, что роман Федотова развивает традицию Ремарка. Те, кто вырос в Москве и Ленинграде в начале 60-х годов, должны помнить, как много значила пара романов Ремарка для тогдашней литера-

турной и эмоциональной жизни горожан. След Ремарка в русской беллетристике широк и хорошо наезжен. В этой колее начинал и Аксенов своим романом «Коллеги»; по иронии судьбы он останется, вероятно, лучшим в его романном творчестве. К сожалению, эта традиция быстро исфашишилась.

Все это можно было написать уже году в 85-м. К счастью, тогда я этого не сделал, в то время дело ограничилось бы литературно-критическим пафосом. Теперь же, повзрослев (или постарев) на десять лет, кое-чего еще подначитавшись и пережив «гласность», мы можем поговорить о более интересных вещах.

По ходу этого очерка мы уже пару раз спотыкались о понятие «эмигрантская литература». На самом деле оно вводит в заблуждение. Дело в том, что основная масса литературы в эмиграции отличается от литературы в метрополии только местом публикации. На западных литературных площадках разыгрывалась литература, какой она была бы, если бы в России не было цензуры. Оказавшиеся в эмиграции авторы работали так, как если бы они литературно обслуживали большие читательские массы в самой России, то есть лепили, пользуясь техническими и юридическими удобствами Запада, некую альтернативную версию «национальной» литературы.

В эмиграции были сняты тематические табу, но литературы нового типа не возникло, потому что на Запад уехал уже сложившийся к тому времени в самой России тип литератора.

С началом гласности сразу же стало ясно, что этот тип и в России резко преобладает — и по количеству, и по громкости.

И темы, и стиль литературы эпохи гласности оказались те же. Это был все тот же патетический антисоветизм и бесконечные рассказы о душевных страданиях тайных сопротивленцев режиму. Это было все то же «примазывание» к новым святым и разоблачение святых старых. Достаточно просмотреть любой номер любого толстого журнала, где перемешаны перепечатки из эмигрантских изданий и сочинения местных авторов, чтобы убедиться, насколько иллюзорна разница между ними.

Эмигрантская литературная продукция несколько не интереснее и не лучше. Тем не менее она пережила в России фазу успеха. У эмигрантов появились свои толкачи, заинтересованные в их продвижении на русском литературном рынке. Корпус толкачей складывался, по-видимому, из трех элементов. Во-первых, это были «старые приятели». Почти все эмигранты были представителями за рубежом каких-то литературных кружков и салонов. Эти кружки и салоны идентифицировали себя с тем или иным эмигрантом и теперь торопились укрепить свой социальный престиж, выводя за руку на большую сцену своих «корешей» и таким образом как бы приобщаясь к легенде, которую сами же создали во времена «тамиздата».

Во-вторых, появились и добровольные агенты со стороны. Это были люди, долго мечтавшие о знакомстве со знаменитостями и получившие, наконец, эту возможность, когда открылась граница. Те, кто в силу остатков старых привилегий (или полупривилегий) быстрее других наладили контакт с парижскими и нью-йоркскими литературными кружками, немедленно помчались наносить визиты тем, кто по законам московских и ленинградских салонов был для них в свое время недосягаем. Эмигрантские авторы, приобретшие за годы жизни за границей статус иностранцев, стали удобным транспортным средством для традиционной культурной фарцовки, которая уже давно была важнейшим элементом столичной жизни.

Третьим глубоко заинтересованным лицом оказались «толстые журналы». В отличие от индивидуальных агентов, движимых прежде всего престижно-социальными мотивами, редакции толстых журналов имели интерес коммерческий. Попав в трудную финансовую ситуацию, они были вынуждены искать подходящий товар для поддержания привычных тиражей. Литература с уже готовой «легендарной» репутацией казалась спасением и действительно помогла столпам старого авторитарного литературного истеблишмента держаться некоторое время на плаву. Ведь советский читатель с началом гласности оказался в том же положении, что и свежий читатель-эмигрант (вроде меня в 1981 году): он вдруг получил возможность увидеть на бумаге то, что раньше существовало для него «потаенно». Гарантированный товар и гарантированный читатель — об этом любое издательство может только мечтать! Толстые журналы были бы последними идиотами, если бы не воспользовались таким благоприятным стечением обстоятельств. О, если бы они смотрели далеко вперед. . . Но кто ж смотрит. . .

Обстоятельства для агентов этой крупномасштабной культурной фарцовки оказались столь благоприятны, что привели на какое-то время к настоящему засилью эмигрантской продукции в российском издательском деле. Это вызвало уныние и раздражение среди местных литературных кадров. Многие почувствовали себя дискриминированными. Недовольные были двух сортов.

Во-первых, молодежь с новыми тематическими и стилистическими поползновениями, уже достаточно чуждыми пафосу антикоммунистического подполья 60-х годов. «Шестидесятники» были им либо неинтересны, либо даже раздражали их. А благодаря эмиграции интеллектуальный стиль шестидесятых годов законсервировался и в эпоху гласности зажил второй жизнью. Он действительно занял «чужое место», блокировав новые интеллектуальные и литературные инициативы. Насколько эти инициативы были бы продуктивны, сказать трудно, но это в данном случае неважно. Важно (в плане нашего анализа), что тут имел место конфликт старого товара с новым, а это вечный конфликт.

Но этот конфликт, как мне кажется, не был энергетически очень уж мощным. Похоже, что «новый» интеллектуальный стиль не был достаточно внушительно представлен на русской литературной сцене, да и новизна его весьма относительна.

Совсем другое дело — недовольство тех, кто ничем не отличался от эмигрантов, кроме прописки. При первом же знакомстве с эмигрантской литературной продукцией они могли легко убедиться, что сами могут то же самое, несколько не хуже и даже лучше. В конце концов (вторым еще раз) эмигранты были всего лишь небольшой частью той культуры, которая продолжала существовать в Москве. Оставшиеся с полным основанием могли считать себя носителями (владельцами) того интеллектуально-философского «фольклора», что был вынесен на страницы печатных изданий за границу в 70-е и 80-е годы.

Надо сказать, что выход на поверхность в России всей этой культуры поставил и эмигрантов в затруднительное положение. Ведь окончательно исчезла иллюзия, будто они пророки и новаторы. Музыка, которую они исполняли, как оказалось, звучала в головах у несметного количества людей. Эмигрантский камерный хор буквально в одночасье превратился в некий сверх-хор необъятных размеров и непременной громкости.

В случае конфликта между носителями (исполнителями) стандартной подпольной культуры и носителями ее обновленного варианта речь шла о своего рода «классовой борьбе». В случае же конфликта между

исполнителями канонической культуры в эмиграции и на родине имела место конкуренция. И этот конфликт — пока самый главный и интересный, поскольку в него вовлечены большие массы участников, выходящих на рынок с однотипным товаром.

Впрочем, фактура этого конфликта меняется. «Эмигранты» как особая группа производителей литературы после 1990 года благополучно растворились в той среде, из которой в свое время вышли. Но конкуренция в среде носителей стандартной культуры не прекратилась. Коммерциализация культурных идей превращает отношения между носителями (исполнителями) этих идей в отношения соперничества и выгоды, уравнивая их с производителями галстуков, велосипедов и футбольных мячей, равно как и с исполнителями песни «Подмосковные вечера».

Итак, мы решили перенести свой интерес с конкретной литературной реальности — русской литературы за рубежом, на проблемы конкуренции в литературной промышленности. С этой точки зрения литературу пока что рассматривают редко. Экономика литературы, кажется, занята исключительно судьбой книжного тиража, и ею занимаются бухгалтеры издательств. Литераторы, литературоведы, критики видят в работе писателя общественную, эзотерически мотивированную, так называемую творческую деятельность. В центре их внимания такие вещи, как талант, совершенство продукта, структура продукта и его место в интеллектуальном контексте.

Это все удобные темы для разговоров о литературе, и никак нельзя сказать, что эти разговоры совсем бессмысленны.

Но сегодня литература интересна прежде всего как одно из главных производств постиндустриального общества. Если мы при взгляде на вербальный продукт воспользуемся социально-экономической оптикой, то нас заинтересуют совсем другие вещи: потребности читателя, способы их удовлетворения; разновидности вербального поведения, вербальных ресурсов, вербального продукта; вкусовые категории... А писатель заинтересует нас прежде всего как предприниматель.

Русская литература в эмиграции дает нам добротный эмпирический материал для того, чтобы судить о литературе как о типичном профессиональном занятии и типичной форме предпринимательства.

Что же такое все-таки писатель как предприниматель? Боюсь, меня уже неправильно понимают. Я вовсе не имею в виду писателя, который хочет побольше денег, аккуратно ведет счета, много думает и говорит о деньгах и вообще демонстрирует в своем поведении характерологические черты, которые в снобистско-интеллигентской среде обозначают словом «деляга». Я пишу не сатиру, а пытаюсь уловить существо дела.

Разумеется, я понимаю слово *писатель* широко, примерно как в Америке понимают слово «райтер», а в Германии — «текстер». На русском этому понятию точнее всего соответствует слово «текстовик», то есть — всякий, кто составляет некие словесные комбинации: от описаний моющего средства и воспоминаний об Ахматовой до псевдоисторических эпосов, поэтических мемуаров и эссе на вольную тему. В такой трактовке пресловутая разница между «поэзией» и «журналистикой» становится незаметной.

Все это — функциональная литература. В музыкальной промышленности понятие «функциональная музыка» установилось уже давно, хотя оно применяется ограниченно и сфера его применения может быть расширена. В какую именно сторону, мы увидим, вернувшись к интересующему нас предмету.

Происходит поразительная и волнующая вещь: при ближайшем рассмотрении вся литература (как и музыка) оказывается функциональной. В том смысле, что литература — это обслуживание. Ведь писатель стремится удовлетворить некоторые потребности, и, стало быть, он такой же предприниматель, как и мясник, молочник, зеленщик.

Полезно помнить, что литератор может обслуживать не только читателя. Он может удовлетворять, скажем, потребности государства и церкви, которые убеждены, что их долг «надлежащим образом воспитывать население», и соответственно контрактируют (иногда принудительно) литературу для этой работы.

«Социальный заказ» может исходить также от любой другой общественной силы — крупных производителей товаров (промышленные фирмы) или идей (политические партии) — как правило, вооруженной инстигугами и активно обрабатывающей потенциальную паству.

Принципиально важно и то, что литературный корпус сам превращается в такую «группу вкусов и интересов» и предъявляет писателю собственный социальный заказ.

Теперь посмотрим, какого же рода потребности удовлетворяет текстостик. Легче и соблазнительнее всего было бы сказать, что литература удовлетворяет «эстетические потребности», тем более что активный читатель, обозначая свое отношение к тексту, чаще всего дает понять, что задета именно эстетическая струна («Прекрасно», «Красиво», «Как это написано!») — вот самые распространенные клише такой оценки). Но я рискну утверждать, что это совершенно не так. Выражая свое отношение к тексту на эстетическом жаргоне, потребитель лишь старается набить цену самому себе, коль скоро в данном обществе эстетическая чувствительность считается признаком аристократизма.

На самом же деле удовлетворение, которое получает читатель, — это социальное удовлетворение.

Я говорю о таких потребностях, как потребность компенсировать ущербность своего социального положения, почувствовать свое превосходство над другими, ощутить свою принадлежность к какому-то целому — и даже не просто к «какому-то», а к «достойному» целому (престижная самоидентификация). Литература, конечно, также и полё «расчетов с врагами».

Можно говорить и о потребности в полезной информации. Здесь имеет смысл выделить социально значимую информацию, которую индивид может использовать в своей повседневной «самопрезентации»: чтение литературы может снабжать его образцами для подражания («любимый», «положительный» герой), престижным вербальным материалом, престижными фактоидами.

Можно говорить также о потребности «заказчика» иметь помимо реальной жизни еще и жизнь воображаемую. Эта потребность, кстати, в подавляющем большинстве случаев не обеспечивается творческой энергией самого индивида и нуждается в пособиях: обществу нужны люди, сочиняющие сказки.

Вот этим обслуживанием и занимается литератор как функциональная фигура и предприниматель.

Вообще говоря, такой подход к литературе был возможен всегда, но раньше он мало что давал для понимания общественной жизни. Совсем иначе, я думаю, дело обстоит теперь, потому что в обозримой перспективе производство культуры (включая литературу) как сферы занятости станет главной, вытеснив производство физических услуг, то есть третичную сферу, подобно тому, как третичная сфера вытеснила

обрабатывающую промышленность (вторичную сферу), а та, еще раньше, — сельское хозяйство (первичную сферу). Соответственно и вся проблематика «производительных сил и производственных отношений» смещается, во-первых, в сторону сферы культуры, а во-вторых, в сторону сферы потребления.

Если мы теперь вспомним то, что я писал о физиономии русской литературы за рубежом, и примем во внимание только что сказанное, то получим возможность перейти от критики к некоторому пониманию.

В самом деле, превращение литературы в массовую профессию и предпринимательскую деятельность должно неизбежно сопровождаться изобретением такого рода текстов, которые могут производиться большим количеством людей и, конечно же, обладать при этом очевидной потребительской ценностью. На Западе это и происходит: функциональная исполнительская литература преобладает и господствует. Процветает индустрия по производству фантастических саг, детективов, биографий, путешествий, исторических компиляций, словарей-справочников, сборников цитат и т. д.

Активность критики развивается в сторону реферативно-апологетической рецензии и имеет только одну цель — помочь издательству сбыть тираж.

То, что произошло с русской литературой в эмиграции, а затем во второй половине 80-х годов и дома, не было чем-то исключительным и было вполне осмысленно: складывалась технология массового писательства, которая должна обеспечить занятость в условиях кризиса традиционной промышленности и перехода к постиндустриальной эпохе. Роль писателя модифицировалась как «роль», вопрос только в том, какие именно реплики подает исполняющий эту роль.

Наверное, никто не удивится, когда мы говорим о постиндустриальной эпохе вообще. Но сказать о советском обществе, что оно вступает в постиндустриальную эпоху? Вы с меня смеетесь... Нет, господа, мы вовсе с вас не смеемся. Вот что можно сказать на эту важную-важную тему.

...В газетной «прозе» трансформация советского общества в конце 80-х годов обычно именуется переходом от «тоталитаризма» к... не совсем ясно чему (тут используются разные термины, которые призваны обозначить, так сказать, уменьшение количества деспотизма, и я не буду на эту тему распространяться, поскольку эта формула имеет эмоционально-политический характер и совершенно бессодержательна).

Согласно другой, тоже имеющей широкое хождение, аксиоме, происходит переход от «социализма» к «капитализму». Здесь несколько больше содержания, особенно если иметь в виду, что социализм, не смотря на модернистские претензии и индустриальную основу, был всего лишь разновидностью архаического (традиционного) общества. Впрочем, никто, кажется, не подчеркивает эту сторону проблемы, а если этого не делать, то формула «от социализма к капитализму» становится совсем неинтересной и сильно дезориентирует. Она тоже предназначена скорее для того, чтобы сказать самим себе что-то «приятное», нежели для того, чтобы что-то понять и объяснить.

Гораздо интереснее понимать трансформацию советского общества как появление индивидуальной частной собственности и рынка при одновременном переходе от индустриального общества к постиндустриальному.

Так нам удастся описать конкретную историческую специфику, и, чтобы лучше почувствовать, как многозначительна эта специфика, вспомним, что и на Западе происходило то же самое, но — на фоне перехода от аграрного к индустриальному обществу.

В пределах «прошлого» советское общество сумело превратиться в индустриальное, оставаясь архаичным (традиционным). Не важно, что оно не вполне дотянуло по «уровню жизни» (в материальном смысле) до западных благ. Несколько более низкий (не так уж много, как думают) уровень жизни советского общества к началу 60-х годов отнюдь не решающее доказательство его отсталости.

Проблемы в полной мере проявились лишь тогда, когда пришло время сделать шаг, неизбежный, видимо, для всех, кто переходит на машинно-промышленную основу. А именно: шаг в постиндустриальный мир. Говорят, что «Советы» проспали последнюю «техническую революцию». Это правильное наблюдение, но само по себе оно не дорого стоит.

На самом деле Запад в 60—80-х годах пережил не только техническую революцию, но и культурную. Советское же общество, можно думать, не просто проспало, но блокировало техническую революцию, потому что сопротивлялось культурным изменениям.

Дело в том, что культура при переходе к постиндустриальному обществу превращается в «материальную силу». Этим выражением пользовалась официальная советская социология, когда говорила о науке. Поразительно, насколько точно теория формулировала суть дела и до какой степени из нее ничего не последовало. А между тем, наука и культура в самом деле становились паровозами экономического развития. Культура превращалась из надстроечного фактора экономики в одну из отраслей экономики, причем ведущую. Но, чтобы этот паровоз тянул, нужна была площадка для произвольного индивидуального перформанса, а в советском обществе этой возможности не было.

Содержание культурной жизни в советском обществе проектировалось небольшой кастой (сословием, цехом, корпорацией — в данном случае — неважно), следившей между прочим за так называемым «хорошим вкусом» и так называемой «моральной полноценностью» исполняемой культуры. Господствовал канон; культура была общей. Культурное самообслуживание жестко пресекалось, а вместе с тем и возможности культуры как сферы экономики. Чтобы структурный экономический потенциал культуры использовался, нужно заботиться не о «хорошем вкусе», а о разнообразии.

Обычно в неповоротливости советского общества обвиняют партийное государство с его цензурной практикой. Но мне кажется, что в какой-то момент государственная цензура стала лишь придатком к вкусовой цензуре культурной элиты, которая использовала ее как инструмент подавления бесчисленного множества потенциальных конкурентов. А потенциальная конкуренция была, безусловно, очень сильна. Ведь в условиях разрушенных стандартов и либерализации рынка культуры почти каждый имеет шанс стать артистом.

На Западе сдерживающее влияние истеблишмента тоже было. Но это сопротивление оказалось легче сломать. Самые разнообразные явления — поп, модернизм, сексуальная революция — были элементами культурной перестройки и фрагментации культуры. Почему эта перестройка прошла сравнительно легко? Возможно, потому, что Запад был «открытым» обществом. А возможно, потому, что государство и церковь на Западе слабы, а крупный капитал заинтересован в новых ресурсах и новых потребностях. Эти потребности в русско-советской традиции обычно именуется «духовными». Можно их называть и так, хотя лучше, я думаю, называть их потребностями в «символических благах».

Гласность была чрезвычайной важности событием в социальной и культурной истории советского общества. Обычно ее воспринимают как простую политическую либерализацию, как снятие государственной

цензуры. Это все, конечно, так, но это далеко не все. Это даже не очень интересно. Гораздо интереснее другое.

Гласность была достижением одной из протобуржуазных групп, или одного из «буржуазоидов», как говорил в свое время Вернер Зомбарт, советского общества. Для ясности (а может быть, наглядности) дадим краткий портрет такого «буржуазоида».

Конечно, это интеллигент. Гуманитарий — согласно диплому или «призванию». Имеющий от государства привилегию на публичный гуманитарный перформанс (как Евтушенко) или не имеющий права на публичность (как Бродский). Но и в том и в другом случае ограниченный в своей исполнительской программе.

Важно, что лицензированному монополисту фактически было запрещено выступать с номерами, которые с 60-х годов стали наиболее престижными и сулили наибольший успех — об этом говорит опыт самиздатов и антисоветского салона. Это обстоятельство объединило конкурентов и сделало на какое-то время, скажем, Евтушенко и Бродского, Пугачеву и Гребенщикова союзниками, в чем нашла блистательное подтверждение марксистская концепция «класса» как образования, единого в своих интересах, несмотря на конкуренцию между входящими в него субъектами.

Еще раз повторим: экономическая эмансипация советского общества совпала с наступлением постиндустриальной эпохи. Переход задерживался архаическими элементами советской культуры и социальной структуры, и кто же как не социальный слой, ожидавший от перехода наибольших благ, должен был проявить инициативу и настоять на переменах, позволивших ему (как он надеялся) резко изменить свое положение в обществе.

Первые шаги «гласность» как социальная революция сделала в эмиграции. Там оказались те, кого более чуткий социальный и политический инстинкт толкнул в сторону литературно-политического или художественно-политического перформанса как предпринимательской активности. Те, кто вместе со своим словесным имиджем сами были собственным товаром на продажу. Номер, с которым они выступали, был некий антисоветский ритуал. Исполнение антисоветского ритуала и оказалось первой отраслью производства, вышедшей на вольный рынок.

Но на эмигрантской художественно-политической сцене разыгрывался только пролог. Настоящее действие началось в самой России, когда значительная часть истеблишмента (если не весь истеблишмент) продемонстрировала свою протобуржуазную сущность.

Собственно, уже в эмиграции на пятки первым мученикам-диссидентам наступали перебежчики из истеблишмента. Это были люди, добившиеся всех стандартных благ в советских условиях. Если уже мы говорим о литераторах, то это были лицензированные, публиковавшиеся писатели. Старые аутсайдеры, находившиеся в состоянии войны с советской властью (и культурным истеблишментом) с давних времен, относились к ним презрительно и подозрительно, но настоящей социальной и политической силой были, конечно, не они, а «второй эшелон», их «попучики», то есть перебежчики из истеблишмента.

Производители культуры в России оказались, в сущности, передовым отрядом предпринимательства, а сфера культуры — первой сферой советской экономики, которую можно назвать рыночной. На Западе

триста-четырееста лет назад современный рынок начинал складываться вокруг торговли пряностями, табаком, ромом, драгоценностями, черными рабами, а затем — одеждой, причем сперва дорогой одеждой. А в России сейчас главным маркетизатором экономики оказывается «культура», то есть производство престижных фактоидов, знаков и образов. Это можно объяснить целым рядом обстоятельств.

Одно из этих обстоятельств можно назвать «негативным». Дело в том, что маркетизация культуры вышла на передний план, поскольку маркетизация традиционных производств сперва вообще не началась, а затем столкнулась с целым рядом трудностей. Это не только сопротивление заинтересованных слоев общества; это объективные трудности, и я не буду их сейчас обсуждать. Посмотрим, какие свойства самой культуры делают ее лидером при переходе хозяйства на рыночные отношения в конце XX — начале XXI века.

Во-первых, коммерческий индивидуальный перформанс не требует значительных фондов. Уже поэтому он общедоступен. Как мох и лишайник, он растет повсюду, или, как сказали бы представители этого «благородного» вида деятельности, — «дух дышит где хочет».

Во-вторых, артисты могут существовать в маргинальных условиях еще и потому, что готовы на труд за минимальную плату. Многие артисты вообще зарабатывают на жизнь в другом месте и занимаются артистизмом побочно.

В-третьих, артисты, как правило, это те, кто склонен к эксгибиционизму. Поэтому они, опять-таки, удовлетворяются микроскопическими доходами. Возможность показать себя сама по себе уже приносит им удовлетворение; они готовы выступать вообще без вознаграждения, во всяком случае, на первых порах.

В-четвертых, в советском обществе в условиях скудного материального потребления спрос на «духовные», или «символические», блага был всегда завышен, хотя бы потому, что скудость материальной жизни надо было чем-то компенсировать. Особенно в целях утверждения своего статуса и дезавуирования чужого статуса. Советские люди привыкли к показному потреблению культуры. Поэтому спрос на нее сохраняется даже тогда, когда товаров становится больше (чего пока не происходит) или денег становится меньше, что происходит.

После того как эйфория и ажиотаж гласности прошли, из России стали раздаваться жалобы, что культура теряет свои позиции, что спрос на «духовные ценности» падает. Если это так, то, может быть, наивно возлагать надежды на культуру как на ведущую сферу рыночного сектора в советском обществе. Но не следует торопиться с выводами.

Надо, прежде всего, помнить, что жалобы исходят от тех производителей культуры, которые проигрывают конкурентам в борьбе за потребителя. Им кажется, что только они производят «духовную продукцию» и что их теснят производители «бездуховной», «вульгарной» продукции. На самом же деле спрос сдвигается просто в сторону других видов «духовки».

Далее, в условиях инфляции и обеднения широких слоев, естественно, у людей все меньше денег остается на «духовку». «Духовная» продукция, таким образом, все больше становится объектом потребления богатых. Совокупный спрос на нее может и упасть, но это вовсе не означает, что производство культуры становится второстепенным в процессе перехода к рынку. *Рыночный сектор может возникнуть только на верхних этажах потребления, то есть там, где экономические агенты (и производители и потребители) оперируют товарами не первой необходимости.*

Вообще, культура принадлежит рынку по всем своим параметрам и сущности. Если бы это было не так, не нужен был бы институт цензуры и другие репрессивные элементы издательско-репертуарной и выставочной практики. Как только эти ограничения в России были сняты, культура хлынула на рынок.

Правда, не все так безмятежно. Следует добавить, что маргинальный рынок мелких кустарей-одиночек не может сообщить экономической динамики обществу и надолго может законсервироваться как прикрытая форма нищенства (уличные музыканты — классический пример). Это в особенности может произойти, потому что и рынок культуры не гарантирован от удушения монополиями. Истэблшмент, сохраняющий контроль над средствами тиражирования и распределения, довольно успешно перехватывает надежный культтовар у самостоятельных кустарей-предпринимателей. Именно так повели себя русские толстые журналы, бросившиеся публиковать то, чему они сами (считается, что под давлением государства) еще вчера не давали дороги.

Естественно, что крупные монополии делают ставку уже на готовые авторитеты и пользуются уже существующим спросом. Когда спрос будет удовлетворен и готовые ресурсы исчерпаны, нужно будет создавать новые авторитеты и возбуждать новый спрос. Начнется новый виток развития рынка. На переходе старые монополии из-за цен на бумагу могут прогореть, но на их место неизбежно придут новые, и они пойдут по пути создания системы «звезд», или, если угодно, системы культов.

В плане развития культуры это будет ужасно, поскольку разнообразию будет нанесен тяжелый ущерб. В плане же развития рыночного сектора, вероятно, произойдет следующее.

Концентрация капитала в производстве культуры и возникновение крупной культур-буржуазии (индивидуальной или групповой в виде «тусовок») обеспечит постепенный переход разных других производств в частный рыночный сектор (разными путями, например, через скупку бумажных фабрик, фабрик по производству аудио- и видеоаппаратуры и т. п.). Вполне можно себе представить, что в конце концов какая-нибудь вторая Алла Пугачева купит и превратит в коммерческое предприятие «Уралмаш». А наследники Евтушенко (собственно, фирма «Евтушенко») приобретут сеть книжных магазинов, торгующих поэзией. А фирма «Войнович и внуки» станет владельцем маленькой группы предприятий по ремонту однокомнатных квартир в Чертаново. . .

И в заключение вернемся к тому, о чем мы толковали в первой половине наших вольных рассуждений.

Тип художника (литератора, артиста), который мы обнаружили на эмигрантской культурной сцене, несомненно, соответствует той новой (о, мудрость природы!) роли, которая возникает в обществе, в частности в советском обществе, при переходе в постиндустриальную эпоху. Эта роль — исполнитель на публике всеобщей мелодии, исполнитель, воспроизводящий эту мелодию громче других и с ужимками, во-первых, привлекающими внимание, а во-вторых, производящими впечатление оригинальных.

В 70-х годах в России такими всеобщими мелодиями были «антисоветизм» и «самоуважение». Исполнители-предприниматели в ходе превращения этих мелодий в товар прибегли к «патетике» как способу усиления и придания многозначительности. Эти две мелодии в их патетическом варианте и идут контрапунктом через всю русскую литературу, сперва в эмиграции, а потом и в самой России в эпоху гласности.

Мы можем, как и полагается снобам, морщиться по поводу дурного тона этой литературы. Но, право же, гораздо интереснее, чем качество этой литературы, ее культурно-исторический смысл. Мы слышим голос возникающей культур-буржуазии, которой еще предстоит (этот процесс уже начался) разделиться на крупную, среднюю и мелкую, да и породить, как водится, «пролетариат», собственно, «культур-пролетариат».

А если это так, то еще важнее то, что при определенном стечении обстоятельств и при условии определенных политических мер именно коммерциализация культуры могла бы сильно способствовать рыночной эмансипации общества советского типа.

Слово — это не просто сотрясение воздуха. Слово — это знак (в частности, знак «достоинства»). Но слово — это еще и товар.

г. Лондон



А. П. Кузичева
«ВАШ А. ЧЕХОВ»

(Мелиховская хроника. 1895—1898)

Глава 5

ОКТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

Домашние могли по ночам слышать, как Чехов все время или «бес-перечь», по его слову, кашляет. По утрам он принимал многочисленных больных, ездил по вызовам.

В письмах осени 1896 года и во всех делах Чехова этих месяцев проступает невысказанное желание: продолжить и достойно завершить то, что уже начато. Даже просто замыслено или обещано. Он достает по-прежнему книги для Таганрогской городской библиотеки, но теперь предлагает Иорданову открыть при ней справочный отдел. Только настоящий, большой, чтобы, как он считает, «библиотека с течением времени приохотила бы к себе публику и стала бы для нее необходимой».

Была та осень какой-то печальной. Словно началась полоса близких грядущих несчастий. Умер один из больных. Выдавали замуж Анюту, служившую в мелиховском доме, но было видно, что замуж она идет против воли и ничего хорошего семейная жизнь ей не сулит (в следующем году, уже в Ницце, Чехов получит известие о ее кончине и откликнется: «Скверно вышла замуж, рано умерла — так и не удалось бедняге пожить»). В ноябре умрет маленькая дочка Л. С. Мизиновой.

Довольно рано лег снег. Начиналось время болезней и, как всегда, напряженной творческой работы. Из Петербурга шли телеграммы, письма. Прошло второе представление «Чайки», и побывавшие на нем И. Н. Потапенко, А. И. Урусов сообщали Чехову об успехе. Урусов упомянул об этом в декабре в письме к К. Д. Бальмонту: «Вещь удивительная! И говорят, что он хочет бросить сцену! Какое ослепление!» Написала В. Ф. Комиссаржевская: «...Успех полный, единодушный (<...> Ваша, нет, наша «Чайка», потому что я срослась с ней душой, навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит...» К. С. Тычинкин, посмотрев спектакль во второй раз, замечал в письме к Чехову: «Интересно, как отнесутся к вчерашнему спектаклю Ясинский и К^о... Как они выпутаются».

После третьего спектакля, 24 октября, Чехову написал В. В. Билибин. Хвалил «Чайку», а в письме к Н. М. Ежову в эти же дни он сказал, что «Чайка» — это драматизированная повесть, что многие действующие лица излишни и очерчены они сценически неумело. Но все-таки от пьесы веет свежестью.

Отовсюду писали Чехову о «Чайке». Е. М. Шаврова-Юст подметила новизну пьесы и напряженный интерес зрителя к каждому действующему лицу. Уже в газетах высказывалось недоумение, почему критика так злобно встретила спектакль. В. А. Гольцев резко высказался на этот счет: «Ну и мерзавцы же господа из «Новостей», Ясинский и К^о».

Давняя приятельница Чехова, актриса К. А. Каратыгина, прочитав первые газетные отклики, грубовато советовала не обращать на них внимания. Она напоминала, что Чехов уже однажды, давно, зарекался писать пьесы. Но вот написал же «Чайку».

Совершенно случайно она попадает, кажется, в самую точку. Как будто угадывает тайное течение мыслей. И прикасается, не ведая того, к одной из загадок в творчестве Чехова, известной по заголовку статьи, посвященной этой тайне: «Когда же был написан «Дядя Ваня?»».

Существует несколько предположений. Одно из них — что Чехов переделал «Лешего» в «Дядю Ваню» весной 1890 года, через некоторое, но неотдаленное время после неудачного спектакля в театре Абрамовой. Другое допущение — что он создал пьесу «Дядя Ваня» осенью 1896 года, но только до премьеры «Чайки». Так как после 17 октября не мог бы приняться за новую пьесу. Ссылаются при этом, естественно, на клятвы Чехова не писать пьес, на его настроение, даже на усталость.

Все эти доводы о душевном настроении Чехова в конце 1896 года, препятствующем работе над «Дядей Ваней», справедливы. С точки зрения здравого смысла, по меркам обыкновенных людей, не ведающих, какая сила и как направляет жизнь художника. Сила, которая «толкала» Чехова порой на необъяснимые решения и поступки.

Разве не могло быть иначе? Именно после 17 октября он напряженно работает над «Дядей Ваней». Не просто готовит к сборнику пьес, а по-настоящему переделывает пьесу «Леший», с которой когда-то начался путь к «Чайке».

Может быть, он начал перерабатывать «Лешего» еще до «Чайки», когда все-таки решил, что пришло время завершить бунт против сценических «правил», начатый этой пьесой. Но отложил и написал совершенно новую пьесу («Чайку»).

Такое предположение можно мотивировать особенностями работы Чехова над рукописями и содержанием «Дяди Вани».

Чехов не любил перерывов, тяжело отрывался от рукописи и еще тяжелее настраивался на нее. Он долго искал первую фразу нового произведения, потому что она задавала тон. И в этой тональности Чехов писал весь текст, шлифуя последние фразы уже в корректуре. Видимо, в напечатанном тексте он мог заметить, «услышать» отклонение от главного тона. И тогда, внося небольшие перемены, Чехов как бы настраивал свое слово, чтобы в тексте не было ни одного фальшивого звука. Можно сравнить такую шлифовку с натягиванием струны на музыкальном инструменте. Струна его творчества после Сахалина натягивалась все сильнее, пока не лопнула в финальной ремарке «Вишневого сада», так как он знал, что на пределе физических сил пишет свою последнюю пьесу.

Так вот, Чехов мог одновременно работать над двумя пьесами. Но главной была «Чайка». И она не требовала перенастройки. А «Леший» требовал, и это был другой творческий процесс. Между тем за годы, прошедшие с лета 1889 года, слово Чехова, сам творческий процесс не могли не измениться. Чехов писал не просто кропотливее, медленнее. Он жил, словно вслушиваясь в тот тон, на который было настроено его новое произведение. Поэтому, наверно, предпочел работу над «Чайкой» работе над «Дядей Ваней». Пьеса, создаваемая «вопреки всем правилам», должна была быть совсем новой, незнакомой.

К тому же пьесой, где героями выступают люди, культивирующие или опровергающие эти «правила», для которых эти вопросы не менее важны, чем для автора.

Теперь, после 17 октября, страшное, убийственное сомнение, что явилось Чехову на одинокой ночной прогулке по Петербургу в ночь на

18 октября, он, может быть, хотел одолеть созданием еще одной пьесы. И тоже написанной «вопреки всем правилам».

Признаться самому себе, что его «машинка испортилась вконец», видимо, означало бы скорую творческую и физическую смерть. Полу-признаться, то есть писать только прозу, не верить своему чутью и как бы наконец покориться критикам, давно советовавшим не писать никогда пьес, было бы медленной смертью, умиранием.

Чехов был, по мнению многих знавших его довольно близко, самолюбивым человеком. И даже якобы не терпящим критики, и отсюда, мол, чеховское молчание на замечания в беседах о недостатках его произведений.

Но, может быть, самолюбием называли иную черту чеховского характера? Следование указаниям скрытого «барометра», склонявшего Чехова к творческому упорству. Он знал, что писать может только так, как ему пишется, и любые советы бессмысленны. Так, он выслушивал молча замечания Вл. И. Немировича-Данченко о «Чайке» зимою прошлого, 1895 года. Так же воспринял указания Суворина, как исправить недочеты в спектакле, внося изменения в пьесу.

Так не преодолевал ли Чехов сомнение в себе как раз упорством, упрямством, следованием чутью, подсказывавшему, что он должен идти тем же путем? Тогда и началась основная работа над «Дядей Ваней». Слабый след этой скрытой внутренней ситуации отыскивается в письмах последних месяцев 1896 года.

Итак, 18 октября, уезжая из Петербурга, Чехов просит Суворина приостановить печатание сборника с пьесами, куда предназначались «Чайка» и «Дядя Ваня», и обещает никогда не писать пьес и не ставить. В эти же дни посылает в типографию издательства А. С. Суворина только три пьесы: «Медведь», «Предложение», «Иванов». 22 октября Чехов пусть с иронией, но пишет Суворину: «Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши».

Построение этой фразы как будто пародирует реплику Аркадиной из второго действия «Чайки» о том, что она всегда в форме, держит себя «в струне», всегда работает, чувствует, не распускает себя и поэтому «хоть пятнадцатилетнюю девочку играть».

Чехов пишет: «Уже не чувствую утомления и раздражения». Конечно, он преувеличивает. Утомлен он очень, а раздражение загнано внутрь. Но Чехов явно пытается преодолеть и то и другое.

1 ноября Чехов замечает уже в связи с «Чайкой»: «<...> Одни говорят, что она бессмысленна, и бранят меня так, что небу жарко, другие же уверяют, что это «дивная» пьеса. Ничего не разберешь <...>». Тон упоминаний о «Чайке» меняется. Правда, в этот день Чехов отклонил просьбу В. М. Лаврова и В. А. Гольцева напечатать пьесу в декабрьской книжке «Русской мысли». Но не категорически, мотивируя тем, что ее «скучно читать». Он пишет: «Драматургия же не улыбается мне, скучно».

Но это уже не «никогда» двухнедельной давности. А главное — замелькало знакомое «скучно», верный признак напряженной творческой работы. И еще — в этот день он сообщает Е. М. Шавровой-Юст: «Печатаются все мои пьесы» и обещает выслать сборник, когда он выйдет в свет. Тут же пишет, что не знает, пойдет ли «Чайка» в Москве или нет, — «Должно быть, пойдет». Это замечание тоже далеко от обещания никогда не ставить пьес. И опять слово «скучно» («такое чувство, точно ничего нет и ничего не было»).

Странно, но по-своему в это время словно повторяется история с «Лешим». Там тоже сначала просьба Куманину, причем серьезная, как подчеркивает Чехов, не печатать «Лешего» (он пишет в январе 1890 го-

да: «Если уже начали набирать, то за набор я заплачу, брошусь в воду, повешусь... что хотите...»). Такие же признания, что ничего нового нет. То же внешне фаталистическое восприятие жизни, а под ним зрешее решение ехать на Сахалин. И одновременно с этим — согласие напечатать «Лешего» в «Северном вестнике». И все тот же разговор: «скучно», «скучно». В журнале пьеса не появилась, но все-таки вышла отдельным литографированным изданием. Когда Чехов уже был на Сахалине.

Душевное состояние, охватившее Чехова к концу 1889 года, он надеялся преодолеть Сахалином. Говорил, что надо себя «дрессировать» физическим и умственным трудом.

Кажется, есть неуловимое созвучие в мартовском 1890 года письме к Суворину и ноябрьском письме 1896 года к Вл. И. Немировичу-Данченко. Тогда он писал: «Например, Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно?<...> Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах м и л л и о н ы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно<...> Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смысловый в деле и более способный возбудить интерес в обществе».

А дальше чеховское снижение невольной патетики: «Я же лично еду за пустяками».

К 1896 году «пустяки» обернулись книгой о Сахалине, настроением, которым были проникнуты «Палата № 6», «Три года», «Моя жизнь». И той художественной смелостью, с какой была написана проза Чехова после 1890 года и пьеса «Чайка». О своем душевном состоянии Чехов косвенно высказался в письме к Вл. И. Немировичу-Данченко осенью 1896 года: «О чем говорить? У нас нет политики, у нас нет ни общественной, ни кружковой, ни даже уличной жизни, наше городское существование бедно, однообразно, тягуче и неинтересно <...> мы мало и неохотно читаем, мало слышим, редко уезжаем... Говорить о литературе? Но ведь мы о ней уже говорили... Каждый год одно и то же, одно и то же, и все, что мы обыкновенно говорим о литературе, сводится к тому, кто написал лучше и кто хуже; разговоры же на более общие, более широкие темы никогда не клеятся, потому что когда кругом тебя тундра и эскимосы, то общие идеи, как неприменимые к настоящему, так же быстро расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве».

Тогда, в 1890 году, Чехов решился на тяжкий физический и умственный труд, чтобы не превратиться в поставщика балласта, как он говорил. Но отдал за это годы жизни, здоровье. Теперь он опять берется за столь же тяжкий физический и умственный труд, чтобы изжить сомнение в своем чутье.

Обыкновенно считают, что именно провал «Чайки» отнял у него, как и Сахалин, несколько лет жизни. Наверно, это так. Но почему-то упускают из виду зиму 1896—1897 годов, когда он шлифует корректуру последних глав «Моей жизни», работает над «Дядей Ваней», пишет новую повесть «Мужики», готовит к печати «Чайку».

8 ноября Чехов уже определенно сообщает Суворину, что в сборник пьес войдут 4 одноактных и 3 больших пьесы («Медведь», «Предложение», «Иванов», «Лебединая песня», «Трагик поневоле», «Чайка», «Дядя Ваня»).

Не раз он упомянет в эти месяцы, что дел у него по горло. К 20 ноября Чехов дает согласие на публикацию «Чайки» в «Русской мысли».

2 декабря он впервые говорит о «не известном никому в мире «Дяде Ване». 14 декабря упомянет, что собирает материал для книги вроде «Сахалина» для земцев, в которой хочет изобразить быт 60 земских школ своего уезда.

Осенью и зимой 1896 года Чехов обещал приехать в Петербург. Сначала в ноябре, потом в декабре. Но не смог. Работа не выпускала его ни на день. В Москву он выбирался трижды, но уезжал и возвращался на следующий день.

Домашняя жизнь тоже оказалась на редкость богатой событиями. Снег выпал в этом году 23 октября. К концу месяца уже ездили на санях. В доме появился новый работник Кузьма, снова вернулся Александр Кретов. Всем хватало дел.

В дневнике П. Е. Чехова нескончаемый перечень хозяйственных забот: истопить баню, привезти угля, задать корм скотине, свезти рожь на мельницу, подковать лошадей, починить сани, съездить за провизией, почистить трубы, зарезать телку, свезти на станцию очередной ящик книг для Таганрогской библиотеки и т. д. и т. д. Об этом, конечно, говорили за столом, когда собиралась вся семья, и Чехов не был в стороне.

Однако можно заметить, что домашняя жизнь испарилась на время из его писем. Даже из посланий к брату. А это у Чехова признак предельной занятости и работы над рукописями. Оставлены только неизбежные дела, и в этих деловых письмах ощущается нетерпение. Слово будто спешит, скорей, скорей. Даже обращение к адресату, вопреки обыкновению, Чехов часто отделяет лишь запятой и пишет в одну строку с последующим текстом, а иногда и вовсе нет обращения. Сразу — о деле.

26 ноября вечером в мелиховском доме случился пожар. Чехов живописал его в письме к младшему брату, и в таком же «пожарном» стремительном стиле: «26 ноября в 6-м часу вечера у нас в доме произошел пожар. Загорелось в коридоре около материнной печи. С обеда до вечера воняло дымом, жаловались на угар, вечером в щели между печью и стеной увидели огненные языки. Сначала было трудно понять, где горит: в печи или в стене. В гостях был князь, который стал рубить стену топором. Стена не поддавалась, вода не проникала в щель; огненные языки имели направление вверх, значит была тяга, между тем горела не сажка, а, очевидно, дерево. Звон в колокол. Дым. Толкотня. Воят собаки. Мужики тащат во двор пожарную машину. Шумят в коридоре. Шумят на чердаке. Шипит кишка. Стучит топором князь. Баба с иконой. Рассуждающий Воронцов. В результате: сломанная печь, сломанная стена (против ватера), содранные обои в комнате матери около печи, сломанная дверь, загаженные полы, вонь сажей — и матери негде спать. А еще, кроме всего, новый повод известному тебе лицу нести чепуху и орать».

«Известное лицо», то есть П. Е. Чехов, описал это событие в трех строках: «Вечером загорелось, сверх печи деревянные перекладки в комнате Мамаши. Принимали участие в тушении князь и Батюшка, а из деревни мужики, погасили пожарную трубой в 1/2 часа». И не забыл посмотреть на градусник — вечер — 10°.

Сосредоточенность Чехова на работе над рукописями видна в письме к брату. Оно написано, как фрагмент повести «Мужики», — описание пожара в деревне. П. Е. Чехов неколебимо эпичен и лапидарен. Он летописец, и здесь, в дневнике, никогда не позволит прорваться крику или назиданиям, которыми он утомлял всех за обеденным столом.

У него свое представление о важных и пустяковых событиях. Накануне пожара он, например, записал: «Утром — 21°. Александр и Машутка поехали в село Лопасню, Марья Тимофеевна Дроздова портрет напи-

сала с П. Е. Чехова. Поденщица дрова рубит. Купили в Лопасне новые сани за 4 рубля 50 копеек, 2 кошеля для саней по 65 копеек, рубанок и стамески. Полдень — 15».

События предпоследнего ноябрьского дня он расположит в такой очередности: «Утром — 3. Старая рыжая корова отелилась утром телкой. Урядник составил протокол о пожаре. Агент был из Москвы. Коновизер приехал и ночевал. Семенович был. Вечером — 2. Роман привез письма и газеты со станции».

Наступил последний месяц 1896 года. В полях лежал глубокий снег. Мели метели, но вдруг наступало потепление, деревья стояли в пушистом инее, а потом снова свежий снег укрывал Мелихово. В доме работали печники, плотники. Кончилось сено в каретнике и стали брать из риги. Гости из Москвы приезжали не часто. На один день заглянул Гиляровский, приезжали М. Т. Дроздова, Л. С. Мизинова. Чаще бывали местные помещики, земские врачи, учителя.

Россия готовилась к всеобщей переписи населения. Чехов был назначен счетчиком. Ему поручили наставлять 15 человек счетчиков Бавыкинской волости. Вернее, организовать все работу должен был земский начальник, заведующий переписным участком К. А. Голяшкин. Но тот повел дело так, что, в сущности, переложил большую часть хлопот на Чехова и отдавал в основном распоряжения. Поэтому в декабре мелиховский дом Чехова превращается потихоньку в отделение переписного пункта. К тому же в соседней деревне начались заболевания scarlatinной.

О своей болезни Чехов в это время старается забыть, перемогается и уверяет Шехтеля, что чувствует себя «недурно», хотя не скрывает, что постоянно покашливает. 21 декабря Чехов навестил Левитана, а потом записал для себя: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни». Ни слова, о чем они говорили. Краткая дневниковая запись, которых очень немного. В 1896 году их не более двадцати.

Если бы не были известны письма Чехова, то по этим записям трудно было бы представить настроение Чехова, течение его душевной жизни. Можно, правда, заметить, что событие или факт, поразившие Чехова, помечены конкретным числом. Как зарубка. Например, «17 окт<ября> в Александринском театре шла моя «Чайка». Успеха не имела». И все. О других событиях Чехов записывает потом, и в них уже что-то от творческих записей. Это уже как бы зарисовка. Вроде февральской, о визите к Л. Н. Толстому, о дочерях Толстого: «Татьяна и Мария Львовны раскладывали пасьянс; обе, загадав о чем-то, попросили меня снять карты, и я каждой порознь показал пикового туза, и это их опечалило; в колоде случайно оказалось два пиковых туза. Обе они чрезвычайно симпатичны, а отношения их к отцу трогательны».

Гадать, загадывать, принимать ряженных на Рождество любили и в Мелихове. В этом году собралась большая компания. Приехали М. П. Чехов и О. Г. Чехова, И. П. Чехов, А. Л. Селиванова-Краузе. Расчистили пруд, катались на коньках, а 28 декабря укатили к Семеновичам в гости. О. Г. Чехова, Леля, как звали ее в семье, нарядилась в старые брюки, пиджак и картуз. Чехов написал ей, так вспоминают домочадцы, записку: «Ваше Высокоблагородие! Будучи преследуем в жизни многочисленными врагами и пострадал за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот Ваших келькшос* благодарному человеку».

Василий Спиридонов Сволачев».

Послание имело в васькинском доме успех, и подаяние было щед-

* Что-нибудь, сколько-нибудь (фр. quelque chose).

рое. Не исключено, кто-то из домашних вспомнил в тот вечер, что подобный розыгрыш похожим письмом Чехов учинил в юности. Он нарядился нищим и через весь город пошел к дяде, М. Е. Чехову, который оделял всех, кто просил милостыню. Дядя прочел письмо и подал племяннику, которого, конечно, не узнал, три копейки.

Вспомнил ли Чехов, действительно, давнюю свою гимназическую шалость, или, может быть, шутил над самим собой. Он только что получил из Петербурга расчет из книжного магазина «Нового времени». Оттуда сообщили, что к 20 декабря за Чеховым числится 449 рублей долгу. И это не считая апрельской ссуды в 1.500 рублей.

Оставалось только шутить и надеяться на будущее, верить в добрые предзнаменования. В новогоднюю ночь разрезали праздничный пирог, в котором кому-то могло достаться «счастье». Его не нашел никто из гостей, никто из чад и домочадцев, ни сам хозяин. Оно досталось всему дому. Последний день 1896 года выдался по мелиховской хронике — «полусолнечный».

(Продолжение следует)



A PROPOS

Вряд ли набрел бы я на эту брошюру, затерявшуюся семьдесят лет назад в эмигрантских издательских отвалах, если бы сейчас ее не перепечатал нью-йоркский русский «Новый журнал» в номере 183—184.

«На реках вавилонских». 1921 год. Михаил Горелов. «Кто такой? Почему не знаю?». Почему не застряло имя в ячейках зарубежной и отечественной библиографии? Или псевдоним? Что можно угадать за этой пеллом пахнущей фамилией? По убеждениям видно, что кадет. По степени антисоветской ярости — может быть, и белогвардеец. По фундаментальности знаний — наверное, университет за плечами. Молод ли, стар «на пятом году революции»? По странной и, конечно же, совершенно субъективной ассоциации — напоминает мне того зека, что описан в соловецком очерке Юрия Чиркова в третьем выпуске альманаха «Апрель». Помните? — родственник Столыпиных, Лермонтовых, Римских-Корсаковых, Врангелей, правнук одного из адмиралов, племянник одного из баронов... «Я не могу покончить жизнь самоубийством, это тяжкий грех... Меня расстреляют». И на вопрос о том, почему белые проиграли гражданскую войну: «Крестьяне разобрали земли и разорили усадьбы, они боялись наказания...»

Вот на этот же самый вопрос отвечает и автор брошюры, перепечатанной в «Новом журнале». Там много поразительных мест, но я возьму именно это рассуждение, бьющее прямо в нашу смутную, надрывную, искусанную ваучерами современность:

«Чудовищным открытием обязаны мы большевизму: НИКТО в России не знал русского мужика. Ни Герцен, ждавший от мужика спасительного слова для «гибнущего Запада», ни славянофилы, веровавшие в соборный ум и в соборную совесть мужика, ни Достоевский, называвший его «богоносцем», ни Толстой с мармеладным Платоном Каратаевым, ни Горький и Андреев, рисовавшие его каким-то Чайльд-Гарольдом в опорках. Никто! Все проморгали мужика — и правительство, и церковь, и школа, и литература, и публицистика, и левые, и правые. Все рисовали мужика по образу и подобию своему: власть — терпеливым животным, литература — светочем и оправданием жизни, реакция — оплотом против революции, революция — идейным ее носителем. Мужик снял маску, нами же ему намалеванную. Под нею оказалось тупое лицо насильника. «Богоносец» выявил свои политические идеалы: он не признает никакой власти, не желает платить податей и не согласен давать рекрутов. Остальное его не касается. А Россия? Никакой России он не знает, он — пскопской или калуцкий.

— Нам что микадо, что Микола — все равно, — говорили крестьяне еще в 1904 году, — и тот, и другой подать требовать будут.

Кто виноват, что народ, своей грудью спасший европейскую цивилизацию от татарщины, построивший государство в шестую часть света, подаривший человечеству ряд духовных светочей, когда-то терпеливейший и трудолюбивейший, одичал после тысячи лет исторического существования до политико-морального уровня зулусов?

Виноваты все мы — сам-то народ меньше всех. Виновата династия, которая наиболее ей, казалось бы, дорогой монархический принцип позволила вывалить в навозе; виновата бюрократия, рабствовавшая и

продажная; духовенство, забывшее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов; школа, оскорявшая молодые души; семья, развращавшая детей; интеллигенция, оплевывавшая родину, как будто все эти мужики, которым интеллигенция кадила ладан, не составляли общую родину. Виноваты все. И трех праведников не было среди нас. И должен был снизойти очистительный огонь на Новые Содом и Гоморру!»

Конечно, тянет, как говорят физики, экстраполировать. Знаем ли мы народ сегодня? Все рисуют его по своим чертежам: «рыночники» ждут, что он кинется в предпринимательство; «государственники» — что он предпринимателей, как и бывало, сметет, спалит, задавит; «локалисты» — что он мечтает о дешевой власти; «централисты» — что он мечтает о сплочении и выдержит его дорогую цену. Литераторы полагают, что народ хочет читать книги, актеры — что народ рвется в театры (а держиморды-партократы не дают, не пускают, держат и т. п.).

Не рискую продолжать эти аналогии. Разве что с «микадо» почту за лучшее откреститься. Микадо с Миколой мы теперь не спутаем. Впрочем, надо еще послушать, что на этот счет скажут жители Курильских островов.

Где еще в самую точку попадает М. Горелов — так это в том, что мы не российские. Мы — псковские и калуцкие. Сибирские, казацкие, вологодские, смоленские, тульские... Даже если отвлечься от национальных швов, по которым распозлась империя, — где гарантия, что и русская основа ее не рванет по новым швам? Процесс-то единый. И бесконечный. И не только у нас. В Канаде житель провинции Альберта вспоминает, что он канадец, только тогда, когда ему надо послать письмо за границу. А так он — альбертец. Или когда ему велят решать в ходе всеканадского референдума: отпускать или не отпускать Квебек. На что квебекцы резонно замечают: а какого черта нашу судьбу должен решать альбертец? Или, возвращаясь под родные осыни: житель Курильска может с тем же основанием спросить: а какого лешего его судьбу будут решать в Москве, за десять тысяч верст?

А такого лешего, что если дойдет до «драки», то сам Курильск не удержится. Ни Смоленск. Ни тот Ростов, ни этот. Ни Новгород, тот или этот. Ни сама Москва, не встань за нее «вся сила».

Так во что же мы в результате уперлись? «Сила» нужна — для «драки». Нет драки — нечего давиться силой.

Понятие «народ», в единый обруч собирающее и стомиллионную, и двухсотмиллионную массу от Мурманска до Кушки и от Калининграда до Владивостока, возникает — когда ему, народу, грозит что-то смертельное, распад, нашествие, катастрофа. Идет Гитлер — встает народ: «страна огромная», как сказал сын Адольфа Боден, болевший за российское дело. Идет Наполеон — и тут народ, с известной по Толстому дубиной. Идут поляки в 1812-м — и выясняется, что мы народ и что Москва и Нижний — одно. А в 1610-м мы — воры тушинские.

При появлении супостата встает стенка, и, кстати, не очень-то «национальная», а тут и татары, и кавказцы, и украинцы, и все решают, что им лучше: остаться в «этой» империи или отойти к «той» (к османской, германской). Воюет — народ. А работает — не народ, работают псковские и калуцкие.

Так, может быть, пока нет глобальной опасности, поменьше и трогать попусту это слово? И пока нет Куликова поля (дай Бог, чтоб и не было) — нет никакой принципиальной разницы между «татарщиной», от которой мы прикрыли грудью «европейскую цивилизацию», и самой этой цивилизацией, в разборках с которой мы положили не меньше

жизней, чем угроблено Батыем и Мамаем вместе. И если мы существуем на «морально-политическом уровне зулусов» (теперь, правда, говорят о «Верхней Вольте»), то не потому, что народ не туда пошел, Маркс не то сказал или Красно Солнышко нам не ту веру выбрало, — а потому, что человек, встав утром, должен вести себя не как «зулус», а как особь цивилизованная. Это минимум.

Что же до максимума, то есть до высот культуры и глубин морали, то они — прежде всего результат каждодневной работы и элементарного здравомыслия, ИЗ КОТОРЫХ рождается все остальное, а не призывов ощутить себя народом под теми или иными стягивающими лозунгами.

А то сплотимся, подвигнемся, а кого сплотили и на что подвигли, выяснится тогда, когда все горшки окажутся разбиты. И повторится история: «никто не знал мужика». И воздвигнется очередной плач на реках вавилонских.

Лев Аннинский

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

Роман

Перевела с английского Юлия Муравьева

ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ

— Крысик,— внезапно сказал Крот ясным летним утром,— можно я тебя попрошу об одной вещи?

Крыс, сидя на берегу, напевал песенку. Он сочинил ее только что и, всецело отдавшись творчеству, не обращал должного внимания ни на Крота, ни на окружающий мир. С раннего утра он плескался в Реке вместе со своими подружками-утками. Иногда они совершенно неожиданно — в обычной утиной манере — переворачивались вниз головами и задирали попки к небу, и Крыс сейчас же подныривал и принимался щекотать им горлышки под тем местом, где полагалось бы находиться подбородку, если б природа подарила таковой птичьему семейству, и щекотал до тех пор, пока они пробками не выскакивали на воздух, плюясь и гневно топорща перья,— ведь с головой, засунутой в воду, всех чувств не выразишь. В конце концов, взмолившись наперебой, они упрости Крыса отавить их в покое и заняться своими делами, и Крыс уселся на залитый солнцем бережок и придумал песенку, которую назвал

УТИНАЯ НЫРЯЛКА

В заводи заросли
Камышей густы,
Утки плещутся —
«Вверх хвосты!»

Утица, селезень...
Желт, как желток,
Клюв! Лапки кверху
И — ку-вы-рок!

Лесом подводным
Плывет плавунец,
Здесь у нас ледник
И здесь погребец.

Еж пусть запасы
 Готовит впрок.
 Кому что любо:
 Нырку — нырок!

В наверх зовут нас,
 Свистя, стрижи.
 Нырок, свой хвостик
 Торчком держи!

— Я бы не сказал, что эта песенка приводит меня в восторг, Крыс,— осторожно заметил Крот.

Сам он не был поэтом и, нисколько не стесняясь этого, выражал свои мысли искренне и откровенно.

— Ага, уток тоже,— жизнерадостно откликнулся Крыс.— Они говорят: «Ну неужели так трудно предоставить нас самим себе, вместо того чтобы расслаиваться на солнышке, вечно подглядывая, издеваясь да еще и сочиняя разные стишки?! Просто бред какой-то! Мы имеем право заниматься чем хотим, как хотим и когда хотим!» Вот что говорят утки.

— Так и есть, так оно и есть!— охотно согласился Крот.

— А вот и нет, ничего подобного,— возмутился Крыс.

— Ну хорошо, нет так нет,— уступил Крот.— Я, собственно, вот о чем думал тебя попросить— возьми меня с собой навестить мистера Жаба. Я столько слышал о нем, ужасно хочется познакомиться.

— О чем речь, дружище,— воскликнул великодушный Крыс, вскакивая на ноги и без колебаний расставаясь с поэзией на целый день,— вытаскивай лодку, сразу и отправимся. К Жабу когда ни зайвись— обязательно окажешься вовремя; в ранний час, в поздний— он не меняется. Всегда добродушный, всегда рад тебя видеть и всегда грустит, если пора расставаться.

— Должно быть, он очень славный зверь,— решил Крот, забравшись в лодку и беря весла.

— Да, один из самых славных, кого я знаю,— кивнул Крыс, удобнее устраиваясь на корме,— такой простодушный, доброжелательный, нежный. Может, не очень умен, ну да не всем же ходить в гениях. Еще он, пожалуй, прихвастнуть не дурак и чересчур уж воображает. А вообще-то у него замечательный характер, у нашего Жабчика.

Сразу за поворотом глазам Крота открылось величественное зрелище. Красивый старинный особняк из выцветшего красного кирпича возвышался посреди ухоженных газонов, спускающихся к самой воде.

— Вот и Жабий Холл,— сказал Крыс.— Видишь, слева, где табличка: «Частное владение. Не высаживаться!»— ручеек? По нему надо проплыть до лодочного сарая и там оставить нашу лодку. Справа конюшни. А сейчас ты смотришь на пиршественный зал. Страшно древний, можешь мне поверить. Да, бедняком нашего друга не назовешь, и жилище у него преотличное, только вот самому Жабу мы стараемся в этом не признаваться.

Поднявшись вверх по ручью, они скользнули в тень большого лодочного сарая, и Крот сложил весла. Чудесные лодки, подвешенные к балкам, взгроможденные на стапели, окружали их, и ни одна не была спущена на воду.

— Ясно,— хмыкнул Крыс, осмотревшись.— С плаваньем покончено. Разделался с ним, потому что надоело. Теперь, само собой, новые фантазии— интересно, какие. Пойдем, он через пять минут все разболтает, не удержится.

Они вылезли из лодки и, разыскивая Жаба, зашагали к дому по усыпанной цветами лужайке. Жаб нашелся быстро — откинувшись в плетеном кресле, сидел он, озабоченно уставившись в пространство и разложив на коленях огромную карту.

— Ур-ра! — завопил Жаб, вскакивая на ноги при их приближении. — Вот это замечательно!

Он горячо пожал им лапы и, не обращая внимания на то, что Крот еще не представлен, продолжал, пританцовывая от радости:

— Очень мило с вашей стороны! Я как раз собирался послать за тобой лодку, Крысичек, и велел без тебя ни за что не возвращаться. Ты мне нужен позарез — вы оба, собственно. Перекусить хотите? Проходите в дом, угощайтесь! Какое счастье, что вы объявились именно сейчас!

— Ну, Жабик, дай нам хоть дух перевести! — застонал Крыс и плюхнулся в свободное кресло. Крот, устроившись рядом, искренне и вежливо похвалил резиденцию Жаба и даже назвал ее «восхитительной».

— Это самый прекрасный дом на всей Реке! — воодушевился Жаб и добавил, неистово запыхтев: — И вообще в мире, если на то пошло!

Крыс пихнул Крота локтем, и по лицу Жаба мгновенно разлился яркий румянец. Повисло тяжелое молчание. И вдруг Жаб расхохотался.

— Ладно тебе, Крысичек! — воскликнул он. — Ты же знаешь, я всегда так. И домик, в сущности, не такой уж плохой, он тебе и самому нравится, верно? И все забыто и прощено! Слушайте, мне жутко нужна ваша помощь, это невероятно важно!

— Ты, видно, греблю имеешь в виду? — невинно предположил Крыс. — У тебя, кстати, уже недурно выходит, только веслами очень шлепаешь. Терпение, дружище, побольше тренировок — и ты скоро...

— Фу! Лодки! — с отвращением прервал его Жаб. — Глупое ребячество! Это я давным-давно бросил. Пустая трата времени, вот и все. Знаете, я просто прихожу в отчаяние — вы, такие милые, разумные животные, и все дни напролет убиваете на это бессмысленное занятие. Нет-нет, невозможно! Я совершил открытие, нашел наконец единственное, истинное дело, дело всей жизни, и собираюсь посвятить ему остаток своих дней. Жаль только лет, прожитых напрасно, бесплодной пустыней простираются они за моей спиной — ах, промотал я, растранижил, пустил по ветру бесценное время! Пойдем, Крысик, и он тоже, твой любезный приятель, пусть присоединится к нам, будьте так добры, здесь недалеко, вон до тех конюшен, и вы увидите, сами все увидите.

Он повел их на конюшенный двор, причем Крыс брел неохотно и с лица его не сходило выражение крайней недоверчивости. Там, выкатившись из каретного сарая, стоял фургон, сияющий чистотой и новизной, — яркий, канареечно-желтый и немножко зеленый, и к тому же на красных колесах.

— Вот, вот! — закричал Жаб, подбоченившись и расправив плечи. — В этой повозке и заключается настоящая жизнь. Все открыто перед вами: пыльная дорога, степь, поросшая вереском, пустыри, живые изгороди, холмящиеся взгорья! Биваки, деревни, поселки, города! Сегодня здесь — а завтра снова к неизведанному! Путь, перемены, возбуждение, восторг! Целый мир у ваших ног — и вечно ускользающий горизонт! Кстати, заметьте, что эта тележечка — совершенство во всех отношениях, наичудеснейшее творение среди своих собратьев. Зайдите, взгляните, как внутри-то все устроено. Я сам, сам придумывал, сам прилаживал!

Крот последовал за ним, взволнованный, охваченный любопытст-

вом и нетерпением, торопливо вскарабкался по ступенькам, а Крыс только фыркнул и, поглубже засунув руки в карманы, не двинулся с места.

Внутри фургончик оказался тесноватым, но очень уютным. Неширокие койки — откидной столик — плита — шкафчики — книжные полки — птичья клетка с птицей — и горшочки, кастрюльки, кувшины, чайники всевозможных цветов и размеров.

— Все предусмотрено,— торжествуя заявил Жаб, выдвигая один из ящиков.— Смотри — галеты, консервированные омары, сардинки — я ничего не забыл. Содовая вода здесь, табачок тут; почтовая бумага, бекон, джем, карты, домино. И все,— добавил он, спускаясь вниз,— все необходимое на месте, сами в этом убедитесь, ведь мы скоро отправляемся.

— Ты извини, конечно,— медленно произнес Крыс, пожевывая соломинку,— я, видно, ослышался. Ты ничего такого не говорил про скоро, мы и отправляться?

— Ну, пожалуйста, Крысик, дружище! — взмолился Жаб. — Не надо со мной так! Оставь, ради Бога, этот ужасный тон — сколько высокомерия, сколько презрения! Ты же знаешь — придется ехать — и все тут. Я без вас не справлюсь. Так что считай, мы договорились, и изволь не спорить — этого я просто не выношу. Всю жизнь возиться с тухлой, унылой рекой, ютиться в земляной дыре — и кататься на лодке — не понимаю! Я покажу тебе весь свет, я собираюсь сделать из тебя животное, братишка!

— Плевать я хотел,— заупрямился Крыс. — Не поеду, и точка. Я собираюсь возиться со своей старушкой Рекой, и ютиться в дыре, и кататься на лодке — все как обычно. И имей в виду, что Крот останется со мной, будет примерно этим же заниматься, правда, Кротик?

— Конечно,— преданно кивнул Крот. — Я всегда буду с тобой, Крыс, и твое слово для меня закон. Только вот,— добавил он с тоской,— может, конечно, я ошибаюсь, но в этом что-то такое есть, ну — забавное, что ли. . .

Бедный Крот! Совсем неопытным чувствовал он себя в Полной Приключений и Опасностей Жизни, сердце его не отучилось еще тревожно и сладко замирать при каждом новом искушении — и он влюбился в канареечный фургончик, так славно снаряженный в дорогу, влюбился по уши, с первого взгляда.

Крыс, видя Кротины мучения, заколебался. Портить другим настроение не входило в его правила, а уж ради Крота, симпатяги и добряка, он готов был пожертвовать многим. Жаб молча наблюдал за ними.

— Пойдемте-ка перекусим,— предложил он, хитро усмехаясь,— все и обговорим. Нам торопиться некуда. А мне, между прочим, и вовсе без разницы, ребятки, я просто вам хотел удружить. «Живи для других!» — вот мой девиз.

Но за обедом — сытным и изящно сервированным, как и было заведено в Жабьем Холле,— хозяин перестал сдерживаться и, оставив в покое Крыса, весь пыл направил на Крота — и послушно, доверчиво отзывались нужные струны в неискушенной юной душе. Краснобай и фантазер, он манил, завлекал, ворожил, расписывая чудеса и прелести путешествий по открытым просторам, и Крот до того разволновался, что едва мог усидеть в кресле. Решили ехать, и Крыс, хоть и по-прежнему полный сомнений, не стал протестовать: слишком глубоко погрузились его друзья в планы и расчеты, продумывая каждую мелочь на недели вперед, и слишком жестоко было бы разочаровывать их.

Обсудив все детали, ликующий Жаб проводил своих компаньонов к загону и велел изловить старую серую лошадь, которую он, не спро-

сив на то предварительного согласия, приговорил к самым грязным и тяжелым работам. Возмущенная лошадь ни за что не желала покидать родимый дом, и зверюшкам пришлось изрядно попотеть, охотясь за ней по всему загону. А Жаб тем временем еще плотнее набил шкафчики полезными и необходимыми вещами и, убрав с пола, развесил по стенам торбы, сетки с луком, корзинки и пучки овса. Наконец лошадь была поймана, запряжена, и они отправились, болтая все разом, перебивая друг друга и не слушая ответов. Иногда они присаживались на оглоблю, а иногда соскакивали и снова брели пешком — смотря по настроению. Золотой воздух дрожал вокруг. Пряно и одуряюще пахла пыль, взметаясь от каждого шага; из густых садов, вытянувшихся вдоль обочин, окликал их веселый птичий пересвист; странники то и дело попадались навстречу, небродушно здоровались, а порой даже останавливались, чтобы перекинуться парой слов о достоинствах чудесной тележки; а кролики, торчащие у парадных входов в живые изгороди, прижимали к груди передние лапки и тараторили: «Вот это да! Вот это да! Вот это да!»

Ближе к вечеру, усталые, счастливые, многими милями отделенные от родных речных берегов, попали они в безлюдные места и, въехав на притихший выгон, остановились на ночлег. Лошадь пустила пастись, а сами, устроившись на траве рядом с повозкой, приступили к скромному ужину. Жаб, раздувшись от гордости, делился своими планами на ближайшие дни, а низкие звезды разгорались, становились все крупнее и сочнее, и наконец бесшумно и внезапно из секретного тайника выкатилась желтая луна и составила им компанию, прислушиваясь к разговору и кивая. Потом они забрались внутрь, свернулись на своих маленьких койках, и Жаб, посучив ногами, сонно сказал:

— Ну, спокойной ночи, ребятишки. Вот настоящая жизнь для джентльмена! Что уж тут говорить о вашей дурацкой реке!

— А я и не говорю о моей Реке, — терпеливо отозвался Крыс, — и ты прекрасно это знаешь, Жаб. Но, — жалобно и тихо добавил он, — я думаю о ней, постоянно думаю.

Крот нащупал в темноте Крысину лапку и пожал.

— Я все сделаю, как ты хочешь, Крысинька, — прошептал он. — Давай завтра рано утром — чем раньше, тем лучше — сбежим и вернемся в нашу старую милую речную норку!

— Нет-нет, надо потерпеть, — тоже шепотом ответил Крыс. — Спасибо тебе огромное, но мне придется возиться с Жабом до конца. Его нельзя бросать одного, это опасно, понимаешь? Да осталось-то всего ничего. Его затеи обычно ужасно скоротечные. Спокойной ночи!

Конец был еще ближе, чем полагал Крыс.

Жаб, притомившийся от свежего воздуха и пережитых волнений, спал так крепко, что разбудить его поутру оказалось невозможно, трясни не трясни. И Крот с Крысом спокойно и отважно принялись хозяйничать. Пока Крыс охорашивал лошадь, разжигал огонь, мыл вчерашние чашки и тарелки и готовил завтрак, Крот потащился в деревню — а путь до нее был весьма неблизкий — за молоком, яйцами и прочими необходимыми позарез припасами, которыми Жаб позабыл-таки запастись. А когда зверюшки, совершенно разбитые, присели перевести дух, объявился наконец и Жаб, свеженький и бодрый, без умолку болтающий о преимуществах новой жизни, такой беззаботной по сравнению с тяготами и изнурительными трудами домашнего, оседлого бытия.

Славно нагулялись они в тот день по холмам, поросшим травой, по узеньким тропкам и опять решили переночевать на пастбище, не забыв позаботиться о том, чтобы Жабу не удалось улизнуть от работы. В результате наутро от его восторгов по поводу простой грубой жизни не осталось и следа, и, даже вытряхнутый из койки на пол, он все

пытался вскарабкаться обратно. Путь, как и раньше, пролегал по узким тропам, но еще до обеда они выбрались на большак, первый в их жизни проезжий тракт, — и здесь несчастье, непредвиденное и мгновенное, как вспышка, обрушилось на них, несчастье, решившее исход экспедиции и поистине губительно повлиявшее на будущность Жаба.

Неспешно и легко двигались они по большаку. Крот шел впереди, где покачивалась голова лошади, и слушал жалобы на горькую лошадиную долю: она считала, что ее здесь не уважают, не интересуются ее мнением и вообще, строго говоря, ни в грош не ставят. Жаб и Водяной Крыс плелись позади повозки и беседовали, точнее, беседовал Жаб, а Крыс время от времени рассеянно вставлял: «Да, верно, а что ты ему сказал?» и явно размышлял о чем-то постороннем. Откуда-то издали, предостерегая, послышалось вдруг смутное гудение, словно жужжала невидимая пчела. Оглянувшись, они заметили облачко пыли, сгустившееся и потемневшее к центру. Оно приближалось очень быстро, а из пыли неслось невнятное «Биб-биб!», как будто завывало страдающее, беспокойное животное. Пожав плечами, вернулись они к прерванному разговору, но не успели обменяться и парой слов, как на них обрушился, сбивая с ног, бешеный шквал, и оглушительный вихрь закрутил и швырнул их в придорожную канаву. «Биб-биб!», медный и пронзительный, вонзился в уши, мелькнули внутренности — сверкающие зеркалами, роскошно-сафьяновые, шофер, возбужденно вцепившийся в руль, — и великолепный автомобиль, огромный, яростный, необузданный, на долю секунды заслонив небо и землю, изрыгнул тучу пыли, которая ослепила и поглотила их, и умчался к горизонту, снова обернувшись крохотным пятнышком, далекой жужжащей пчелой.

Старая серая лошадь, ни на минуту не забывавшая об уютном родном загоне, столкнувшись с ужасной небывальщиной, перестала владеть собой. Храпя и брыкаясь, она пятилась назад и, несмотря на все усилия Крота, тянущего за поводья, на его вдохновенные, к лучшим чувствам взывающие речи, спихнула повозку к самой обочине. На мгновение зависнув над глубокой канавой, канареечно-желтый фургончик, их гордость и краса, с чудовищным, душераздирающим треском обрушился вниз и бессмысленной развалиной завалился набок.

Крыс приплясывал в пыли, не помня себя от гнева.

— Негодяи! — вопил он, размахивая кулаками. — Подонки вы, бандиты, вы... вы... хулиганы! Я найду на вас управу! Я буду жаловаться! По судам затаскаю!

Грызущая тоска по дому испарилась, сейчас он чувствовал себя шкипером канареечно-желтого судна, выброшенного на мель благодаря слишком далеко зашедшей шутке моряков-соперников. Он пытался припомнить побольше выражений едких и язвительных, из тех, что обрушивал обычно на головы капитанов паровых катерков, если они проходили в опасной близости от берега и поднятая ими волна заливала ковер в его гостиной.

Жаб сидел посреди проезжего тракта, раскинув ноги, прерывисто дышал и пристально глядел на исчезающий автомобиль. На лице его застыло безмятежное, довольное выражение, а губы еле слышно шептали: «Биб-биб!»

Через некоторое время Крот умудрился успокоить лошадь и решил взглянуть на поверженный фургончик. Печальная это была картина. Разбитые вдребезги окна, искореженные доски, безнадежно покривившиеся оси. Одно колесо отвалилось, банки с сардинами разлетелись во все стороны, а птица жалобно всхлипывала в своей клетке и молила о спасении.

Подождал Крыс, но и вдвоем им не удалось справиться с повозкой.

— Эй, Жаб! — закричали друзья. — Жаб, иди помогать, оглох, что ли?

Жаб ничего не ответил и даже не шелохнулся. Подкравшись, они встревоженно наклонились к его лицу: там блуждала блаженная улыбка, и одурманенный взгляд не отрывался от пыльного шлейфа разрушителя. Время от времени слышалось приглушенное бормотание: «Биб-биб!»

Крыс потряс его за плечо и сурово скомандовал:

— Ну-ка, давай за работу.

Жаб не двигался.

— О восхитительное, волнующее зрелище! — забубнил он. — О поэзия движения! Вот истинное, вот единственное путешествие! Сегодня здесь — а завтра я обгону само время! Скачут деревни, прыгают города и поселки — все новые и новые горизонты расстилаются передо мной! О счастье! О биб-биб! Боже мой! Боже мой!

— Прекрати этот маразм! — в панике воскликнул Крот.

— Подумать только, я ничего не знал! — мечтательно и монотонно ворковал Жаб. — Потерянные годы за моей спиной — я не знал, я даже не представлял! Теперь я — знаю, о, как ясно я понимаю теперь! Путь, устланный цветами, лежит у моих ног. Какие пылевые тучи закрубятся, когда, дерзкий, помчу я вперед! Сколько повозок беспечно расшвыряю я по канавам, великолепный и бесстрашный в моем натиске! Мерзкие маленькие повозки — вульгарные повозки — канареечно-желтые повозки!

— Что с ним делать? — спросил Крот.

— Да ничего, — твердо ответил Крыс. — Потому что ничего не поделаешь. Я-то его тысячу лет знаю. Он заиклился. У него всегда так с новыми психозами, особенно поначалу. Теперь пиши пропало, он стал вроде лунатика, счастливого такого лунатика — и надолго. Во всяком случае, толку с него никакого. Не бери в голову. Пойдем попробуем починить наш фургон.

Их ждало разочарование: опрокинутая повозка ни на что не годилась. В нее уже нельзя было вдохнуть жизнь — немым укором глядели изувеченные оси и от утеряннго колеса осталось только несколько щепочек.

Крыс закинул сбрую лошади на спину, намотал на руку уздечку и, взяв в другую птичью клетку с бьющимся в истерике обитателем, решительно заявил:

— Пошли. До ближайшего городка пять или шесть миль. Хочешь не хочешь — придется топтать. И чем раньше мы отправимся, тем лучше.

— А как же Жаб? — забеспокоился Крот, остановившись через несколько шагов. — Не можем ведь мы бросить его на дороге, одного, да еще в таком состоянии! Это опасно! Ты представь себе — вдруг новое Исчадие проедет?

— Ну его к черту! — рассвирепел Крыс. — Надоел!

Далеко уйти они не успели. Сзади послышался торопливый топот, и Жаб, догнав их, втиснулся посередине и ухватил обоих за локти. Он по-прежнему неровно дышал и смотрел в пространство пустыни, невидящими глазами.

— Значит, так, Жаб, — строго сказал Крыс. — Как только мы доберемся до города, ты шагаешь напрямик в полицейский участок, выясняешь, что им там известно про этот автомобиль — кто хозяин, — и подаешь на него жалобу. Потом ты пойдешь к кузнецу или к колесному мастеру и договоришься насчет фургона — как его доставить, починить, в общем, привести в порядок. Времени на это уйма понадобится, ясное дело, но, мне кажется, надежда кой-какая есть. А мы с Кротом разыщем гостиницу, снимем номер поприличнее и будем ждать, пока наш фургончик не встанет на ноги, а ты не оправившись от потрясения.

— Полицейский участок! Жалоба! — зашептал Жаб. — Мне жаловаться на это дивное, божественное создание, словно снизо-

шедшее с небес? Чинить фургон? С ними покончено навсегда. Не желаю ни видеть, ни слышать! О Крысинька, ты не представляешь, как я вам благодарен, что согласились со мной ехать! Без вас я бы не решился, и — прощай, великое будущее! Этот лебедь пролетел бы мимо! О молния! О солнечный луч! Я мог бы никогда не встретиться с тобой, не услышать твоего чарующего голоса, не учуять твоего колдовского запаха! Всем этим я обязан теперь вам, лучшие из друзей!

Крыс присвистнул и плюнул с досады.

— Ну как тебе? — поинтересовался он через голову Жаба. — Безнадежный случай. С меня хватит. Попадем в город — и сразу на вокзал. Если повезет, сядем на подходящий поезд и уже к вечеру будем у Реки. И больше я с этим дрянным животным не связываюсь, хоть режьте.

Он фыркнул и всю дорогу до самого города разговаривал исключительно с Кротом.

На вокзале они засунули Жаба в грязноватый и неприбранный зал ожидания и велели носильщику приглядывать за ним, для верности сопроводив свое требование двухпенсовиком. Лошадь отвели в конюшню при гостинице и там же распорядились, как могли, насчет повозки и ее содержимого.

Наконец неспешный поезд подполз к станции неподалеку от Жабьего Холла. Очарованного безумца проводили до самых дверей и сдали с рук на руки экономке, подробно разъяснив все ее дальнейшие обязанности: господина покормить, раздеть и уложить в постель. Потом друзья выволокли из сарая лодку, поплыли на веслах вниз по течению и к ночи добрались до дома. Ужинали в уютной родной гостиной, под окном плескалась река, и Крыс весь светился от счастья.

Утром Крот встал поздно и до вечера валял дурака, а на закате присел на бережок поудить рыбку. Тут-то и разыскал его Крыс, потративший целый день на болтовню и сплетни, и возбужденно спросил:

— Новости знаешь? Главная новость — на Реке только об этом и говорят — Жаб первым поездом ездил в город. Он заказал огромный и страшно дорогой автомобиль.

(Продолжение следует)

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров журнала «Согласие» № 1—8 за 1991 год, № 1—12 за 1992 год, а также за 1993 год для розничной торговли. Цена договорная.

Журналы можно приобрести в редакции нашего издания по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28. Тел. 235-14-10

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Алла МАРЧЕНКО

(зам. главного редактора)

Светлана БУЧНЕВА

(отв. секретарь)

Подписано к печати 29.01.93. ЛР 01872 от 10.12.92.

Формат 70×108/16 Гарнитура «Литературная» Печать высокая.

Физ. печ. л. 14,0 Тираж 5000 экз. Заказ 5694 Цена договорная

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ
140010, Люберцы 10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

Телефоны: главный редактор — 235-15-56,

заместитель главного редактора — 235-14-00,

отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Корректоры *С. И. Горшунова, В. Н. Крылова*

SUMMARY

In this issue, we are continuing the publication (started in No. 1) of Robert Shtilmark's autobiographical novel «A Handful of Dust», Victor Sosnora's sarcastic narrative «The Tower», the masterpiece of Antoine de Saint-Exupery — his philosophical novel «The Citadel» translated from French by Mariana Kozhevnikova (the section of foreign prose) and Kenneth Grahame's world-famous book for children «The Wind in the Willows» translated from English by Yulia Muravyova (the «Read It To Your Children» section).

The short story genre is represented by «The Trace of an Arrow» by Irina Polyanskaya, a story of a dissident's wife, and «The White Hippo» and «J'ai osée» by Raisa Yelagina, the love-stories of the well-to-do women.

The poetry of the issue includes poems by Petro Bilyvoda (translated from Ukrainian by Sergei Chirkov) and also by Olga Megresova, Mikhail Frumkin and Vladimir Britanishsky.

The main feature of the section of publicistics is nostalgia. Both travellings are those to the times gone: that of Alexander Malyshev to Ivanovo of his childhood («The Factory») and Ella Nikolskaya's «sentimental journey» to «Victorian» London.

The «Recollections. Documents» section contains Zoe Svinarskaya's sketch of Mikhail Chekov, one of the greatest actors among Stanislavsky's friends and followers, and «Yours A. Chekov: The Melikhovo Chronicle» by A. P. Kuziarcheva, a day-by-day reconstruction of Anton Chekov's life in his late years (to be continued).

Alexander Kustryov's opinions concerning the emigree prose would seem extravagant but are of interest nonetheless.

In the regular column «A Propos» a well-known critic Lev Anninsky analyses an article by Mikhail Gorelov (Novy Journal, N. Y., No. 183—184).

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1993, № 2

РЕДАКЦИОННО–ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексий,
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,
В.С.Алхимов, В.М.Борисов,
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков